лидия чуковская

дневник— большое подспорье

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Завершающий, двенадцатый том ненумерованного Собрания сочинений Лидии Корнеевны Чуковской (1907–1996), подготовленного ее дочерью Еленой Цезаревной Чуковской (1931–2015). Верстку этой книги Елена Цезаревна успела прочесть в больнице за несколько дней до своей кончины. Лидия Чуковская вела подробные дневники с 1938 по 1995 год. На основе этих дневников были составлены ее трехтомные «Записки об Анне Ахматовой» и том «Из дневника. Воспоминания», вошедшие в Собрание сочинений. Для настоящей книги отобраны записи о литературных и общественных событиях, впечатления о прочитанных книгах, портреты современников и мысли автора о предназначении литературного творчества и собственного дневника.

- Лидия Чуковская
  -
  - Юрий Карякин. Память как совесть
  - От составителя
  - «Дневник – большое подспорье…»
  - Приложение. Объяснения предыдущего
  - Памяти Елены Чуковской
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63

- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107

- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151

- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195

- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239

- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283

- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327

- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371

- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415

- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459

- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503

- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547

- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554

Лидия Чуковская
Дневник – большое подспорье…

© Лидия Чуковская, наследники, 2015
© Елена Чуковская, составление и комментарии, 2015
© Валерий Калныньш, макет и оформление, 2015
© «Время», 2015

* * *

Юрий Карякин. Память как совесть

Работаю над дневниками Юрия Карякина (1994–2007), готовлю их к изданию. Глаз останавливается на страницах из дневника за 1996 год о Лидии Корнеевне Чуковской. Отсылаю их Елене Цезаревне, Люше, как привыкли мы с Юрой называть ее, – вдруг будет ей интересно.

Звонит Люша, говорит, как всегда, строго по делу, коротко. «Я в больнице. В ближайшие дни не смогу работать. Прошу Вас, Ира, передать страницы из юриного дневника для вступления к книге «Дневник – большое подспорье» в издательство «Время».

Вот эти страницы.

Ирина Зорина-Карякина

11 февраля 1996

Похоронили Лидию Корнеевну на Переделкинском кладбище.

Героизм ее привел к гениальности. Л. К. посвятила себя другим людям, отдавала им себя целиком. Началось для нее это с того, что она уже в детстве вечерами читала отцу книги, чтобы он заснул. И потом всю жизнь она верно служила своим близким – прежде всего, конечно, Ахматовой.

Человек чести, совести. И человек справедливости.

Я не знаю, никак не могу найти точного слово – одного, чтобы ее определить. Может быть: ПОРЯДОЧНОСТЬ, порядочность и в уме, и в чести, и в совести. Но – особенно в языке, в орфографии, синтаксисе… Для нее язык русский и был радостным полем и ума, и чести, и совести. Она не допускала неправильного письма и неточно поставленную запятую считала не просто ошибкой, а даже преступлением. Превратить орфографию, грамматику, синтаксис – в мерило нравственности – право, это никому еще, кроме нее, никогда не удавалось. Абсолютная влюбленность, нет – любовь, навсегдашняя, к языку русскому – язык для нее был хранителем, дитем, которого нельзя предать.

Именно она восстановила это абсолютно забытое слово – ПОРЯДОЧНОСТЬ – ПОРЯДОК, т. е. дисциплина и в уме, и в чести, и в совести. Вместо классической умилительной квазирусской беспорядочности.

Реакция на бесчестность, недобросовестность, несправедливость, подлость и на власть у Л. К. всегда была

молниеносной, точной и твердой.

Рассказ Люши: Весной 1979 г., уже после того, как вышла «Чукоккала», Л. К. работала над подготовкой к изданию книги Ахматовой, а Люша ей помогала. И однажды она пошла на вечер в Дом ученых, где была объявлена тема: «Библиотека Ахматовой». Это были годы, когда Л. К. была еще под запретом, и имя ее не произносилось публично.

Лектор, какой-то чиновник от литературы, рассказывая о взглядах Ахматовой, все время цитировал книгу «Записки об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской, не упоминая автора и давая даже свои комментарии, порой прямо противоположные цитируемому тексту. Например, Ахматова говорила, что она не любит Есенина. Лектор тут же поправлял: конечно, она высоко ценила Есенина и т. д.

В ходе лекции Люша не решилась встать и потребовать назвать автора цитируемых воспоминаний, выявив безнравственность происходившего. Но в перерыве подошла к лектору и сказала, что надо либо назвать автора цитируемой работы, тем более что на этих текстах была построена вся лекция, либо не использовать этой книги. Лектор первым делом спросил, кто она такая, тут же добавив: «Имя Л. К. Чуковской упоминать нельзя». К удивлению Люши, на нее набросились и слушатели, в основном немолодые слушательницы, которые сочли, что им мешают таким образом узнать, что думала Ахматова.

Придя домой, Люша рассказала маме, что произошло. Реакция Лидии Корнеевны была немедленной и жесткой: «Почему ты не встала и не спросила из зала сразу, кто автор текстов, если ты их узнала. Нельзя же так трусить».

Идешь к ней – страх (не трусость! хотя иногда и трусость) с ней увидеться, с ней услышаться. Всегда – страшный экзамен – экзамен на совесть, на честь, на ум, на слух.

Она – воплощение памяти. Нечистая совесть – это (маскируется!) плохая память. У нее была самая хорошая, самая точная память на Руси, память-совесть.

Однажды, уходя от нее, я навсегда запомнил ее слова: «Я писатель – без читателя»… Позже, много позже, уже прочитав «Записки об Анне Ахматовой», я написал Лидии Корнеевне письмо. Вот оно, нашел:

30 марта 1983

Дорогая Лидия Корнеевна!

Уже то, что в те времена свершила Ахматова своими стихами и Вы – «Записками», – это, конечно, великий и, наверное, беспримерный подвиг, в самом первозданном – русском – смысле этого слова.

Поблагодарим гетевского Эккермана, толстовского Гусева или пушкинского Пущина. Но чтоб такое, что сделали Вы – вместе! – такого еще не бывало.

Две женщины оказались мужественнее – в своих чувствах, мыслях, в своей совести и работе, в Слове и поступках – мужественнее стольких тысяч «мужей», две «рафинированные интеллигентки» – надежнее самых «твердокаменных» и «стальных».

В числе других (оказывается, их было не так уж мало) Вы спасали и спасли честь и совесть нашего народа, честь и совесть русской интеллигенции, русской литературы, честь, совесть и достоинство русского Слова – лучшего, может быть, что у нас есть, Слова, которое было и осталось – делом.

Откуда это? Почему? Я не нахожу пока другого ответа, кроме: это – от культуры, от многовековой культуры (нашей и мировой), ставшей Вашей и Ахматовой второй натурой, это – от верности Пушкину.

Не случайна, конечно, – я не знаю, осознанна ли? – ваша гениальная конспирация: «Я попросила ее почитать мне Пушкина»… Пушкин = «Реквием»!

Полуживые, искалеченные, окровавленные люди выстояли сами, спасали и спасли общенародную культуру, совесть, и… они же «всех виноватей»! И кто обвинители? Те, кого хватают инфаркты не от бед и горя своего народа, а лишь от страха не угодить начальству, потерять место или от ожирения.

Успеете наахаться
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня…

Вы обе научили. Вас обеих шарахаются. И то, что вы обе сделали, – это и есть небывалый РЕКВИЕМ и, одновременно, ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ, написанные буквально под топором.

Я знаю, Вы скажете: «Преувеличиваете…». Но я в этом убежден и благодарю судьбу за то, что она, «в порядке чуда», привела меня к Вам.

Ошибка той старухи, которая спутала Вас с Ахматовой, не так уж безосновательна.

Стихи, сочиненные втайне, произносимые шепотом, записанные на бумажке, которая тут же – после запоминания – сжигается, – я не знаю страницы в истории литературы более страшной, трагической и прекрасной. А потом еще – воскрешение по словам отдельным, по строкам. А беспомощно-требовательное ахматовское – «Вспомните, Лидия Корнеевна!..».

Страшно подумать: не будь всего этого, не сохранись все это…

Если бы у меня был поэтический или музыкальный дар: как мне хотелось бы написать о той, которая создала «Реквием», и о тех одиннадцати, которым она читала его и которые остались ей верны и спасли и ее, и его. Но это сделают и без меня, – я абсолютно уверен. Нам вообще, я убежден, нужна книга не только о тогдашних преступлениях, но и о подвигах тогдашних.

Мне всегда больно, когда я вспоминаю Ваши слова: «Я писатель без читателей», сказанные мне с год назад. Но Вы же знаете, что это и так, и не так. Надеялись ли Вы пережить Сталина? Переписать «Записки?» увидеть их изданными?.. Сейчас у Вас сотни (много тысяч) читателей. Но дело-то главное – сделано! Будут, будут они изданы и у нас. Вы, может быть, сами не представляете, как Вы уже сейчас помогли и помогаете людям. Ваша книга сама выращивает братьев.

Поразительна Ваша беспощадность к себе и к любимому «предмету». Вы – из редчайших людей, которые умеют не лгать, точнее не умеют лгать. Меня всегда обессиливало и бесило, когда сладко-мужественные рожи назидали мне и другим: Чехов выдавливал из себя раба… Сам, дескать, вынужден был признать… Говорилось и говорится это так, будто сами они и не ведают, что такое раб в тебе… Чехов – Чехов! – по каплям выдавливал, а они – пуды лелеют ‹…›

Уже не собственно о «Записках», а о Книге. Какая здесь школа культуры, школа редактирования. «Примечания» – особый гигантский и красивейший труд. ‹…› Вы превратили «примечания» в абсолютно новый, чисто художественный жанр.

Дорогая Лидия Корнеевна! Спасибо Вам бесконечное и – держитесь, держитесь, держитесь. Работы Вам и здоровья!

* * *

Лидия Корнеевна была одна из тех уже немногих, кто остался в России истинным читателем и ценителем книг. Когда она уже не могла читать даже через лупу, она не расставалась с книгой. Ей читала Фина (Ж. О. Хавкина, многолетняя помощница

Л. К. Ч. – *И. З.*) каждый день, и она заказывала книгу на завтра. Последнее, что она собиралась читать – Солженицына.

Сегодня мы уже знаем ее прозу. Эта проза, мемориальная, удивительно и точно художественна. Но при нашей нынешней перенасыщенности всякого рода информацией пока, как мне кажется, прошли нерасслышанными ее стихи. А вот вчитайтесь:

…Опять чужая слава
Стучит в окно и манит на простор
И затевает важный, величавый,
А в сущности базарный разговор.
Мне с вашей славой не пристало знаться.
Ее замашки мне не по нутру.

Мне б на твое молчанье отозваться,
Мой дальний брат, мой неизвестный друг.
Величественных строек коммунизма
Строитель жалкий, отщепенец, раб
Тобою всласть натешилась отчизна,
Мой дальний друг, мой неизвестный брат.

День ото дня седеет голова.
Губами шевелю и снова, снова
Жгут губы мне непрозвучавшие слова.

(январь 1953)

12 февраля 1996

Самая главная беда, самая главная боль – даже не в том, что Лидия Корнеевна Чуковская умерла (чуть-чуть не дожив до 90, – родилась в 1907-м), а в том, что очень мало людей, которые знают и понимают, КТО умер, очень мало и в народе, и в верхах (а там вообще, наверное, нет никого).

На поминках Наталия Дмитриевна Солженицына сказала: «Мы осиротели». К великому несчастью нашему, слова эти относятся (пока) лишь к тем, кто знал ее лично.

Достоевский повторял: у нас святых – полно, а просто порядочных – нет… Вот в ней и был кристалл порядка, порядочности, кристалл дисциплины – и в уме, и в чести, и в совести. Но так и неясно: кристаллики ли эти преобразуют наш русский хаос или, напротив, хаос этот прожует, не заметив,

и выплюнет эти кристаллики.

С советской властью, с коммунизмом у Лидии Корнеевны (по наследству от отца, по наследству от всей великой литературы нашей) были не поверхностные социально-политические, идеологические разногласия. Нет – был глубочайший непримиримый стилистический, языковый антагонизм.

Изнасилование русского языка она воспринимала именно как изнасилование народа. «Язык – народ», – говорил Достоевский. И он же писал в «Братьях Карамазовых»: «…тут дьявол с Богом борются, а поле битвы сердца людей…» Для нее таким полем был русский язык.

Однажды, лет десять назад, я пришел к ней (в Переделкино) и она по-детски пожаловалась: «Когда хожу гулять, даю себе задание…» («Задание»! – она всю жизнь давала себе «задания» и всегда их выполняла, здесь она – вся, монашески-рыцарственная, с обетами, которые ни разу не были нарушены.) Так вот, она сказала: «Сегодня дала себе задание – вспомнить “Евгения Онегина”. И – ужас! – забыла две строфы…»

А еще однажды, позвонив мне, она попросила дать сноску на такие слова Достоевского: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее». Я был счастлив, что вспомнил, где это сказано (Ф. М. Достоевский, т. 26, с. 198–199), а главное, что вдруг понял: это сказано – и о ней. Потому-то она, может быть, неосознанно, и искала помощи у Достоевского.

Все мы боялись государственной цензуры и – обманывали ее, а все равно оставался страх, страх, тебя унижающий.

Перед нею тоже был страх, но страх, тебя возвышающий: она была абсолютно нелицеприятным, неподкупным цензором совести.

Всего сейчас не скажешь, что знаешь, что помнишь. Есть, слава Богу, люди, которые знают и помнят больше, чем я. Уверен: будет книга памяти о ней, о могучем роде Чуковских. В России культура хранится и передается в семье. Такую культурную традицию несла семья Чуковских.

По чистоте своей души, по высоте своего духа, по несгибаемости воли своей Лидия Корнеевна навсегда останется рядом – и наравне – с Ахматовой, Сахаровым, Солженицыным. Она была им всем другом, надежным и самоотверженным.

При ней, как и при А. Д. С. и при А. И. С., – физически невозможно было говорить нечестно, несовестливо, неумно. И лучше уж помолчать.

Ну не случайно же, что и Солженицын, и Сахаров, и Ахматова были ее лучшими и надежными друзьями, как и она – их.

Высшей награды – быть не может.

Публикация И. Зориной-Карякиной, декабрь 2014

От составителя

Лидия Чуковская вела подробные дневники. Сохранились ее записи с 1938 по 1995 годы. Первую попытку их частичной публикации Лидия Корнеевна предприняла в начале 1960-х гг. после смерти своей близкой подруги Т. Г. Габбе. Она выбрала из дневника записи о Тамаре Григорьевне, собрала небольшую папку и показала ее Маршаку. Маршак прочел и сказал: «Это Ваш жанр».

Его высокая оценка записей имела большое значение для Л. К., которая считала Маршака своим учителем. Мнение Маршака подвигло ее на продолжение работы в том же жанре. Следующей ее работой, сделанной на основе дневника, стали трехтомные «Записки об Анне Ахматовой», над которыми она работала начиная с 1966 года и до февраля 1996-го.

На основе своего дневника Лидия Корнеевна составила выборку о Борисе Пастернаке, напечатанную в журнале «Литературное обозрение» (1990. № 2, с. 90–95) и в сборнике «Воспоминания о Борисе Пастернаке» (М., 1993).

Дальнейшие публикации из дневника печатались лишь посмертно. Тут надо назвать «Ташкентские тетради» (М.: Согласие, 1997, с. 343–515), записи об Анне Ахматовой, сделанные в первые месяцы после ее похорон «После конца: Из “ахматовского” дневника» (Знамя. 2003. № 1, с. 154–167). Позже были напечатаны «Полгода в “Новом мире”», а также «Иосиф Бродский», «Александр Солженицын» и «“Софья Петровна” – лучшая моя книга». Все эти публикации, появившиеся сперва в журналах, вошли в последний том ненумерованного Собрания сочинений Лидии Чуковской (Из дневника. Воспоминания. М.: Время, 2014).

В настоящую публикацию вошли записи, отобранные под другим углом – это впечатления от читаемых книг, записи о литературных событиях, общие взгляды на обстоятельства жизни, судьба авторских работ в советских и зарубежных издательствах, мысли о своем дневнике и его предназначении. Большое место в дневнике занимают портреты современников.

Все публикуемые дневниковые записи печатаются впервые. Сохранено написание названий книг, газет, журналов, учреждений с прописной буквы, как у автора.

Дед (отец Л. К.) пишется то со строчной, то с прописной буквы, тоже как у автора.

Для удобства читателя бесспорные сокращения развернуты без угловых скобок. Многочисленные инициалы упоминаемых

лиц даны с фамилиями в списке сокращенных и уменьшительных имен, а иногда в тексте дневника в квадратных скобках. См. также указатель имен.

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ И УМЕНЬШИТЕЛЬНЫХ ИМЕН, ЧАСТО УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТЕ:

АА, А. А. – Анна Андреевна Ахматова
А. Д. – Андрей Дмитриевич Сахаров
А. И. – Александр Исаевич Солженицын
Б. Л. – Борис Леонидович Пастернак
Ваня – Иван Игнатьевич Халтурин
Геша – Герш Исаакович Егудин
К. И. – Корней Иванович Чуковский
Люша – Елена Цезаревна Чуковская
Н. Я. – Надежда Яковлевна Мандельштам
С. Э., Сарра – Сарра Эммануиловна Бабенышева
С. Я. – Самуил Яковлевич Маршак
Туся – Тамара Григорьевна Габбе
Фина – Жозефина Оскаровна Хавкина
Фрида – Фрида Абрамовна Вигдорова
Шура – Александра Иосифовна Любарская
Э. Г. – Эмма Григорьевна Герштейн

Благодарю *Л. А. Абрамову, Л. А. Беспалову, Е. В. Иванову* и *М. А. Фролова*, прочитавших рукопись и сделавших мне ряд полезных замечаний. Сведения, сообщенные М. А. Фроловым для примечаний, отмечены в ходе изложения.

Елена Чуковская

«Дневник – большое подспорье…»

17/XI 38. Марксисты много писали о зависимости идеологии от корысти. О, как они правы.

«Буду думать так, потому что так мне удобнее и спокойнее». «Заткну уши».

(Но разве ты не слышишь кожей?).

«Буду думать так, потому что иначе окажется, что моя жизнь нечиста, неправа».

Буду подгонять мысль к ответу, потому что иначе ответ, опровергаемый фактами, полетит к чертям собачьим, а мне без него неуютно. Он утешает меня. Он делает меня стойким, сильным, даже гордым. Как мало людей, которые имеют мужество стать выше собственной выгоды – хотя бы в мыслях. Не материальной выгоды – моральной. Как дорого ценят люди душевный комфорт. Душа во что бы то ни стало хочет чувствовать себя праведницей.

Впрочем, цепляется человек и за материальный комфорт – и даже, конечно, в первую очередь. Столовая карельской березы. В кабинете гостям: «это павловский диван». Если позволить себе додумать мысль до конца – ту, которая непринужденно растет из окружающих фактов – и, главное, если иметь смелость дать ей наименование, назвать ее словами – хотя бы себе самому – куда денется душевный уют? И диван?

30/IV 39. «Человек – система, замкнутая на себя». Об этом часто мы говорили с Гешей[1]. Это так, конечно; этому меня нечего учить. Но всё, что на земле прекрасно – искусство, любовь, лейтенант Шмидт – все возникло из героической попытки человека преодолеть замкнутую систему. Трагические поражения на этом пути – Блока, Маяковского, Толстого – оставляют после себя великие победы искусства.

В любви на этом пути только поражения, пожалуй. Но не всегда. И поражения даже, грустные, горькие – как они создают человека, помогают постигать себя, людей, мир. Крупность человека рождается из его попыток установить связь с миром – любовью ли, жертвой, поэмой ли, проповедью.

30/X 39. Долосы. Мирон[2] не встретил меня в Ялте, как мы условились.

Из гостиницы я позвонила наверх, в Долосы.

– У Левина температура 39 с десятыми, – ответила мне дежурная сестра. – Обострение.

А он хотел показать мне горы и сосны. Какие-то особые места, где валуны во мху и сосны низкорослые, японские.

Горы, горы, машина трудно идет вверх. И вдруг на каком-то повороте внизу открывается синева цвета неба за плечами у Мадонны Litta. Это море.

Синее небо вверху, синее море внизу, а между ними сосны. Но не японские, а скорее финские, мачтовые.

Прозрачность. Густая синева. Тишина. И нисколько не нарушая синевы и тишины, навстречу машине вдруг выбегает санаторий. Это белые домики, опоясанные широкими балконами. Балконов множество, они под парусиной, там видны люди, но тишина остается ненарушимая. Голосов человеческих не слышно. Я вглядываюсь, ища на балконах глазами Мирона, хоть и понимаю, что при 39° он наверное лежит в палате.

В маленьком вестибюльчике мне выдали белый халат. Я поднялась по лестнице и нашла пятидесятую палату.

Лежит. Белый бинт вокруг шеи, худое, узкое, длинное лицо. Поздоровался со мною шепотом.

Вот почему здесь так тихо. Все они наверное не могут говорить, могут только шептать.

Понимаю сразу: это не обострение, это конец.

И он наверное понимает. И пытаясь за грубостью скрыть тревогу свидания, произносит весьма светски и совсем нелюбезно:

– Приехали? Очень рад. Вот если бы Ираклий[3] приехал, я выздоровел бы наверняка.

Но Ираклий не приехал, приехала я, и Мирон сам, к моему ужасу, начинает давать мне представление à la Ираклий… У него новые мысли и новые песни. Лежа, шепотом поет и показывает. Он сильно вырос с тех пор, как мы не виделись, и репертуар обогатился.

Рассказ Ольшевской о Полонской 6/X 41

6/X 41. Записываю рассказ Нины Антоновны Ольшевской о Маяковском.

«Полонская – моя лучшая подруга в то время. Мы вместе учились в Художественном. Нам было что-то около 20[4]. Мы были девчонки, и она от меня ничего не скрывала.

В Художественном Маяковского терпеть не могли. Нас всячески им пугали – им и Есениным. Оба считались хулиганами. Есенина потом простили, потому что он подружился с Качаловым через Толстую[5]. А Маяковский остался хулиганом.

Мы с Норой как-то слыхали его с эстрады – он перекидывал

папиросу из одного угла рта в другой, очень грубил публике и нам не понравился.

На дому Норка увидала его в первый раз когда ее пригласили сниматься для кино в плохой вещи Л. Ю. Б.[6] «Стеклянный глаз». Норка тогда была так красива, что все столбенели. Л. Ю. пригласила ее, т. к. она понравилась Осипу Максимычу, а у Л. Ю. на горизонте уже маячил Примаков[7]. (Кстати, он действительно очень дурно относился потом к Маяковскому, уверял его, что он исписался, что он «не наш» и т. д.). Норка побывала у Л. Ю. и вдруг Маяковский ей очень понравился, она мне таинственно в этом созналась. Но ее долго приглашал туда О. М. А потом хозяйке понадобилось «отвлечь Володю» и тогда она «повернула» Маяковского на Полонскую.

Так начался этот роман. По указанию Л. Ю.[8]

Маяковский называл Нору «желторотик» и «Норкушка».

Она – очень хорошая, прелестная, правдивая женщина. О ней говорят всякие гадости, «кукла» и пр. Но это неправда. Ардов[9] написал о ней целую тетрадочку и отнес в Музей Маяковского.

Роман этот очень быстро стал для Норы мучением. Маяковский нравился ей только в самом начале. А потом она уже хотела порвать. Он мучил ее. Дело было в том, что Маяковский ее ревновал и любил, но всегда подчеркивал, что близка ему дружески, по настоящему, только Л. Ю. Полонской это было тяжело. Потом он хотел на ней жениться – под конец – но она не хотела.

Все это описано в ее воспоминаниях[10]. Она отдала их в Музей с тем, чтобы их не вскрывали до ее смерти.

Она была у него и торопилась на репетицию «Первой молодости»[11]. Он не хотел, чтобы она ехала. Она вышла в переднюю и только успела надеть одну калошу – раздался выстрел. Когда она вбежала в комнату, он еще падал. Он упал лицом вниз, ей в колени.

Я потом провела с ней вместе целый месяц, не отходя от нее ни днем, ни ночью… Она была очень больна. Она не спала месяц, и я не спала месяц.

В первый период их романа мы все виделись очень часто. Маяковский водил нас с Норкой по всяким местам, «просвещал» нас. Никогда не забуду, как мы ходили с ним слушать Уткина[12] в Политехнический Музей. Мы опоздали. Уткин уже красовался на эстраде. Контроль не пропускал нас, Маяковский двинул плечом вперед, сказал: «Маяковский», прошел, провел нас.

Мы шли по залу гуськом, мы впереди, он за нами, и весь зал шикал нам, «нечего опаздывать» и демонстративно хлопал Уткину, который как раз окончил какой-то стих. Маяковский сел,

мы по обе стороны. Он долго слушал, все поворачивал голову с одного плеча на другое. Потом вдруг громко, на весь зал, сказал «пошляк!» и поднялся, и мы снова прошли через весь зал к выходу, гуськом, и зал отчаянно шикал.

В домашней обстановке он был необыкновенно добр, нежен, мягок, похож на большого неприкаянного медведя.

Болея, он каждое утро посылал Полонской записочки со стихами – но требовал, чтобы она непременно рвала их.

Я помню одну:

После ночи насморка и чиха
Шлю вам привет, прелестная врачиха.

Очень тяжкое впечатление незадолго до смерти произвел на него провал «Бани» – провал среди друзей. Он страшно был увлечен этой вещью, верил в нее, всё ходил читать куски Мейерхольду, и Мейерхольд был в восторге. Маяковский считал, что это – начало нового театра, новой революционной драматургии и прочее. Мы с Норкой были на домашнем чтении «Бани», скромно сидели на тахте в уголку и молчали, а Асеев и другие высказывались. Маяковский прочел с запалом, шикарно. Нам очень не понравилось, но мы, конечно, не показывали – а господа друзья критиковали по всем правилам, серьезно и как-то вяло. Видно было, что Маяковский ожидал восторга и был озадачен. В последующие дни он говорил: «завидуют, сволочи». И был страшно огорчен.

С нами он вообще был очень откровенен, потому что мы были только провинциальные дурочки, а не литераторы. Ему было у нас хорошо, весело и просто.

Л. Ю., прилетев на самолете после самоубий-

(*Продолжение записи на корешке следующей тетради):*

6 октября 41. ства, всячески терроризовала Нору. Она пришла к ней в день похорон и сказала, что Полонской не следует идти на похороны, т. к. это будет тяжело для Володиной матери. Она настояла на том, чтобы Нора отказалась от своей части наследства – тоже, якобы, для матери.

* * *

10/I 43. …в нищете горе переносить гораздо легче, чем среди комфорта. Никакой труд, самый вдохновенный, не в силах так занять голову, как нищий быт.

Может быть, потому в Ташкенте мне много легче – душевно – чем было в Ленинграде.

19/V. Читала Шолохова (в «Правде»)[13]. Нет. Описание людей, описание природы, описание разговоров… Хорошее описание – это только первая стадия художества. Высшая: не описать предмет, а чтобы он сам присутствовал на странице.

И точность в выполнении заданий! Нет, нет.

20/V 43. Утром в ЦД, у Н. Я.[14] за рукописями. Теперь она уже всегда раздражает меня. Она (как и, напр., С. А. Толстая – на которую она нисколько не похожа) есть нечто паразитическое, и этого я не могу вынести. И та и другая жили только чужой душой. С. А. была великой труженицей – но душевный паразитизм привел ее к истерии, насильничеству, гнусности; Н. Я. – умна, тонка, все понимает – и не способна трудиться ни на волос, ничего не умеет, ничего не хочет уметь, чувствует себя ровней А. А. и О. Э.[15] – и отсюда смешные претензии при совершенном ничтожестве.

У Лиды[16]. Какую беспомощность я всегда чувствую, какую преграду между людьми. Тата [дочка Лиды] погибает от tbc. Лида в этом виновата – кругом. Но научить ее тому, что я знаю так хорошо, невозможно: пробовала еще во время Татиного тифа – не доходит. А теперь молчу, потому что ей и без того тяжко.

С очерком о Фархаде Лида подводит меня, как всегда в работе. Работать с ней нельзя, она не знает, что такое ответственность.

Как быть, когда виноват перед людьми? Покаяться. Но как быть, когда прав: Это гораздо сложнее. Простить? Легко.

24/V. Утро началось с электрических пыток. Когда это было налажено, и мы позавтракали – пришел Валя Берестов[17]. Я очень торопилась в госпиталь, но все же выслушала его новые стихи и поговорила с ним о книгах. Стихи про возвращение хорошие. «Освобожденные огни»… В сущности, я люблю только таких мальчиков: одержимых интеллигентностью.

Простившись с Валей, я рванулась, было, в госпиталь, но выяснилось, что туфель у меня такой драный, что идти нельзя. Пошла зашивать на последние 10 р.

26/V. С наслаждением читаю Стендаля. Вот бы написать книгу под видом Дневника. Но для этого мне нужны мои подлинные дневники.

* * *

Итак, сегодняшний день погиб – весь ушел на магазин, обед, и пр. Мыла Люше голову. Завтра наверно погибнет тоже, потому что мне нужно добыть справку из Домоуправления о количестве иждивенцев (без нее не дадут сладкого) и какую-то справку в Союзе для милиции: идет новая перерегистрация.

Бюрократы опутали население целой сетью дел, и население не работает, а только бегает за справками и стоит в очередях.

28/V 43. Пальто не продается, платье неприлично разлезается при всех, денег нет. Долги мучат, давят. Поворачиваю шеей, будто у меня на шее петля.

А я эти дни все думаю – как-то смутно, но постоянно о новелле «Нихонно моно» (Лидочка, не будь нихонно моно, – говорил Митя), и о портретах военных людей, и о романе в форме Дневника, и об «Исповеди» – сборнике стихов… И еще – тоже смутно – мне кажется, что скоро я уловлю формулу жизни (!); что-то воскреснет во мне из юношеских разговоров наших с Тамарой (Бассейная; Знаменская; без конца у ее ворот) о *поэтическом* решении жизни, а не только искусства. (Мы так не говорили, но мы говорили об этом – споря о любви, о чистоте мыслей, о многом другом.) Туся близко подводила ко мне эту мысль – например, в разговоре об экономической структуре каждой страны после грядущей революции. (Это – накануне войны.) Очень это понимал Герцен, когда в противовес николаевщине хотел найти другое решение русской государственности. Он был не прав, как и славянофилы, как и Достоевский, но они верно угадывали, что *поэтическое* решение – оно сложно и индивидуально, а прочие – просты, прямы, но зато *реакционны*.

Мне кажется, я вот-вот набреду, пойму. Мне бы Тусю на один день. Очень ясно видно, что заставить мальчишек нашего двора не ломать деревьев, можно не запрещением, а только положительным средством: обогатив их. (Сейчас на крыльце стоит управдомша и отчитывает их… А им бы – работа, книги, театр, игра.)

Победительность поэзии в том, что она всегда идет вот этим непростым, кружным, трудным путем обогащения, приобретения, а не отсечения, запрещения.

Жизнь решает вещи поэтически, (сложно, богато, неожиданно), а мы часто пытаемся решить их бюрократически. Очевидно, этика должна быть тоже наподобие стихов, а не наподобие устава. (Недаром Библия такова.)

29/V. Сегодняшний мой день интересен лишь гигантским количеством чуши, опутавшей меня. Я на ногах с 7 часов – сейчас 8. Итого 12. И ни одной минуты на работу.

Утро: каша, вода, ведра, уборка. Должна была Лида принести очерк, но конечно не пришла. (Со сборником из-за нее не миновать скандала. Я виновата сама: как могла я ей поверить после стольких обманов и подвохов – с книгой, сценарием). Я – в ЦДХВД. Получила там 40 р., 3 листа бумаги, хлебные карточки. Оттуда в библиотеку САГУ:[18] сдала книги. Оттуда домой – Лиды нет. Оттуда к Фриде Абрамовне[19], которая просила меня зайти. Милая, милая, еще верящая и уже неверящая. Она рассказала мне, как развиваются события в тех Детдомах, о которых я писала в ЦК Юсупову[20] месяц назад: в № 10 – завхоз и директор изнасиловали 4-х девочек; в № 18 – умерла еще одна девочка от истощения и мать, приехавшая с фронта добилась тюрьмы для того самого Измаилова, о котором я писала; в № 18 Ташкентском, у Степановой, 10 % смертности и пр. Наркомпрос торопливо передвигает людей, прячет хвост. Я просила Фриду собирать документы – и пошлю всё в Москву, хотя не верю в успех. Даже если Москва и пожелает что-нибудь сделать – тут банда сплоченная[21].

Я ушла от нее в отчаяньи.

Продолжение 30/V 43. Вернувшись, пошла в ЦДХВД. Удивительная смесь ханжества и снобизма в Над. Як. Впрочем, она умна и тонка. Мальчик Эдик Бабаев[22] прочел стихи с хорошими строками, что-то о крике звезд и вое луны.

* * *

Мучительно, сквозь все, думаю о детях. Только не наивничать. Послать материал в Москву – об этих убийцах, растлителях? Не хочу наивничать. Союз убийц и растлителей всемогущ. (А Короленко? Вотяки?)[23]

Не с кем про это.

Читаю Стендаля. И впервые с полной отчетливостью поняла – еще ни один писатель не написал о любви так, как я ее чувствую – я, Шура, Зоя[24] – интеллигентные женщины нашего поколения. Все, написанное до сих пор не о *нашей* любви, даже Чехов. Не говорю уже о Стендале. «Дамы берут себе любовников» «кавалеры серванты» – о чем это? о ком? про что?

3/V [I] *43*. …в Библиотеку Наркомпроса: прочесть папину статью в «Литературе и Искусстве»[25]. Боже мой, сколько надо

сделать оговорок, чтобы выговорить, что в детях следует воспитывать совесть и честь! А последняя глава непрозрачно намекает на необходимость издания Сказки. Бедный папа. [2–3 строки вырезаны].

Прочла 2 № «Лит. Газеты», ужаснулась собственной наивности: как могло случиться, что я иногда надеюсь, что меня напечатают! [низ страницы отрезан. – *Е. Ч.*].

3/VI 43. Пришел Валя. Я увидела его на улице – босой, в руках продранные босоножки, штаны запачканы. И в том, как он нес босоножки – будто лапти, и в рубашонке его, и в том, как у него торчат на макушке волосы – так много русского, нездешнего. Он сегодня без очков (от них болят глаза) и от этого лицо кажется более детским. Хорошим воздухом он дышит. Рассказал мне, что доехал до конца 8-го №, а там 5–6 клм. – и настоящая пустыня; о черепичных крышах узбекских дач; о выжженной траве.

С кем же ты был?

Один.

Прочел несколько новых набросков: SOS, о зное и др. В каждом есть чудесные, естественные строки – но еще много «мук», «жути» и пр. Над. Як. изощряет на этих банальностях свой хороший вкус, меня нисколько они не смущают: я вижу, что за ними стоит сильный и обязательный ритм, что они пройдут.

Мы с Валей долго говорили о разных стихах – но что бы я ни начинала цитировать, он знал. Пруткова, Пушкина, Ахматову. Боратынского, до знакомства со мной, он не читал; сегодня говорил наизусть куски из «Осени». Про книжку А. А. сказал, что ему не нравятся только 2: «На шее мелких четок ряд…» и «Сжала руки…»

Я: Да, «Сжала руки…» может и хорошо, да только уже мне надоело: его так затрепали…

В.: А мне сразу надоело. Восхищался «Дальнобойным», «Музой», «Но я предупреждаю вас…», «Мне ни к чему…» и пр.

9/VI 43. Дня 2 назад ко мне зашла домой секретарша из ЦДХВД и принесла лист займа. Подписываясь, я чувствовала, что совершаю нечто некомильфотное, но скоро забыла об этом обстоятельстве.

Сегодня утром после двухчасовых попыток соединить перегоревшую спираль плитки, я отправилась на летучку в ЦДХВД. У дверей на меня сразу кинулась бухгалтерша и стала уверять, что я «подвожу коллектив», «подвожу Наркомпрос» и т. д.

Я вошла в комнату. Оторвавшись от председательских обязанностей, на меня сразу накинулась Н. Я.

– Я считаю, что это не по-товарищески.

?

– Да, да! Мы все подписались на 100 %, а вы нет.

Но я сейчас вроде погорельца, я нуждаюсь в помощи, меня обокрали…

– Меня обкрадывали 1000 раз… Должна Вам сказать, Лида, что я в данном вопросе согласна с коллективом, с Соней, со всеми и осуждаю Ваше высокомерие.

– Знаете что, – сказала я, – в Киеве меня однажды оштрафовал милиционер не за неправильную ходьбу, а за «высокомерное отношение к действиям милиции».

– Пусть я милиционер, но я говорю Вам честно, что Вы кладете пятно на коллектив.

– Неужели на коллектив? А не на себя одну?

– Вы – член профсоюза? – спросила она вдруг.

– Да. С 1926 г.

– Предупреждаю, что буду апеллировать туда…

О, ханжество! О, слюни! О, демагогия и пошлость! Если бы она сказала мне – в углу: «Лида, Вы делаете глупости. Так нельзя. Вы даете повод всяким шавкам кусать Вас за икры», – я немедленно исправила бы свой ложный шаг. Если бы она сказала мне: «Красная Армия нуждается в Ваших деньгах», – это на меня тоже имело бы свое действие. Но апелляция к «коллективу», к тому, что, мол, Соня, получающая 150 – подписалась на 100 % – в то время как по аттестату она как генеральша получает наверное 1000 [несколько строк вырезаны. – *Е. Ч.*] взорвали.

Король-то голый, совсем, до нитки.

10/VI. Мигрень лютая. Набегалась по жаре, нездорова, не выспалась.

С утра на базар. Истратила все деньги, взятые в долг, и купила только самое необходимое. На базаре – узбеки с черешнями за ухом. Мальчишки продают воду и чай в чайниках.

* * *

Вечером, по дороге на урок к Ломакиной, зашла Лиля[26] – принесла мне «Иметь и не иметь», который я мечтаю прочесть. Рассказала мне, что дочка ее подруги, Кинер, – 10 лет, посещала драмкружок в каком-то парке; 4 девочки напали на нее, сняли

с нее платье, затолкали в уборную и сообщили, что сейчас придут мальчишки. Ее выручила какая-то женщина. Сие – Ташкент. Люша отказывается нести в руках что бы то ни было – книгу, пакет: выдерут. Шляпу – стянут с головы…. А я собиралась завтра днем позволить ей пойти одной в кино, на «Принца и Нищего».

12/VI. Утром рано пришел Валя, принес новые стихи и переделанные. Среди новых одно хорошее: «Сумерки».

– Но тут есть одна пустая строка, – говорю я.

– Да, знаю… Благоухающая мгла.

Самое в нем поразительное – способность восприятия.

Прохвост Тахтимов повел его к секретарю ЦК Непомнину[27].

– Что он там о тебе наболтал?

– Он больше болтал о себе.

Непомнин дал Вале Стендаля «Красное и Черное».

– Это лучше всего на свете.

Валя продолжает упорно переделывать старые стихи. Замечательна переделка стихотворения о Старом Городе: он перевел его в другой размер, в другую тональность – в натуралистическую от романтической, не пощадив даже отличных строк.

Читали вместе пародии Флита и очень смеялись.

Меня смущает только, что он мало спрашивает о других, много рассказывает о себе – с радостным детским простодушием.

16/VI 43. Дневник – большое подспорье. Пишу перед сном и он возвращает мир моей душе.

23/VI 43. Потерянный день. И почему-то слабость, вялость устрашающая.

С утра – в ЦДХВД. Сдала сборник. Н. Я. говорила нечто невразумительное. Конечно, защищать его в ЦК она не станет. Я подала ведомость, выписала Эйсмонду 400 р. Совершенно как заурядный бюрократ, Н. Я. неспособна понять, что этот человек «в точку», что он нужен, будет нужен и ему необходимо заплатить прилично. Она снизошла до 350; затем будет налог – и он получит 200 с чем-то и для следующего № работать, тратить ночи не станет.

26/VI 43. Прочла весь комплект «Нового Мира» за 1942. Т. е. только стихи, конечно. Набрела на поэму Кирсанова[28]. Я не поклонница этого поэта; но фронтовая поэма его сюжетна – что для подростков годится – и в ней есть некоторое количество новонайденных ритмических ходов… Инбер, Алигер совсем

плохи.

28/VI 43. Вчера был еще один укол, весьма противный. Я думаю об Н. Я. дурно, но я не рассчитывала, что она унизится до *служебной* мести… По договору я обязана рецензировать рукописи. Передавая их мне, Н. Я. иногда требует рецензии, иногда просит сказать ей свое мнение устно. На днях она принесла мне либретто оперы «Огнецвет»[29] и просила прочесть «как-нибудь». Я согласилась, указав, что в операх не понимаю ничего. Прочла, и послала с Люшей назад; в прилагаемой записке среди многих дел упомянула о том, что либретто очень глупое и пошлое. Так вот вчера секретарша принесла официальную записку от Н. Я. (я очень жалею, что не сохранила ее для потомства) о том, что в *мои обязанности* входит рецензирование рукописей, что я должна была представить рецензию еще к той среде и пр… Между тем, передавая мне оперу ни о какой рецензии и среде она не упоминала.

Итак, месть – всеми средствами, вплоть до подчеркивания «служебных упущений». А давно ли Н. Я. прибегала ко мне благодарить за то, что я спасла ее от увольнения (я действительно раза 3 спасала ее, защитив перед Донской[30]). Ох, как грустно. Она могла бы быть крупнее.

Жду Донскую. Тогда все дела буду делать через нее, совершенно игнорируя Н. Я. Но она, очевидно, успеет мне много напакостить, пока занимает директорское кресло.

25/VII 43. Читала «Новый Мир» подряд за много месяцев. Серость страшная. Симонов похож до ужаса на Суркова (только больше пишет о любви), а есть еще Браун[31], который по-ленинградски интеллигентнее, но бездарнее зато. Очень бледен Маршак – не следует этому великолепному мастеру браться за лирику… Проза чудовищна по бесформенности, фальши и антиреалистичности.

1/VII 43. Пошла в Библиотеку, читала «Знамя». Сурков, Симонов, Алигер – и Тихонов. Когда вспоминаешь «Брагу», нельзя понять, как он дошел до такой беспросветной гладкости[32]. Сейчас он глаже всех, куда глаже Суркова.

13/VII 43. Читаю рассказы Горького – последних лет. Всё тускло, вяло, длинно – «Голубая жизнь», об актерах – иногда не понять даже, чего хотел сказать автор этим маловысокохудожественным произведением… И вдруг – прелестный, экономный рассказ «Проводник».

19/VII 43. Сегодня перечла немного Гумилева. В сущности, я его не люблю. Детский он – даже в 21 г. («Дракон», «Нигер») и – для мальчиков. Неинтересный у него, примитивный и звонкий мир. Люблю отдельные стихи, отдельные строки; это и значит, собственно, не любить поэта…

Впервые прочла предисловие Иванова[33]: безответственность полная. Почему Пушкин, почему Лермонтов? И почему Лермонтов – женственное начало?

В Библиотеке, читая «Литературу и Искусство» набрела на заметку: Памяти Т. Богданович[34]. [Смерть Тат. Ал. Богданович. – Дописано позже. – *Е. Ч.*] Я не сразу поняла, но поняв, заревела сразу.

А я надеялась еще увидеть, услышать ее. Какая она была слабенькая – и какая сильная.

Большой кусок моей жизни – детство (она меня крестила и я помню это; мне было 3 г.; помню белое платье у нее на руках и Бобу, которого поп таскал вокруг купели, орущего), детство; редакция; квартирка и внучки; именины – радиорупор; разговоры о грядущей войне… А теперь не знаю даже, куда телеграмму посылать.

25/VIII 43. Приходила Лиля, совсем больная. При ней пришел Валя – веселый, смеющийся, умный, чистый. Принес стихи и перевод из По. У него все идет в дело. Болтал без умолку – о стороже, который кричал: «я оторву вам головы и скажу, что так и было», о ребятах в санатории, которым он проповедовал Пастернака, о том, как он читал прямо в лицо завхозу «вор верховодит над вором»[35]… Задыхаясь, обжигаясь цитировал Пастернака: он уже всего его усвоил, впитал в себя, а знает ведь только несколько месяцев… Восприятие у него гениальное. Я любуюсь им, его жадностью, чистотой, но меня смущает одно: говоря, он не слышит, что кто-то вошел, что-то спросил – не вполне видит окружающее, некий цезаризм.

29/VIII 43. …мы с Лилей привычно спорили о том – наука литературоведение или нет. Я говорю, что нет и не может ею быть, потому что сущность поэтического очарования изначально непостижима. Не по существу, возле, можно сказать много не научного, интересного, но в том случае, если *критик* – вдохновенный писатель, Белинский, Писарев, а не Цырлино-Бескино– [слово вырезано. – *Е. Ч.*]-Берковско-Жирмунско-Гринберг, почитающий научность в скуке. Она ссылалась на Веселовского, Лессинга и Вальцеля.

14/IX 43. Достала «Охранную Грамоту» и перечитываю с наслаждением. Какой это *он* и какой *гений*. Я люблю все, кончая первыми встречами с Маяковским. О любви написано правильнее, чем где бы то ни было, кем бы то ни было.

2/X 43. Ночью читала Станиславского. Кажется, было легкое землетрясение, или, может быть, это у меня так стучало сердце. Когда я читаю Станиславского, мне все время хочется плакать. Мы тоже, мы тоже написали бы такую книгу, если бы [несколько строк вырезаны. – *Е. Ч.*] Стенич[36] говорил мне, что не может читать без злобы «Зависть» Олеши, потому что эту книгу *он* должен был написать и не написал случайно. И вот так всегда я читаю Станиславского. Мы тоже могли бы рассказать о нашем искусстве; о нашем умении.

7/X 43. Н. Я. вызвала меня, чтобы поговорить о сборнике творчества детей, который был ей поручен давным-давно – с моей помощью. Я кое-что отобрала, она ничего. Разговаривала она очень дружески, я сдержанно. Гляжу на нее и вспоминаю все гадости, какие она произносит за моей спиной. Но она как ни в чем ни бывало «выйдем вместе. Нам по дороге. Идемте вместе». Терпеть этого не могу: хочешь восстановить отношения – скажи об этом, выясни, извинись. А то нагадит и хочет все замазать. Но пошли. Все разговоры Н. Я. сводились только к самохвальству. «Средне одаренные дети меня не принимают. Меня принимают только очень одаренные. Я могу работать только вглубь. В результате они заболевают мною и литературой. Ходят за мной хвостом». Прочла мне письмо, сочиненное ею с мальчиками. Сплошное кокетство.

– Это очень Вы, – сказала я.

«Они надышались мною».

От того, что она ни на что не способна и знает это, она все время занята сплошным самоутверждением. Требует, чтобы Донская назначила ее зав. ИЗО.

«Я ведь специалист по орнаменту».

Т. к. она все время лжет про свою работу, я уже вообще не верю ни одному ее слову. «Теплота» же ее со мной мне вообще непонятна после всех сплетен и низостей.

10/X 43. Читая 2-ую книгу Станиславского, я поняла, почему я так люблю редакционную работу. Он пишет о двух типах воображения. Второй требует толчка извне: Это – мой. Мне нужен чужой материал, чужая рукопись, чтобы воображение начало

работать во всю. Я помню в детстве: Коля придумывал сюжет пьесы (Я ни к какому сюжету не способна). Придумывал характеры. Но когда нужно было разработать сцену, чтобы запело, пошло, потянулась ниточка от одного к другому – тогда вступала в работу я. Я все видела и слышала. Так и теперь. Толчок мне должна дать речь реального ребенка – а дальше уж я ее доиграю, допишу, всё через нее увижу, построю концы и начала. Воображение и чувство формы возьмутся за дело – но, не на пустом месте, а от чужой почки.

16/X 43. Всё думаю о Станиславском. Мучает меня, что он употреблял такие термины: «волнительно», «на полном интиме», «манок». «Интим» – это тот самый актерский наигрыш, против которого он восставал; интимность – это человеческое слово… Но я не о том. Как хорошо было бы написать книгу о «системе» Станиславского в литературной работе. Конечно, «освобождение мышц» сюда отношения не имеет, но «эмоциональная память», ход к внутреннему от внешнего – имеет прямое. Если бы не были проигравшими себя идиотами [несколько слов вырезаны] и хранили бы следы своей работы в редакции – можно было бы на нашей редакционной работе показать и деление на куски, и апелляцию к эмоциональной памяти, и ход от внешних движений к внутренним.

19/X 43. Сегодня же утро я провела в ЦДХ – за окнами серо, по-ленинградски, как бывало, в ленинградские осени, все съезжаются в город и начинается «бодрая, интеллектуальная жизнь», и так хочется работать за столом, не отрываясь. Я вычитывала копию сборника для ЦК комсомола; К. Н. что-то писала у себя за столом; пришла Н. Я. В течение 45 минут она подлизывалась ко мне самым явным и неприкрытым образом, так что стыдно было поднять глаза. Я чувствовала, как у меня краснеет шея. Давно ли она кричала мне: «значит, Вы не можете обеспечить сроки» и грозила «обратиться в Профсоюз» – не говорю уже о сплетнях и гадостях за моей спиной – присылала грубо-официальные записки… А теперь, почуяв мою силу у Донской, она пресмыкается. Как просто!

«Лида, мне хотелось бы знать Ваше мнение о стихах Эренбурга»; «Лида, поговорите с этой девочкой – Вы это делаете лучше меня» и т. д., и т. п.

Мания величия – во всей красе. «Я не люблю Чайковского, терпеть не могу… А Вы?»

– Я люблю. Но я в музыке разбираюсь плохо.

Я тоже. Но у меня люди всегда приходят учиться искусству –

и постепенно меня уверят, что я и в музыке понимаю».

– А вы не верьте.

26/XI.[37] Забыла написать, что вечером третьего дня у меня был опять Лелька Арнштам[38]. Что-то он во мне выпытывает и что-то я даю ему не то. Устал он и неприкаян. У меня к нему большая нежность. Он говорил о войне, о том, что после войны драматическая и человеческая тема непонятна, т. к. люди равнодушны к жестокости, она не ужасает их как после 14-го. Рассказывал, со слов Шкловского, что в одной деревне ребята сделали себе сани из удобно подмерзшего немецкого туловища.

2/XII 43. Ночь. Я только что вернулась от Лели и Тарле[39], после головоломной целодневной ходьбы по Москве. Ноги все время в ледяном компрессе.

К 7 ч. к Тарле. С визитом и за рекомендацией. Веселый, пухлый, расплывшийся старик, целует руки, во время разговора гладит по колену. Беседа – блистательна: о Щедрине, о Достоевском, Пушкине (для него нет перегородок времени) и также бойко и с антипатией – о зверствах немцев. (Берут у детей кровь для переливания раненым, а детей убивают). Гитлер: «бездарный идиот, все им напортил. Его держат только для истерических речей». «Философы: офицер рассказывает о порке женщины: – это борьба со скукой. Это веселость духа, осознавшего силу». Передавал показания принца Бернадотта о последнем налете англичан на Берлин: воронки, пламя, тысячи сошедших с ума. Жена, ведьма прошедшего времени («у Ахматовой очень однообразная тема», «Маяковский непонятен»), показали мне рукописи Достоевского (приговор Мите), картинку Лермонтова и автограф «От меня вечор Леила»[40]. Чопорна, холодно любезна, и рассказывает о своем знакомстве с А. Г. Достоевской. «Федор Михайлович ее очень любил. А она была болтлива, и всё о чепухе. Федор Михайлович уходил в скорлупу и ее не слышал». Тарле привел чьи-то слова о Достоевском:

«Если построить пирамиду, то на вершине будут Пушкин, Толстой, а над ними, как дух, носится Достоевский». Подозреваю, что Ахматову и Маяковского он тоже не понимает вовсе, но не говорит глупостей как жена.

С восхвалениями цитирует папу.

От него еле добралась к Леле. Леля очень жалуется – ничего не выходит с «Зоей»[41] и худо дома с женой. Вышел меня провожать, вывел пуделя. Встретили в темноте Инну[42] и Ирину Эренбург. Инна очень изящно наклонилась к собаке. «Меня дома

не уважают», – сказал Леля. И возле трамвая: «У меня кроме тебя никого на свете нет».

По пустым улицам, темным – как бывало там, тот же звук последнего трамвая – но ничто не трогает.

5/XII 43. Тарле написал рекомендацию роскошную[43]. Затем показал мне ошибки в романе Тынянова о Пушкине. Инзов[44] не мог быть сыном Конст. Павл.[45] («Константин – Инзов»), потому что К. П. в это время был 41 год, а об Инзове Пушкин писал «благодушный старик». Вторая ошибка еще страннее: рассказывая о посещении Пушкина Горчаковым, Тынянов пишет: их земли были рядом. Тарле: земель у Горчакова[46] рядом с Пушкиным не было. Он приехал, рискуя карьерой, к опальному другу – а вовсе не зашел по соседству. Тарле не нравится, что Тынянов «всё время подговаривает за Пушкина: “не поймешь – кто это думает, Пушкин или Тынянов”».

7/XII 43. Сегодня Леля, который опять был у нас, высказал ту мысль, что Шкловский похож на Булгарина. (Он знает Булгарина по Глинке[47]). «Та же круглоголовость… и та же сантиментальность… и та же трусость». Я-то думаю, что в нем, рядом с писателем живет графоман, а рядом с оратором – болтун. Но я помню добро: Мирон Павлович, Мирон.

По просьбе Лели, папа прочел нам главы о Чехове. Это превосходно. Та же четкость, те же крупные мазки, что всегда, но при крупности – сложность, тонкость. Язык великолепный. Пение есть, но без педалей и петухов.

16/XII 43. Только что вернулась от Тарле, которого ходила навещать. Кровать посреди комнаты; на белоснежных подушках тучный, веселый старик в оглушительно голубой рубашке. Грипп. Поговорили о его книге, которую я вернула. Кажется, комплименты мне удались. Потом, как всегда, о литературе. Так и сыплет цитатами: «Прокурор был глуп от природы. Но после того, как он защитил диссертацию, он стал совершенно глуп» («Воскресенье»). Потом о Достоевском. «Никто не отметил, что у него была одна поразительная тема: “Бобок”, “Скверный анекдот”, провонявший старец… О бессмертии он писал, высунув язык, издеваясь». Цитировал «Бобок» наизусть.

Дал мне прочесть свою статью о Польше в журнале «Война и рабочий класс». Гм! Он не должен думать все-таки, что он один знает историю. Увы! Существуют факты, известные каждому школьнику.

17/XII 43. Позвонили из Домоуправления, что нужна справка о сдаче карточек в Ташкенте. Мы с Люшей искали по всем чемоданам 1½ часа. Потом я вспомнила, что справка сдана мною в Гослитиздат. Занимались дальше, но уже как-то тупо. Потом позвонил Леля, что у него грипп. И вместо того, чтобы ехать в Библиотеку, я поехала к нему. И просидела до вечера. Варила ему кашу, кипятила чай – как приятно делать такие вещи безответственно.

Сегодня он рассказал мне о себе и о Инне почти до конца. Он жалуется, что ее все в нем раздражает: как он ходит, смеется, ест. Что это на него сильно действует. Что, может быть, она его разлюбила, а может быть, она просто устала, потому что очень уж труден быт, она слабенькая, танцевать ей не под силу. Что 5 лет они прожили в разных городах, потом – съехались в Ленинграде, было неуютно, а последние ½ года до войны – очень хорошо.

У него жар, всё болит.

Меня он упрекал в традиционализме, в неумении «обновлять свой организм», в неподвижности… Но он не знает, как я убита, в какой мере; и не знает, что я неподвижна физически: в путешествии я заболеваю и, чтобы во мне стало что-то расти, мне нужен отстоявшийся быт, дни, похожие один на другой; мне нужно как молоку, стоять неподвижно, чтобы на мне выросла сметана.

Говорили об искусстве. Он говорил, что тему современной войны нельзя решать *бытовой* интонацией. Что даже голая патетика и то закономернее быта и камерности. Это верно.

В комнату входила Галя – Зоя картины[48]. Ладная, стройная, грубая, неинтересная. Но о матери Зои рассказала много интересного. Прочтя сценарий, мать произнесла: «Ужас! ужас! Как Арнштам мог такое написать». Галя – к ней. Оказывается: Зоя никогда не допустила бы, чтобы подруги называли ее *Зойкой*, а у Лели ее так называют… Мать очень любит показывать фотографии Зои под пыткой: «вот тут она похожа» (Зоя уже с веревкой на шее), «вот тут меньше»[49]…

18/XII 43. Прочла в письме Толстого к Страхову:

«Пишите, работайте… и пишите то, что самое задушевное. Трудно узнать, что самое задушевное, скажут. Это правда, но есть приемы узнать. Во-первых, это то, про что никому не рассказываешь, во-вторых, то, что всегда откладываешь».

26/XII 43. Думаю много о природе художника, о блоковском: «искусства с жизнью примирить нельзя». Искусство требует такого напряжения сил, всех сил, такого выключения из жизни,

что сочетать с ним *доброе* отношение к людям невозможно. На них не хватит не только сил, но и попросту времени. Отсюда всякие суррогаты человеческих чувств, *равнодушие* художника при *зоркости, черствость* при чуткости и ранимости… А повышенное чувство формы, засасывающее, самоцельное, дает возможность и *лживое* решать страстно. Гипертрофия артистизма должна приводить к пороку [слово вырезано]). Пишу не точно; а думаю, кажется, ясно.

31/XII 43. Как они летят, года, честь им и слава. Туда им и дорога.

Сегодня я сказала Леле, что считаю себя оптимисткой. И сегодня я целый день думала о том, в чем смысл моей веры. Я и в самом деле оптимистка. Я верю, что люди хрупки, а дела их – нет. Стихи прочны так же, как звезды. Любовь необыкновенно прочна. И [нрзб.] люди бессмертны. И «все лучшее, что делает каждый из нас, есть дело народное» (Чехов), т. е. бессмертное. Только бы успеть воплотиться

в строчки, пароходы и другие долгие дела[50].

Жизнь занята тем, чтобы мешать нам воплотиться. А мы должны – во что бы то ни стало. «Все мы живем для будущего», как написала когда-то в одном письме А. А.

Вот почему такое преступление – убийство ребенка и убийство поэта. Ребенок еще не успел себя запечатлеть навсегда, завоевать свое бессмертие, а поэт – создатель звезд, создатель вселенной, «машина, делающая машины» – зиждитель, строитель, бог…

Мы не можем не оплакивать его, но надо уметь радоваться незыблемости, неистребимости звезд.

А ненавидеть в жизни нужно всё, что мешает нашему воплощению.

1/I 44. Поговорила, наконец, с Шурой всласть. Главное, рассказала ей о «червонцах», о «познай где свет, поймешь где тьма»[51], о бессмертии любимых, о том, почему я считаю себя оптимисткой. Мне очень важно было, что она скажет. Всё совпало – какая радость! – только бессмертия она не слышит. Она с юности страдала мучительным ощущением смерти, как конца, который обессмысливает всё. Да, я не верю в загробную жизнь, но любовь несокрушима, но мертвые для живых – живы, но дела их живы. Гимназический вопрос: «что лучше: иметь и потерять или желать и не иметь» – лишен теперь

для меня смысла. Ничего нельзя потерять. Я не могу потерять Митиных слов: «а я бы вообще не жил». Можно потерять только дом или сумку, или кольцо. Митя и Мирон Павлович, Мих. Моис. и Мих. Як., Изя[52] – живы для меня не потому, что они превратились в траву, а потому, что мои отношения с ними не кончились.

2/I 44. И в новом году я также несдержанна, как в старом. Только что резко и громко говорила с мамой, когда с ней я хотела бы всегда говорить мало, тихо и сдержанно.

Этим подпортила себе довольно хороший день. Потом я поехала в Библиотеку. Там читала «Новости» – Флобер, оказывается, говорил, что гения Толстого и Достоевского он воспринять не в состоянии, и только верит на слово «их соотечественникам», а вот гений Тургенева чувствует вполне… Ух, ты! Затем читала «В чем моя вера»[53]. До чего я, как и все наше поколение, невежественны философски, совершенно не в состоянии думать этими категориями. Но книга хватает за живое, конечно. Логика его почти всегда несокрушима, ненависть к лицемерию и ханжеству пронзительна. Нелогичным, непоследовательным мне показалось, пожалуй, только отношение к прелюбодеянию: почему «блуд» с одной женщиной почетен, а с двумя или 22-мя – греховен. Сектанты, которые вообще считают грехом «плоть» гораздо последовательнее, отрицая всякое сожительство вообще… Но это мелочь. Так-то все у него очень последовательно, очень разумно и убедительно – одно не по мне (а при этом главное): ненависть для меня также свята, как любовь; человек, который ни на кого не гневается – отвратителен. Всех любить вовсе не надо; надо любить тех, кто достоин любви. Я – за пристрастия и за страсти. Конечно, они приводят к чудовищным безумствам – к войнам – но даже ужас перед этими безумствами не может сделать меня христианкой. Я знаю дни, когда убийство гадины есть дело святое, очеловечивающее человека.

3/I 44. День прогула – т. е. единственный трудовой и наполненный день.

Позанимавшись с Люшей, я, сделав вид, что иду, как всегда, в Библиотеку, отправилась к Шуре – напиваться, как мы условились еще давно с Ваней, Алексеем Ивановичем и Тусей[54]. Но к счастью мужчины не соблазнились даже водкой и не пришли. Когда мы поняли, что мы втроем вместе, что никуда нам не надо торопиться – мы ужасно обрадовались. Заговорили сразу обо всем на свете. И, прежде всего, о Ленинграде,

о возвращении или нет.

Потом приехал Маршак. Он такой же, как 2 года назад, только седее. И тут, когда мы оказались с ним – целая туча воспоминаний, мыслей, обняла меня, привычных раздражений, привычной нежности. «Опять, как в годы золотые»[55] – только Зоя[56] далеко, только не войдет Митя, только за окном – не угол Пантелеймоновской и не Невский и не Михайловский сад. А этот человек всё тот же – говорит только о себе – Туся мешает ему кофе – он хвалит себя: свое поведение относительно Зои, свое беспристрастие относительно сестры. И Туся подает ему нужные реплики, подчеркивающие благородство, облегчающие совесть – все это я видела и от всего этого меня тошнило 1000 раз. И сквозь это, как всегда. Вдруг – распластанность его – усталая, старческая – и привычная нежность к нам – и вдруг прислушается и услышит и метко ответит. Тяжело он несет свое бремя. И видно, что он все же побеждает его, только когда он прикасается к литературе. Он прочел переводы – Шекспир, Китс, Шелли – и кое-что свое – восхитительные

> Нельзя не впасть вконец как в ересь
> В немыслимую простоту[57].

Читая, он стал легок, быстр, молод, добр. Перед отъездом долго со всеми целовался.

(«Кирсанов и ходить по-русски не умеет, а пробует танцевать по-русски». «Надо уметь видеть события, как Блок, а не как Гиппиус».)

15/I 44. С утра – к Маршаку. Я впервые у него после приезда. Чистая, обдуманная квартира, удобная, нарядная. Та же Софья Михайловна[58], та же Вера [домработница], та же Розалия Ивановна[59] (Туся рассказывает, что во время баталий С. Я. называет ее «Проклятый Фриц»). С. Я. очень смешон в алькове – под яркой лампой. Рубаха распахнута, щеки висят. Я сидела у него часа 1½ и 1½ часа длился монолог. Он не дал сказать ни одного слова. Неустанная непрерывная речь – об искусстве, о Фадееве, о стихах, о реализме I сорта, о Некрасове, о Достоевском, о том, как его никто не щадит. [Несколько слов вырезаны], о том, что он ничего не успевает («столько утечки, утруски, усушки»). Слушала я с интересом и удовольствием, хотелось запоминать и записывать.

О теории стиха. Надо непременно записать многое, что рождается из ежедневной работы. Формализм был антирелигиозен. Все разложили на полочки. Семантике дали 1

полку, в то время как всё – семантика. Смысл везде. Первые строки строфы очень пригодны для неба, вторые для земли. Тут и дыхание тяжелеет, кончается. «Резвясь на землю пролила». У Пушкина слово «любовь» произносится шепотом, на него уже нет голоса. «И ласкаясь говорила / Сохрани мой талисман. / В нем волшебная есть сила. / Он тебе любовью дан». У Лермонтова звуки взяты гораздо более внешне: «Волна на волну набегала / Волна обгоняла волну».

Некрасов – гений, близок Пушкину и родной брат Достоевского. «Филантроп» ведь это… всем Достоевский. «И по плачущим [несколько слов вырезаны] …к себе. Как велик Некрасов каждый раз, когда касается религии.

«Она мила – скажу меж нами…», – слушайте, как глаза остаются поднятыми: поднимет –

> …ангел Рафаэля
> Так созерцает божество[60].

На ангеле остановились и стоят – стоят и во второй строке, в *а*.

Поэт без этики не может существовать. Никакой эстетики без этики не может быть.

В переводе должно быть слышно, что делается за окном сейчас. Вот почему перевод “Гамлета” Пастернака лучше Лозинского, хотя Лозинский и лучше».

Читал переводы из Блейка, Бернса, Шекспира.

Я все думаю о природе художественного. Всякая художественная работа происходит на самом дне души и требует сосредоточенности и ритма. А мир тоже требует его к себе – иначе черствость, гибель. На стыке необходимого беззвучия и необходимого шума и живет урод, калека, горбун – художник. Его отношения с миром непременно кривые, часто ничтожные, жалкие… Сегодня Маршак говорил со мной нежным голосом. Зазвонил телефон. Он взял трубку и сразу стал говорить, как умирающий: «Мне очень плохо… Не сплю… Давайте отложим». Это у него уже механически делается, хитрость сумасшедшего.

* * *

Зачем я веду этот дневник? Все кажется, что когда-нибудь сниму пальто, опомнюсь, все перечту и пойму. И напишу – что?

* * *

На прощание Маршак вдруг сказал мне:

– Что это стало с вашим братом Колей? Какой он был в юности, стихи хорошие писал. А теперь пишет как Миша Слонимский, не отличить… И в глаза не глядит. (Коля ненавидит Маршака)… И пишет, как Слонимский, и ничего другого и не хочет.

19/I 44. Был Леля [Арнштам]. Снимал всю ночь и полдня и сегодня всю ночь тоже будет снимать. Еле держит глаза открытыми, еле говорит, но как собран. Я впервые увидела те немецкие фотографии Зои, которые были опубликованы месяца 2 назад в наших газетах. Они драматичны, они напряжены, как кадры из фильма, а не как фотографии. Эти ноги ее, этот стиснутый рот, эти мальчишеские волосы, это детское, строгое лицо. Эти ноги, на которые нет сил смотреть. Но самое страшное – не она. И даже не толстый немец с лицом мясника – впереди. И даже не русский мальчонка, затесавшийся в немецкую толпу. Страшнее всего молодые, интеллигентные, свежие юношеские лица мужчин – двадцатилетних мужчин, веселой гурьбой идущих вешать восемнадцатилетнюю девушку. Это непостижимо. Один из них высокий, красивый.

26/I 44. С утра – к Маршаку, отвезти рукопись пьесы. Очень смешно: опять альков, опять здоровый голос со мной и болящий в телефон и, главное, жалобы на те же обстоятельства, о которых он мне говорил в прошлый раз. («Одна женщина попала под машину» – а это Катя [Трощенко], о которой он говорил мне уже 2 раза; «Я хлопотал в Наркомздраве и меня вызвал к себе Нарком» – на это он жаловался мне уже в прошлый раз.

Быстрый разговор о поэзии. «Знаете, у Ушакова иногда хорошо». – Не знаю. Я всегда видела только дрянь. – «А вот…» – и прочел о степи. Действительно, что-то есть. «Оно похоже на степь… Он сродни Ходасевичу». Потом опять о Пастернаке и Ахматовой, к которым он всегда подбирается. «У Пастернака все-таки одна нога гораздо короче другой. Помните у Чехова рассказ о том, как баба диктует писарю письмо: корова пала, дед умер, а писарь пишет только поклоны – остальное “не вошло”. Вот и у Пастернака корова не вошла, а это – худо». Затем начал хвалить Твардовского. «В [верх страницы отрезан. – *Е. Ч.*]… «Страной Муравией», а Пастернак ничем. Я возразила, что в Твардовском мне нехватает лирической личности, стоящей за всеми этими объективными фольклорами, прожигающей,

как кислота. «У Пушкина тоже нигде не выпячено лирическое личное. У Лермонтова его слишком много и это плохо. Лермонтов отдавал свою прозу – прозе, а поэзия его вела к Надсону. Вот и у Ахматовой в стихах слишком мало прозы. Помните, что поэзия от излишков поэтического засахаривается. Появляется лазурь и ландыши и пр…»

А исповедь?

Опять о том, что «Волна на волну набегала…» – это механическое звучание не то, что «на холмы Грузии легла ночная мгла» или «На печальные поляны…» (Верно).

Я возражала по поводу лиризма и Пастернака вяло, потому что мне интереснее было слушать, чем говорить. Но как сравнивать Твардовского с Пастернаком и Ахматовой? Они обращены ко мне. А Твардовский – нет. Вот почему они мне дороже. Но, кроме того, Твардовский в самых больших удачах примитивен. [Верх страницы отрезан]. «Поэзия где-то на границе этики с эстетикой».

«Как Гоголь великолепно знал всю материальную сторону своих героев. О его персонажах можно заполнить подробную анкету: кто были родители, каким имуществом владеет. А потом искусство изнежилось и перестало интересоваться материальностью».

«Лиризм всегда берет верх в эпохи упадка, или, во всяком случае, в переходные, смутные времена. Подумайте, сколько не додал Фет. И Пастернак, и Ахматова не додают».

* * *

Вчера я впервые за много месяцев читала «вольную» книгу: № Лит. Наследства о Герцене[61]. Все это такое интересное мне еще по каторжным трудам 36 г. Умница Толстой: «Герцен – как Пушкин; где ни откроешь – везде превосходно»[62]. А еще дурачком притворяется. (Толстой, 77 г.)

9/IV 44. Вечером к папе пришла Кончаловская Наталья Петровна [жена Михалкова. – Дописано позже. – *Е. Ч.*], о которой я слышала много хорошего, хотя Леля, который тоже хвалит ее, хвалит так: «она прекрасное, умное, талантливое животное – но все же животное». Мне хотелось к ней присмотреться и прислушаться, потому что то, что ею написано – небанально, не бырышнино, а как-то очень органично, хотя иногда и нехорошо. Переводы ее мне тоже нравились… Ведет она себя очень умно, тактично, по виду искренне – в той мере, в какой эта искренность уместна. Светская женщина вполне. Очень смешно, верно и зло ругала Эль Регистана, который вполне завладел ее Сережей: они вместе пьют, вместе делают шашлыки и, что еще хуже, вместе пишут. Берутся за сценарии, либретто и пр. и все обязательно: «Сталинская будет наша!» С возмущением [несколько слов вырезаны. – *Е. Ч.*], задуманный ими: «За что советская страна / Дает поэтам ордена». – Это Регистан, я узнаю его! Писать нужно о человеке, о его подвиге – и как результат – орден, а тут всё наоборот!.. Этот человек залез в мою жизнь всеми лапами, меня он ненавидит, потому что боится, а Сережа считает, что у него нет и не было лучшего друга».

Она читала наброски своей книги новая и старая Москва[63] – мне не понравилось: холодно. Не знаю, как дальше будет, а пока что худо, потому что нет отношения к старине: неизвестно, насмехаться мы должны над барином, над Елизаветой – или как? Стихи без ключа. Потом читала переводы – превосходные – особенно Дюны – и из Шекспира. Местами не хуже и даже как-то пронзительнее маршаковских. Потом читала свои детские стихи: «Сапоги»[64], пожалуй, хороши. Она, конечно, клад для «смеси», для журнала – ей, как Шварцу [несколько слов вырезаны. – *Е. Ч.*], в самом деле хочется смеяться, у нее есть аппетит к смеху.

Когда она уже собралась уходить, папа сказал: ну, теперь ты, Лида, почитай.

Люша (она весь вечер сидела возле) зашептала «не надо,

не надо». Не знаю, боялась ли она за меня, что я «провалюсь»? Я прочла «Скучно, а главное силы…», «Он ведь только прикинулся…» и I гл. поэмы, «Осень» и «Я никогда не вернусь». Эффект был чрезвычайный. Не знаю, с отвычки ли от живого человеческого голоса или в самом деле мои стихи хороши – но Наталья Петровна охала и ахала по поводу каждой строки и смотрела на меня во все глаза. Я, признаюсь, была рада, потому что мой визит к ним тогда был унизителен.

11/IV. Днем чудо: стук в дверь и вошел Валя [Берестов]! Круглолицый, розовый, в счастливом смятении – приехал как-то страшно легкомысленно – 150 р. в кармане, ни жилья, ни карточки, ни прописки[65]. Чемодан у Хазиных. Читал мне новые стихи – есть чудесные. Счастлив он страшно. Папа был в хорошем духе, сразу повел его по генералам, сводил к Литвинову.

16/IV 44. Вчера, проработав часов 6 подряд, пошла я «в свет» – решила, что будет уместно навестить Кончаловскую, которая хворает. Она, большая, тяжелая, лежала на кровати. Скоро пришла Лина Степанова[66] – красивая, но какая-то уже слишком для меня светская. Оказалось, что в соседней комнате лежит Фадеев, которому стало плохо после вчерашней выпивки, и Лина приехала за ним. Она увезла его. Тогда пришел Рубинштейн – польский еврей, поэт. Кажется милый. Мне под руку попалась книжка Васильева[67], «Соляной бунт». Я много слышала об этом поэте, но никогда ничего не читала. Всё отвратительное, что я ненавижу в нарочитом русизме, собралось в этой книге: изобилие бедер, сосков, матерщины, «отпробованных» девок, черносотенной удали. Тем не менее поэт сильный, и отдельные места пленительны точностью зауми. «Охают бедра. Будто счастьем полные ведра. На спине проносит она». На книге надпись «Наташа, люби меня». И Наталья Петровна сразу же, с той откровенностью, с какой она недавно рассказывала о Регистане, стала очень талантливо, красочно и откровенно рассказывать о своем романе с Васильевым.

«Я его боялась. Он был красивый, ладный, кудрявый, с чубом, а глаза узкие, зеленые, злые. Я боялась, что он больной. Он был страшно в меня влюблен и всюду рассказывал, что я его любовница. А я была чиста и никак ему не давалась. Один раз я ему сказала, что могу его в бараний рог свернуть. Он весь перекосился, глаза стали белые, он ударил меня в лоб, и я упала без памяти. Потом на коленях ползал».

Ну и все в том же разухабистом русском стиле. Но прочла его

стихи ей – чудесные.

«Девушки за ним табунами ходили, он их всех на обе лопатки клал стихами ко мне».

«Ему ужасно нравилось, что я – внучка Сурикова».

«Я его любила, как никого, и от этой любви вышла замуж за Сережу [Михалкова]. И сразу все прошло, я привязалась к Сереже – он был противоположный, чистенький, лопоухий, молокосос… Но я так любила Васильева, что даже Богу за него молилась, чтобы он исправился».

Рубинштейн спросил, как погиб Васильев.

«Он свихнулся, – ответила Наталья Петровна, – в 34 г. его арестовали. И вот досада какая – он вышел оттуда тихий, поумневший, а потом опять вывихнулся».

– М-? – спросил Рубинштейн.

«У него были контрреволюционные выступления».

– В каком это году? – спросила я.

– «В 37 г.» – ответила она без запинки.

Скоро Рубинштейн ушел, а я осталась еще вглядываться в этот краснодеревный, талантливый, великосветский быт.

«Жаль Пашу, – сказала Наталья Петровна, – вы подумайте, *теперь,* когда Русь на *такой* высоте, как бы он возвысился и стал на рельсы…»

23/IV 44. Утром был Коля. Я прочла ему поэму, зная, что он будет ругать. Так и вышло. Он очень вежливо объяснил мне, что всё с чужого голоса, что это акмеизм, Ахматова + Цветаева, что Нева не вышла, что засыпать можно – надсоновщина, что много истерических срывов; а напоследок сказал, что главное для поэта – понять, открывает ли он новый мир, и если нет – закрыть рот.

Я не согласна, пожалуй, только с последним: это забота праздная. Я не могу не писать и потому пишу; изо всех сил стараюсь работать как можно лучше. Новый мир или нет – об этом судить не мне и не мне заботиться.

Коля тонкий критик. Я огорчилась.

30/IV 44. Вечером зашла Наташа Кончаловская за Соловьевым[68] – шумная, красивая, сквозь некрасивость, живая. Читала новые отрывки из своей московской книжки – хороши, с аппетитом написаны. Мне нравится во мне, что мне может нравиться такое чужое (!). С восхищением говорила о «Бэмби» – она уверяет, что это выше Чаплина – и чудесно показывала олененка, его ножки, его ломающийся голос. Люди, она говорит, там настоящие фашисты – рубят, жгут,

все уничтожают кругом.

«Артисты МХАТ должны были бы у олененка поучиться играть».

Михалков сегодня из Крыма. Немцы страшно бомбили Симферополь, он там чуть не погиб. Люди лежали прямо носами в землю, на улицах.

1 мая 1944. … зашла Наташа – опять за томом Соловьева. Ей необходим Василий Темный. Долго сидела в шубке у меня и болтала своим милым, красивым ртом, в котором по [несколько слов вырезаны. – *Е. Ч.*] и заключена ее душа. В красках, в лицах, изобразила свои беседы с Андроном [сыном], и с Мазоной (?). Так виден умный, тонкий, талантливый, богатый человек. И вдруг – тем же ртом высказывает предложение *выслать* из Украины всех женщин, которые жили с немцами, а их детей отобрать у них в особые заведения! – Что вы, Наташа, ведь они грудные! – Да нет, им уже третий годок! – Но и двухлетних как же отнять у матерей? И зачем *особые* дома, за что же детей-то клеймить? Что это за хижина дяди Тома?

Вот и пойми человеческую душу!

30/VII 44. Читала как-то ночью сборник памяти Андреева[69]. Превосходен Горький, ничтожен Замятин, интересен папа – и гениален Блок. Блок говорит как бы сам с собой, сам для себя – и именно поэтому он говорит мне, читаешь его и душа замирает *от того,* что это *сказано мне. А* мы всегда думаем *о читателе,* чтобы было понятно ему, все время о нем – и потому ему читать нас скучно – не для чего и непонятно.

13/VIII 44. В поезде читала письма Герцена – так, схватила случайный московский том. Не знаю никого любимее. Я всё в этом человеке люблю до страсти. Какой счастливый случай, что Россия не додушила его, что он был богат. И мы можем читать «несчастья с какой-то дикой роскошью падают на меня»[70]. Пленительно по отношению к друзьям, к дружбе, а его восприятие политики как этики – пророческое еще на века вперед.

16/VIII 44. Нам ли, свидетелям фашизма, не знать, какова сила воспитания!

Герцен – я не знаю славы и слова более воспитывающих. Если бы у каждого юноши мира на столе с 12-лет лежали «Былое и Думы» и «Колокол» – не могло бы существовать фашизма.

Очень захотелось написать книгу «Колокол». Биографическую

повесть о Герцене писать не надо, он написал ее сам не только гениально, но и полно; а вот о «Колоколе» так, чтобы дать портреты людей, в которых он стрелял, и воздействие. Т. е. в сущности книгу о 60-х г. г… Но ведь он расходился с Чернышевским.

20/VIII. Вечером жадно взялась за Герцена. Не могу читать его семейных писем – какая боль. Эта женщина опутала его и загубила, как рак[71]. Почему один гнусный, но уверенный в себе человек сильнее благородных? Она лишила его детей, дома. Совершенное неуважение к труду, к работе, совершенная праздность – под предлогом воспитания детей и разумеется абсолютная неспособность воспитывать. Гибель Лизы естественно вытекает из ее детства… Маленькие умерли – и в своем отчаянии как она умело спекулирует их смертью, чтобы приковать Герцена, обезоружить его, отравить. Нет, мужчины бывают ничтожны и трусливы, но женщины, жаждущие «любви» и никого не любящие – о какая это страшная сила! Как хочется – когда читаешь – чтобы он наконец оставил ее, но он только просит «не хорошо так», «пойми» и пр., прикованный к ней Лизой и тем, что она – не жена. (Разумеется, она спекулирует своей «брошенностью».)

Всё очень страшно и очень знакомо.

Особенно страшно то место, где он пишет Огареву, что успокоить N можно только физической близостью – и осуществляет свое намерение, сознательно осуществляет, *для Лизы.*

Все для Лизы – и всё калечит Лизу.

А сколько у него сил – из города в город – проводить Тату – проводить N и Лизу – вернуться – опять проводить – снять дом – писать Тате воспитательные письма – воспитывать на расстоянии и вблизи – и это *кроме* «Колокола». Гений, гениальная воля – гениальное здоровье – и управился со всем этим – рак.

А она какие болтливые письма, дурного тона, злобные – и всё о любви. Она хочет только любить и простить и начать новую эпоху и уврачевать все раны – а сама только жалит, гадит, травит, калечит и вытягивает жилы.

28/8 44. Читаю Герцена – опять. Читаю письма к Н. А., любовные, до свадьбы. Нет, она в самом деле – молодец, она ведь первая поняла, что он – Герцен, что он – подарок Руси, как она сама написала. А я люблю любовь и потому мне нравятся эти однообразные и выспренние письма. А он-то каков – как он твердо знает *кто он* – в ту пору, когда Лемке[72] еще

не комментировал его.

У меня нет никакого сходства с ним в таланте, в величии, в гении – но многие его слова и чувства – очень мои, очень мне родные.

30/VIII 44. Герцен. Какое благо – его письма, какое счастье для меня, что он жил. Нету ни одной современной мысли, ни одного нашего страдания, о котором он не сказал бы своего живого слова.

4/IX. *В* промежутке я была в Детгизе, у Воробьевой – выясняла кое-какие мелочи. Между прочим, она спросила – не согласилась ли бы я написать предисловие к «Былому и Думам», которые подготовил для них Нович?[73] Мне сразу стало и заманчиво и гадко. Когда-то я потратила более года жизни – сократила «Былое и Думы» вместо Алексеевой, написала к ним примечания, заказала и проредактировала примечания Брискмана, Ал. Слонимского и мн. др. Вся эта работа, стоившая мне дней и ночей, вышла под именем бездарной методистки Алексеевой, с которой в свое время был заключен договор и которая получила, наверное, тысяч 15 за книгу, сделанную без нее. Теперь Нович взял то, мое издание, получил за него тысяч 30 – написал плохое предисловие (его неоткуда было украсть) – такое плохое, что даже Детгиз забраковал… И мне теперь предлагают писать предисловие ко всей этой цепи недобросовестности, халтуры и краж.

22/IX 44. У Тусеньки мы спорили о С. А. Толстой, чей Дневник она сейчас читает, прерываемые десятью звонками Маршака. Все одно и то же. Тусенька говорила о Софье Андреевне всякие трогательные вещи, а я опровергала их. Она, бесспорно, умна, талантлива, крупна – но она была сыщиком, она повинна в психологическом терроре, она принуждала Толстого любить ее, следила за ним, она не ушла – и дождалась, что он вынужден был уйти – нет, казнь ее – заслуженная. Недаром он до последней минуты не хотел ее видеть, недаром дочери презирали ее.

3/X 44. Была в Библиотеке. Там меня засосало – и я, почитав недолго Гусева и Бирюкова[74], кинулась в «Крейцерову сонату».

Я ее не люблю. Он *больше* понимал, когда понимал Наташу. Но крик «На непроглядный ужас жизни / Открой скорей, открой глаза»[75] внятен мне.

20/XI 44. Принято думать, что С. А. Толстая ненавидела

«темных», т. е. толстовцев. Но она ненавидела не только «темных»; она не сочувствовала вообще всякому «не художественному» делу Толстого. Азбуке, школе, семинарии. Она не понимала, что и Азбука, и школа, и увлечение детьми имели прямое отношение к «художеству». Она не понимала механизма художественного творчества Толстого: дети, учителя для него *материал* мысли. Это то же, как если бы человек вздумал объяснять пчеле: главное твое дело – мед; так вот и делай его – а зачем же ты на цветы садишься? Только зря время тратишь на «не главное». Толстой и в школе был художник – и в религии – художник (ибо нельзя из «художества» вынуть мысль).

Она, как и все плоские самоуверенные люди, не понимала, что художество есть путь; Толстой со страшным усилием движется – сквозь школу, сквозь голод, сквозь Бога – и на пути этого движения остаются следы: «Война и Мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Азбука», статьи. А она хотела, чтобы следы оставались без ходьбы.

9/XII. Читала «Лит. Наследство» – «нужная» статья Эльсберга и «ненужные» (для моей работы) письма Огарева. Из писем этих видно, что Герцен был прав, считая его человеком необыкновенной душевной красоты и поэтичности. Любовь его к Герцену и детям Герцена поразительна. Не могу оторваться от их страшных последних лет. Всё очень необычно: покинутый муж мучается не своей покинутостью, а тем, что бывшая жена доставляет столько страданий новому мужу. В самом деле, какую силу имеет злоба и бессмыслица, столкнувшись с благородством, тонкостью и добротой. Тучкова уничтожила:

– семью Герцена, т. е. возможность для него совместной жизни со старшими детьми.

– из-за Тучковой пришлось отдать Ольгу «на сторону».

– из-за нее старшие не любили Лизу.

– из-за ее дурацкого воспитания, баловства, дерганья и ею созданного одиночества погибла – убила себя Лиза.

– из-за нее Тата Герцен жила постоянно вдали от семьи, что привело, кстати, к ее трагедии с Пенизи[76].

– она сократила век Александра Ивановича, а сколько рабочих часов она ему отравила!

И этот человек осмеливался продолжать жить, да еще писать мемуары!

Не было ли бы справедливее, если бы Герцен и Огарев отняли у нее Лизу, заперли ее в сумасшедший дом или вообще научились терроризировать ее, как она научилась терроризировать их –

отъездом с Лизой в Россию, самоубийством, горем и пр.?

Но тут опять то, о чем писал Белинский: «мерзавцы поступают с честными людьми, как с мерзавцами, а честные люди с ними, как с честными людьми».

Удивительная карточка М. К. Райхель и Н. Ал. Герцен. в 90-х годах: М. К. древняя, Тата – седая, с молодыми руками. На снимке они вдвоем и так же ясно, как они, снято: его, смысла их жизни, *нет.* Снято *отсутствие.*

Статья Эльсберга о Герцене-художнике – неприятна. Отсутствие чувства стиля, глухое ухо. Ну как писать о связи прозы Пруста с Герценом? Между Прустом и Герценом есть сходство как между явлениями: оба огромны, необъятны, энциклопедичны; Но стиль – противоположный. У Герцена «всё наружу, всё на воле», у Пруста – все сдержано, комильфотно, замкнуто (в прозе). Звук совсем другой.

16/I 45. У Лели: Довженко, Шостакович, Тихонов, Симонов. Жены и – знаменитая Валя Серова. Невесело, неуютно, неискренне – как-то всё торопливо, без задушевности – но шумно, говорливо и после водки – оживленно. Интересен Довженко. Долго, опершись на рояль, очень умело и привычно, рассказывал о ведьмах на Украине, о каких-то женщинах в Киеве, у которых сами прыгали в квартире ножи и вилки, о колдуне, умевшем лечить сумасшедших. Говорит весьма художественно. Пожилая дама, выяснившаяся для меня постепенно, как ленинградская жена Тихонова, давала Довженке всякие фольклорные справки о ведьмах, бабах-ягах и «Трудах» с весьма ученым видом. И она, и Тихонов все время переходили на Ленинградские осадные темы. Тихонов – краснолицый, стальнозубый, помолодевший, упитанный, молодцеватый, с тремя орденскими ленточками – был со мной почему-то весьма приветлив, подливал вино, расспрашивал (конечно, не о Союзе) и пр. Глаза у него пустоватые. Он за чаем читал стихи Мадераса о Петефи[77] – военно-мальчишеские – читал тем же голосом, какой я помню у него еще в 1919 г., когда он читал и «Балладу о синем пакете». Мы вместе ехали в метро – он объяснял мне, какие мерзавцы финны.

Серова – знаменитая красавица! Либо я, либо мир слепы, потому что я не заметила никакой красоты, даже никакой смазливости. Такие «дамы», с простонародными толстоватыми лицами, с крашеными волосами, пачками ездят в трамваях. Она только одета лучше трамвайных – и я, посмотрев на затейливые туфли и дорогое черное платье, задумалась – откуда у такой неинтересной особы такой наряд. Ан это и есть –

«Жди меня»… Симонов же оказался совершенно таким, каким я и ожидала его увидеть: хорошенький парикмахер, тенор, да еще слегка картавящий.

Я все смотрела на Шостаковича. Студент; моложав; чуть мешковат. Лицо очень неопределенное. Он сидел молча и даже как-то робко. Только в обрезе щек, если глядеть на него в профиль есть что-то волевое, да в сутулости – но это уж если очень выискивать. Выпив водки, он стал показывать фокусы с зажженной спичкой во рту… Ушел рано. Жена его мне понравилась – живое, веселое, доброе лицо.

Леля быстр опьянел, очень пожимал мне руку, был полон дружеских чувств и всем объяснял, что я замечательная.

На улице было мягко, снежно, прелестно.

23/I 45. …пролежала двое суток за чтением Бирюкова о Толстом. Множество мыслей рождает этот трогательный и мужественный путь. Я не могу быть христианкой. Я думаю, что ненавидеть Мишкевича[78] и уметь оберечь от него Зою и Митю, Шуру и С. Я. – это достоинство. Не всякого ближнего *надо* любить, тут долженствование не подходит, тут воля не при чем. Единственный веский довод против насилия, который меня всегда убеждает наповал, это вот какой: противление злу злом пробовалось много раз и всегда приводило к злу. Значит, как способ оно не годится. Но что же годится. Непротивление насилием? В это я не верю. Душу спасешь, но мир – нет. Толстой очень зло издевается над постоянно приводимым примером: «что вы сделаете, если при вас разбойники нападут на ребенка?» Он говорит, что этого никогда не бывает и что этот пример выдуман для оправдания насилия… Но нам ли не знать, что это бывает! И ему ли было не знать! Разбойники отняли детей у Хилкова. Толстой написал письмо их бабушке (для которой отняли) и потом царю. Детей не вернули и, как пишет Бирюков, они «погибли физически и нравственно». Быть может правильнее было бы *стрелять* в отнимающих? Если бы стреляли отец и мать – они оказались бы *слабее* жандармов – значит, ни к чему стрельба – если же создать организацию, которая будет *сильнее* – но где порука, что она, в свою очередь, не начнет отнимать детей?.. Но человек, стреляющий в жандарма, отнимающий у него дитя, мне привлекательнее, чем человек ожидающий молча или умоляющий… И отвратительна мне натяжка в любви. Толстой пишет бабушке Хилковой «с чувством доброжелательства и уважения». Да почему, собственно? Он сам признается, что ровно ничего о ней не знает; ему известно только, что она с помощью жандармов похитила детей – откуда же

доброжелательство и уважение?

Но сам Толстой, мужественный труженик мысли, как он велик и умилителен! Как надо целовать его руки!

Я совсем не умею думать, и у меня нет философской никакой подготовки. Но думаю я вот что. Оба решения очевидно неверны, как всё, что упрощает мир. Найти надо *поэтическое,* т. е. самое сложное решение изо всех возможных, самое *жизненное,* самое *антиабстрактное, анти* теоретическое. Толстой есть великое словечко одно: «стройте свою жизнь, как художественное произведение». Да, да, как роман нужно решать мир, а не как статью – и тогда, может быть, в нем найдут свое место и танк, и слово.

13/III 45. Всё больше думаю о том, что красота спасет мир. Когда-то эта фраза Достоевского поразила меня своей бессмыслицей. Я бы теперь заменила красоту – поэзией, т. е. сложностью. Простота – реакционна и мертва; жизненно только поэтическое, т. е. сложное.

10/IV 45. …*я* устроила себе 2 удовольствия: во-первых, вымылась, а во-вторых, повезла сценарий Тусе… Что-то она скажет?

Говорили о зле. Я сказала ей, что не вижу нового качества в зле нового времени. Все тираны всех времен и народов всегда делали столько зла, сколько могли; но они были технически слабы и могли не многое. Инквизиторы не лучше палачей Майданека, а только слабее их: что такое жалкий костер, по сравнению с печью крематория? Быть может, Николай I истребил бы раскольников, как фашисты евреев, но у него не было на это сил: автоматов, извести, экскаваторов, роющих рвы… У него не было газет и радио, долбящих в голову обывателя каждый день одно и то же. Что остановит, что прервет эту цепь зла? Толстой думал: простить убийц. Но я не верю. Простить палачей Майданека – простить предателей, которые в Белоруссии и Украине выдавали немцам евреев? Не уничтожать их? Этого нельзя, это гадко – хоть я и понимаю, что истребить их – не плодотворно, что из этого вырастет новое зло. Если бы можно было не убить, но убить словом, осудить, произнести приговор, назвать преступление – а потом пусть живет псом…

6/V. К 5 ч. поехала к Ираклию[79] в госпиталь.

В палате их двое – он и контуженный, который всё время спит. Больничная тишина, продезинфицированная грязь, вежливое равнодушие персонала, больничное время – всё

знакомое – мне показалось, что я не час, а месяц уже тут.

Чудо: у Ираклия, потолстевшего и постаревшего, по-прежнему веселые глаза. Я таких ни у кого давно не видала. Лесть его и приятна мне (см. Басни Крылова), и раздражает. О Лермонтове поговорили всласть[80]. Я рада: все письма, статьи, на которые он ссылался, мне известны. Мы понимали друг друга будто оба – старые лермонтоведы. Хочу, чтоб он прочел сценарий – а тот лежит у Ромма[81]. Интересные вещи рассказал мне Ираклий о Лафатере[82]: Лермонтов им очень был увлечен и внешность Печорина сделал по Лафатеру. Я спросила о последней дуэли: правительственное ли это убийство или нет? – Да, – сказал он, – но не из-за революционных стихов, а из-за Марии Николаевны[83] – и посоветовал перечесть одну строфу в «Сашке»… Сказал он еще, что Пушкин и Толстой всегда будут истинно любимы, потому что у них есть положительные герои, а Лермонтов и Гоголь – только признаваемы, потому что у них сплошное отрицание… Отговаривал вводить с Вернером декабристскую струю; без нее прозвучит сильнее. Самое хорошее было то, что о каком бы абзаце «Героя» мы не заговорили, он свободно знал его наизусть – я люблю, когда знают самый текст, а не домыслы; значит, любит. Он говорил, что биографию Пушкина сразу начали изучать умные и образованные люди – Анненков, Бартенев – а Лермонтову не повезло, его изучали сплошь дураки и пошляки. Таинственна роль в дуэли Столыпина. Мартынов был орудием Васильчикова и других. Он был сильно раздражен тем, что в Мери узнавали его сестру… «Единственную любовь» (к Лопухиной) Лермонтову приписали люди следующего поколения – потому что у Герцена, Чернышевского уже была в жизни единственная любовь. И на этот манер старались построить и биографию Лермонтова.

Нельзя понять, как этот развратный юнец мог написать «Я матерь Божия» – стихи, в которых он молится о возлюбленной, как мать о ребенке.

7/V. …утром прочла отчет об Освенциме и отравилась на весь день – нет, на жизнь.

Сколько сожженных Люшиных улыбок. Ямочек. Доброты.

И доброта может гореть, как полено.

Что делать с этими людьми? Убить? Пытать? Сжечь?

Но для этого надо построить новый Освенцим и создать палачей из ни в чем не повинных людей.

[Нижняя половина страницы оторвана. – *Е. Ч.*]…неповинные руки – *никто*. Без *никто* – кто не справился бы.

Но что сделать с кто?

И зачем нам жить и как нам жить.

«Ковать сердца поэзией» – да мало ли было поэзии.

12/V. До начала заседания Ромм рассказывал, что Райзман[84] рассказывает о Берлине. (Меня не позвал послушать! А мне так хотелось).

Он видел во дворе трупы детей и жены Геббельса. Тут же и сам Геббельс, но дети и жена опознаны поваром и камеристкой и многими другими, а Геббельс – не всеми. Они отравлены цианистым калием. Может ли быть, что Геббельс отравил детей и жену, чтобы убедить мир в своей смерти, а сам бежал? Вряд ли… Он видел труп Гитлера, который считают подложным. Очень похож и многие утверждают, что это он и есть, а другие говорят, что Гитлер перед взятием Берлина поседел, а этот черен. Кроме того, у этого синяк на носу и на лбу – не потому ли, что он не хотел отравляться, когда его принуждали?.. Райзман был при подписании капитуляции у Жукова. Жуков на этой церемонии заботился более всего о том, чтобы операторы успели всё снять. Для этого он делал большие паузы и продержал немца стоя минут пять, пока его не сняли; потом: «садитесь». Операторы били друг друга – Рима Кармен бил англичан и американцев штативом по голове – лягали генералов, заслоняющих свет, пересаживали подписывающих, как *удобнее* снимать.

18/V. С утра позвонила Райзману – и он просил меня явиться через час.

Сух, точен, отчетлив, пружинист – как прежде – с той дозой сердечности, какая обязательна в общении с человеком, приходящим по делу – но не более.

Минут 10 рассказывал о своей поездке.

«Берлин – Вы видели Брюллова “Последний день Помпеи”? Вот он таков.

22 тысячи орудий совершали артиллерийскую подготовку. Этого нельзя себе вообразить.

Немцы вымотаны, измучены, голодны. Они не глядят на своих, на чужих – они, выйдя из подвалов, жадно глотают воздух.

В городе множество детей.

Город меняется день ото дня. Население кочует. Толпы людей, с детскими колясочками, заваленными скарбом, перебираются из одного подвала в другой. Нельзя понять, куда они едут. Но едут всё время.

С нами немцы учтивы до приторности. Если, проезжая, спросишь кого-нибудь одного, как проехать – целая толпа

кидается объяснять.

Но и наглеют быстро. Мы занимали одну квартиру в особняке, а в соседнем жили хозяева. Убедившись, что мы ничего не станем грабить и портить, что мы подаем им руки, стучимся, прежде, чем войти и пр. – хозяйка стала врываться к нам каждую минуту, предупреждать, что это надо ставить туда, а то – сюда и требовать пищи.

Нет, симпатичных немцев я не видел. Может быть потому, что они еще слишком заморены.

Там было тепло. И как я удивлялся, когда видел, что из-под развалин уже тянутся к солнцу стебли и листики, и цветы».

1/VI. С утра я пошла в милицию – поставить штампы на вызов Марии Львовны[85].

С Фуркасовского эти вопросы переведены на Якиманку.

Жара; сотни людей толпятся в комнате, пытаясь проникнуть за таинственную дверь.

Никакого порядка. Инвалиды идут без очереди. Толпа женщин стоит на месте без движения – с 11 до 2.

Я все вглядываюсь в эти лица, вслушиваюсь в разговоры. Сердечный, смышленый, с юмором, хороший народ. Говорят они прелестно, умно, метко.

«На всякий чин – один сукин сын».

Суждения их о войне, о немцах, о больных мужьях – очень тонки, очень умны и благородны.

Но почему они не кричат, не воют, не бьют стекол, почему они покорно стоят дни – этого я понять не могу.

Они возмущаются тем, что им отказывают в их законных просьбах – но не тем, что нужно стоять – среди дня – в жаре и грязи. Если поговорить с ними, выяснится, что они, как девки в окошках, тоже убеждены, что без этого нельзя.

Я стояла с 11 до 4. У меня был с собой Чехов, но от злобы я читать не могла.

Наконец, девка-милиционер впустила меня и старушку.

Старушка плакала и рассказывала, что двух сыновей убили, и она просит разрешения ехать к дочери.

«Чин», не слушая, писал.

У старухи дрожали руки – и я заметила, что у меня тоже дрожат – хотя мое дело ведь беспроигрышное.

Ан нет! Чин написал: выдать пропуск, но пропуск выдадут после представления справки о том, что сданы карточки.

Порядок издевательств нигде не вывешен, так что этого предугадать было нельзя.

Завтра опять туда же!

1/VIII 45. …стук – вошел *полковник* Димус[86].

Он сел на диван и проговорил 4 часа. Он приехал утром, возбужден, у него еще мозговарение не сделалось, и пена бежит без удержу через край. Он начал повесть о вещичках, но это мне скучно, я его переключила.

Мины в Кенигсберге. Множество их – и самые разные. Инструменты чувствуют присутствие железа. Но есть деревянные. Собаки чуют тол. Но есть и со сбитым запахом. Видел маленькие красные игрушки – мины, очень изящные.

О Гитлере никто не думает, не говорит. Не актуально. 100 дней невозможны не только реально, но и психологически.

Русских боятся, но не так ненавидят, как англичан и американцев: в каждой семье кто-нибудь сгорел от бомбежки. Два года: днем – американцы, ночью – англичане. Города в развалинах.

Необычайные дороги для автомобилей, без перекрестков, без встреч.

После мира можно погибнуть: I – от мин; II от пули в спину (сравнительно мало); III от автомобильных катастроф. На шоферов не действует ничто.

Велосипеды – семьи на велосипедах – дети садятся на велосипед в 8 лет. Детские колясочки. Вся Германия на колесах.

Негритянская американская дивизия. Американцы – крупный народ, негры – гиганты. Негры полны симпатий к русским. Готовы поделиться всем – даже бензином.

– Сколько вы хотите чулок?

– Для пяти дам.

– Значит, пар 150?

Немецкие девушки стройны и уже охотно гуляют с русскими.

Американская армия очень дисциплинирована и хорошо одета. Американцы – торгаши: торгуют вещичками (американскими) прямо из танка.

6/VIII 45. Работа над Герценом чистая – или почти чистая – и чрезвычайно нужная. Я думаю, для живой части молодого поколения нету более насущно необходимой книги, чем «Былое и Думы». Это – лучший учебник по истории русской культуры и наиболее педагогическая книга изо всех существующих.

7/VIII 45. Перечла «С того берега», «Концы и начала». Поэтическое понимание политики роднит Герцена с Блоком. Для него это тоже – не логика, не умозаключение,

а сердцезаключение. Вот почему он сильнее и прозорливее всех политиков.

Но и он непрозорлив – в «началах».

25/VIII 45. Эмма Григорьевна[87] показала мне письмо от Над. Як. Мандельштам. Необыкновенно наглое, самонадеянное, развязное – так и пахнуло на меня Ташкентом. Э. Г. спрашивала ее – правда ли, что она собирается сдавать кандидатский экзамен?

«Я их не сдаю, а принимаю». Это она-то, знающая английский также как я – т. е. совсем плохо!

Нет, ей в Ташкенте жить и жить. Этот город великолепно приспособлен для очковтирательства.

26/X. Папа читал по радио свою новую сказку. И теперь радиоцентр ежедневно получает около 1000 писем, адресованных Бибигону. Одну охапку я видела. К. И. в них не упоминается; обращение непосредственно к Бибигону. Приветы его сестре; вопросы, почему он боится пчел. К одному письму приколот костюмчик для Бибигона, к другому шпага. В одном его поздравляют с 28-летием Октября.

20/XI 45. Работала много, с толком – но, боже! как я без конца путаюсь в листках своих, зажимках, тетрадках! Не любят меня вещи; не справляюсь я никогда ни с какой техникой, с большим скрипом одолеваю ее.

Перед уходом из библиотеки, уже когда голова кружилась от шестичасового напряжения глаз, – наткнулась на Ник. Ив. Харджиева[88].

Серый, распухший, в нарывах – и совершенно сумасшедший. Не знаю, стал ли он более сумасшедшим, чем был всегда, или просто я отвыкла – я не видала его с полгода. Налезая на меня животом, заглядывая мне в лицо, изгибаясь, чуть только я хоть на секунду отводила взгляд, не давая произнести ни слова – он залпом рассказал мне о смерти матери, о мерзавцах врачах, о больнице, о том, как его обокрали, о Сенявине…[89] Мы вместе ехали в метро. Когда ждали, я думала, что напирая, он столкнет меня на рельсы. Но боже мой, без жгучей жалости, я не могу о нем думать. Красивый был, веселый – а уж умный, страстно любящий литературу, настоящий исследователь. Живет в сырой комнатенке, которая вот уже третью зиму не топится; голодает, пухнет… Чувствителен, душевно хрупок, как все одаренные люди, а жизнь ходит по нему сапогами, бьет беспощадно. Его бы в тепло, в ванну, к умным и тонким людям.

19/XII. Единственная была отрада в эти дни: между Миклухой[90] и сном, когда невозможно после такого напряжения просто сразу уснуть, да и не может быть, чтобы весь день уходил на вытаращенную работу – брала Герцена, первый попавшийся том. Все понимал, обо всем думал; всё понимал сложно, грустно – а путь ясен и прям. Какое очарование ума, доброты – и как все это зря: всё расхитила Тучкова, дети.

Да, даже он не смог сделать из детей – русских, из Саши – революционера, из Ольги – умницу, из Лизы – работоспособное существо. О чем же мне мечтать, чему дивиться.

26/I 46. …вошли Ираклий, К. И., Люша, Зоря[91], и Ираклий начал показывать.

Показывал он часа 4. Под конец мне казалось, что я упаду в обморок: от смеха, от папиросного дыма…

Но показывал он превосходно. Еще лучше, чем раньше, еще тоньше. Шкловский, Селих[92], новый Пастернак. Это какое-то гениальное прозрение в самую сущность человека – его естества и даже его судьбы. Шкловского он осмыслил и *поднял*. Всю беспомощность Пастернака – беспомощность, незащищенность поэта – он показывает. (Как Пастернак принял Вертинского за Вышинского, просил у него квартиру, приспособлял для его слуха чтение «Антония и Клеопатры» и *сам* об этом рассказывает).

19/II. Шуринька – бледная, серая – и Тусенька в Детгизе по своим делам. Мешаем терпеливой Воробьевой. Вошел Заболоцкий. Тут я его разглядела. Он изменился мало. (А Митя ведь еще моложе его). Он был раньше чересчур румяный, гладкий – а сейчас в норме. Только с зубами кажется неладно. Кроме того, раньше его вход в редакцию всегда сопровождался медленными шутками (он и Олейников, он и Шварц) – а теперь он говорит тоже медленно, но не шутит. Очень думает прежде, чем ответить на вопрос, хочет говорить точно. На нас троих смотрел добрыми глазами, спросил о Зое. («Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было»[93]). Мне кажется, он нас действительно любит; и не за нас самих, а за себя – за тот свой период жизни.

– Когда-нибудь история литературы расскажет о той эпохе расцвета детской литературы, которой вы были участниками – сказал он нам.

– Не думаю, – ответила Шура, – ее все так плотно забыли.

К чаю он пришел вместе с верным Степановым[94] к нам – т. е.

к К. И. Мне так хотелось с ним поговорить в тишине…

5/III. *С* утра мне позвонил Леля. Он, оказывается, был в Ленинграде – потому так исчез. Он там пил на каком-то вечере у Вечесловой[95], где была и А. А. Интересны его впечатления.

– Очень полная дама, в стиле Екатерины II. Страшная кокетка, безудержная. Любит, видимо, лесть. От меня требовала, чтобы я сказал, что она ангел – в шутку, конечно, но очень настойчиво. – Нет, А. А., вы не ангел. – Кто вам сказал? – Это явствует из ваших стихов.

Не упускает случая, чтобы подкупить. Но стихи читала великие. У балетных девочек они записаны, они за ней ходят хвостом. Эстонское правительство прислало ей подарки: туфли, чулки. Много острит. Когда говорили о браке, она сказала:

– Устарелая форма… Я много раз была замужем, и дело всегда кончалось тем, что муж говорил мне: не трогай, пожалуйста, бумаги у меня на письменном столе…

В этом портрете я узнаю А. А., выпившую – и потому болтливую.

– Очень странное двойное чувство – говорит Леля – видишь перед собой будто памятник – и в то же время это живой человек, наш современник.

Затем Леля прочел мне, не знаю откуда взятые, два или три стихотворения Цветаевой – «Попытка ревности» и о родине. О, как это настойчиво и сильно – особенно второе. Стихи поражающие – я таких других у нее не знаю.

25/III. Потом к Любовь Эммануиловне[96], где меня ждали пироги, водка. Милый этот дом, мне все в нем мило – и стол, и полы, и стены столовой, и люди… К приехавшему Иосифу Эммануиловичу пришла навестить его гостья: М. К. Куприна[97]. Я когда-то в детстве много о ней слышала. Теперь это старуха с низким голосом и злым языком, властная и умная. Говорила о похоронах Демьяна Бедного:

– Братья писатели сменяются у гроба в почетном карауле. Стоит – одну ногу согнул, плечо повисло – ну как лошадь у забора – и смотрит по сторонам: видят ли его?.. И вдруг приходит генерал на смену. Выправка, плечи – загляденье! Стал ровно, каблук к каблуку – и стоит не шевелясь. Я не выдержала, спрашиваю: кто? – Игнатьев[98]. – Ну, молодец! Он наверное у гроба Александра III пажом стоял, ему в лоб смотрел – так теперь умеет и у Демьяна постоять…

14/IV. Т. Г.: «Я говорила с С. Я. о Вас, о стихах Ваших. Мне хочется понять – чего не хватает в них, чтобы выразить Вас вполне, чтобы они стали вполне вашими? С. Я. сказал так: в этих стихах два элемента основные хороши –

музыкальность

психология – т. е. ум и чувство, но нету третьего элемента:

умения перевоплощаться, т. е. актерского начала, необходимого в искусстве.

24/V 46. Читаю его [Герцена] опять и опять – и его отношения с Огаревой, с детьми, так волнуют меня, как свои – и я наново переживаю в слезах болезнь Таты, западность Саши, отторгнутость Ольги. «Все участвовали в экзекуции». Какой любящий, какой исстрадавшийся человек, какой близкий.

29/VI 46. Читаю Гольденвейзера о Толстом[99]. Ненависть моя к Софье Андреевне, к ее насилью, свежеет и крепнет. Все кругом пишут о ней не только с порицанием, но и с жалостью; Горький даже заступался; а я ее не жалею. Она страдала несравненно меньше, чем Толстой, чем Александра Львовна – даже меньше, чем милый «посторонний» Гольденвейзер. В каждом слове видна барыня, крепостница, хозяйка и самка – и, как венец всего, тюремщица. Все кругом (кроме балбесов сыновей) были тоньше и благороднее ее – и потому были заключенными, порабощенными. Что уж ее жалеть, отравительницу, гонительницу гения.

23/VII 46. Я же, под дождем, отправилась к С. Я., который (вероятно, под влиянием Тусиных похвал мне и моим работам) вдруг изъявил желание меня видеть.

И я была рада съездить «в сторону юности», посидеть в кресле, где когда-то сидел Митя.

Сначала – очень противные, грубые крики на Розалию Ивановну по поводу каких-то экземпляров.

У него – Валя [Берестов]. С. Я хочет, чтоб он ушел:

«Так вы непременно зайдите ко мне до отъезда». Валя, волей-неволей, вытуряется.

Толстый живот, спускающиеся штаны. Разговор по телефону скороговоркой: «Так позвоните утром. Пораньше. Рано позвоните», – и бряк трубку, чтоб скорей.

Рассказ о «Бибигоне» – спокойный, о Фраермане, о Паустовском, о болоте вокруг.

Он хочет критики беспощадной, беспристрастной – не понимая, что она немыслима, ибо слишком связана

с «открепили-прикрепили».

«Я всегда играю на повышение, а не на понижение».

«К. И. сам не понимает своей истинной величины, не верит ей».

Рассказал, как усердно ссорили его с Житковым, с Лебедевым.

Потом стал читать из книжки свои лирические стихи.

Два истинно-прекрасные: о непрочтенном значении и однокрылой сосне[100].

С какой нежностью я смотрела на его седину, которую впервые увидела так резко и ясно.

Читала ему свое.

Хвалил. А между тем, ведь я *не изменилась*. А сколько лет он меня бранил – за всё, кроме редакторской работы… Но теперь я дожила до похвалы.

Я сказала ему о своих сомнениях.

Он уже был добр, устал, расплавлен и склонен утешать.

«Видите ли – это ведь все вагоны, вагоны – и вдруг появляется паровоз, который везет всё. Неизвестно, когда это случается с поэтом…» Я поверил во всего Пастернака только после 905 года. Какое у него чувство истории – каждого десятилетия».

Заговорил о Чехове, очень восторженно. «Растет на наших глазах, увеличивается. Уже не сравнишь с Мопассаном» (Я это знала с 11 лет). Я ему напомнила, что он когда-то бранил Чехова и сердился на меня, когда я ставила его превыше Гоголя и Толстого.

– Я теперь по-другому и про другое говорю; а думал так же, как теперь. Тут нет противоречия… Можно сказать о Лермонтове: «гений, “Демон”, Байрон, “Герой нашего времени”, “Завещание”» и пр. и это будет один разговор. А можно и так: «Перевел почерк Пушкина в типографский шрифт, таскал готовые формулы…»

Доложили о следующем посетителе, и С. Я. начал усердно приглашать меня еще зайти, звонить и пр. Я встала.

12/ VIII 46. В 6 часов явился Зильберштейн. Я ему:

– Вы должны дать мне совет: куда послать стихи?

– Некуда. Совершенно не время.

И рассказал о разгроме «Звезды», о Зощенко, об Ахматовой[101].

Да, да, как я могла думать. Как не стыдно.

По поводу того, что стихи К. И., помещенные в «Звезде», *не* обруганы, Зильберштейн выразился так:

«Старик по трамвайному билету выиграл сто тысяч!»

5/X 46. Да, искусство педагогично, воспитательная сила его огромна. Но сила его не прикладная, а гораздо более глубокая и, главное, *широкая,* объемлющая. Оно не молоток, которым заколачивают гвозди; оно не специальной цели служит, а цели *роста* души. Большинство людей, даже ходящие в театры и на концерты, о силе его не догадывается. У этих людей между их умом, смышленостью и душой связи нет.

10/VII 47. Люша меня встретила криком:

– Мама! Дача Федина горит! и мы все пустились туда и орудовали там часа 3 или 4.

Огромный двухэтажный костер. Пожарные вызваны, но их нет. Вода далеко, да и пламя такое, что с ведрами не подойти. В саду огромная глазеющая крестьянская толпа. Дора Сергеевна[102] плачет и ломает руки. Константин Александрович просит охранять вещи. Деревенские рвут яблоки и ягоды, вырывают картошку (дети); парни и старухи глазеют на огонь и рассказывают друг другу, когда и кто первый увидал. Работают только интеллигентные женщины, дети и юноши; мужчины, кроме К. И. и администраторов – Нилин, Вишневский, кто-то еще – только смотрят. К. И. заливал деревья (пока не приехали пожарные, казалось, что огонь по деревьям перекинется к Пастернаку), носил воду, таскал тяжелые вещи – их надо было собрать в одну кучу, чтоб не раскрали. Я тоже таскала и стерегла. Люша без конца носила воду.

Когда, через 50 минут приехали пожарные, стало ясно, что огонь под их ливнями, дальше не пойдет – но дачу Федина спасти уже нельзя. Тем более, что истратив воду, они минут через 10 снова уехали за водой.

К концу явилась Инбер[103] – старуха в длинном модном платье до полу. Она села в кресло – в первый ряд – и сказала:

– Помните, как описан пожар у Горького?

Вот так, видимо, экскурсанткой, вела она себя и в Ленинграде.

Когда все было кончено, мы помогли перенести вещи на дачу Вишневского, который предложил Фединым верхний этаж.

У меня до сих пор болят руки.

Огонь был прекрасен; жарок, величествен, неистов. Но унизительна была беспомощность людей и мерзка – чувствуемая мною всегда – ненависть деревни к интеллигентам. Любить им писателей разумеется не за что – но глядеть как горит дом, заложив руки в карманы – все же мерзко.

24/VII 47. …все было опрокинуто, выжжено появлением Б. Л. [Пастернака]. О нем я могу сказать то, что он сказал о Маяковском: он весь, в явлении. Гениальность озаряет его с удивительной зримостью. В А. А. мы видим сначала красоту, потом ум, благородство внешней формы, юмор – гениальность видна в ее стихах, а не в ней. Но тут перед нами гений как он есть, весь выраженный, весь в явлении, в каждом слове, в шуме, который он производит, в открытости каждому и в этом обжигающем, странном, горячем лице.

30/VII 47. Сижу и дочитываю Эйхенбаума о Толстом[104], которого читаю все эти дни. Очень неприятная книга. Мы, потомки, уже понимаем, что каждая строка в «Войне и Мире» – гениальна. Современники, даже такие умные, как Тургенев, не понимали этого – в силу «позиции», «борьбы» и пр. Эйхенбаум хочет восстановить восприятия современников – для чего? Злоба того дня к счастью прошла; и следовало бы восстанавливать ради какого-нибудь *крупного* вывода, а не ради «любопытно отметить». Раздражают меня бесконечные кавычки, самодовольность предисловия, где он пишет о своих *открытиях,* и, главное, недобросовестность, непрямота мыслей и выводов, какое-то мелкое передергиванье.

Он цитирует разговор Левина со Свияжским, который, по мнению Левина, сообщает ряд сведений, выслушав которые хочется спросить: «ну и что?». Это убийственная цитата для самого Эйхенбаума.

14/XI 47. Какие бывают тяжелые дни, когда все старые раны сразу начинают болеть. Сегодня – чествование С. Я. в Союзе. Я уже давно знала, что день этот будет смутный и болезненный, но не знала, что до такой степени. Сколько теней он вызвал, какую муть поднял, какие незабытые беды… Началось с К. И. Я боялась, что у него не хватит сил, благородства и мужества вести себя *как должно*, т. е. будучи несправедливо затоптанным, лишенным возможности писать свои сказки[105], лишенный заслуженной всенародной славы – все-таки поздравить своего более счастливого товарища громко, бодро, с поднятой головой. Но он был вполне на высоте; выступал очень хорошо и сразу ушел… Это отпало. Я сидела рядом с Шурой, Тусей, Любовь Эммануиловной, Сусанной[106] – и знала, что в этом зале, набитом чужими людьми, у Шуры, у Туси и у меня память и прикосновение к тому, на что ушла и на чем сломалась наша жизнь одинаково сжимает сердца. Сусанна ничего не помнит и не знает (но, как чуткий человек, многое почувствовала;

а Любовь Эммануиловна ничего не понимает в происшедшем с нами). Да, да, С. Я. [следующий лист вырван. – *Е. Ч.*]…дельно говорили Твардовский и Тихонов, глупо и пышно – Антокольский. Позади нас сидел Рахтанов[107], живой свидетель *правды* и еще одно доказательство нашей старости: постаревший, облысевший. Всё, всё на этом вечере причиняло страдание. И то, что в антракте С. Я. подзывал нас, целовался с нами, говоря окружающим: «это лучшие мои друзья и соратники»; и то, что он посылал просить нас остаться на банкет, на который мы не остались – и то, что в своей ответной речи он не упомянул ни словом того, что он обязан был упомянуть 1) роли Чуковского 2) роли ленинградской редакции 3) роли Туси.

Да, он обязан был это сделать. Мне это не нужно. Это нужно ему, чтобы оказаться достойным себя самого. Но в С. Я. (я всегда это говорю Тусе, а она не верит), рядом с влюбленностью в искусство – есть *низменное, трусливое и жадное*, которое он не умеет одолеть. Фадеев сказал, что С. Я. – основоположник советской литературы для детей.

Это совершенная правда. Но как же Маршаку не заявить вслух, что он не мог бы создавать своих книг, если бы не были написаны «Крокодил», «Мойдодыр», «Муркина книга» – что Америка открыта была не им? Почему ему не захотелось сказать это вслух – именно теперь, когда К. И. затоптан – это его не умалило бы, наоборот… Почему ему не захотелось сказать, что редактором он был плечом к плечу с нами и без нас не создал бы целой Библиотеки книг… Ну, что ж, К. И. он не любит, к памяти о ленинградской редакции холоден – но ведь Тусю он любит и ценит, не может жить без нее – почему же ему не захотелось вслух произнести ее имя – имя двадцатилетней участницы *каждой* его работы? имя фактического соавтора его?

Ах, да разве я не знала всего этого раньше? разве я забыла те месяцы, которые показали его таким жалким [несколько слов вырезаны. – *Е. Ч.*]

Все это не ново, всего этого следовало ожидать и все это «невозможно перенести», как говорила Сусанна.

Белый, седой, старый, сломанный и неупоминаемый Алексей Иванович [Пантелеев].

Бойкий, развязный, потертый, болтливый Кассиль.

Пьяный Ваня [Халтурин], по случаю пьянства объясняющийся в любви.

Умное, хитрое, нечистое, мужичье лицо Фадеева.

Неискренняя прямота Тихонова.

Инфантильный Ильин[108].

Барто в новом туалете – закоренелый враг С. Я.,

расстилающаяся сейчас перед ним.

Наташа Кончаловская в новом туалете, подновленная курортом.

Лихой удачник Михалков.

Долго еще надо будет оправляться от этого вечера.

14/XII 47. …в мире наступило светопреставление[109].

Купить нельзя ничего нигде. У меня осталось 100 рублей «невложенных». На полке лежит последний хлеб, последнее масло… Когда, на что, где будем покупать следующее? Сусанна говорит, что Сберкассы закрыты; все телефонные будки на почте заняты – люди обсуждают, как быть с деньгами, и к телеграфным окошечкам очередь – вкладывают деньги в телеграммы….

Все ждут декрета, который должен объявить, сколько и у кого пропадет денег. – Если бы я могла понять, для чего это молчание, питающее слухи и панику.

23/XII 47. Но все время где-то под спудом я думаю и думаю о собственной прозе. У меня в ушах ее звук, на губах ее вкус. Когда я иду по улице, то даже слова ее бормочу.

И все-таки еще не знаю – про что.

Но верю: будет, будет.

Читаю «Кружилиху» Пановой и записную книжку Твардовского. Панова местами превосходна, но далеко не везде. Твардовский местами глубок, поэтичен – на сколько аршин он глубже Симонова – и именно поэтому в него вцепился бешеный пес Ермилов[110].

11/I 48. Из Библиотеки поехала к Леле. Он болен, у него нога болит – воспалены нервные узлы и вены. Он полон негодования по поводу того, что происходит с Шостаковичем. В его изображении это так. Какой-то композитор – Мурадели? – написал оперу. Шостакович похвалил и, считая, что для Мурадели и она хороша, оперу (помимо Шостаковича) поставили в Большом. На просмотре были члены Политбюро. Они нашли, что она формалистична. Вызвали Мурадели и других. Тогда Мурадели, бия себя в грудь, заявил, что опера формалистична, т. к. на него влиял Шостакович. Тогда вызвали Шостаковича и других музыкантов. Захаров – руководитель народного хора Пятницкого и потому говорящий от имени народа – заявил, что музыка Шостаковича дрянь, и 5-ая Симфония, и 6-ая, и 7-ая дрянь и ленинградские рабочие не желали слушать симфонию. Что Шостакович формалист и низкопоклонник перед Западом (в то время, как весь Запад лежит перед ним на брюхе). Леля рвет и мечет; Дмитрий

Дмитриевич по его словам ужасно потрясен, но совершенно беспомощен и бессловесен, ничего не может объяснить и пр. [¼ страницы и следующий лист отрезаны. – *Е. Ч.*].

5/III 48. Кон[111] попросила меня снять место о «Почемучке»[112]. Я отказалась. Оно для меня – не разбор еще одной книги, а принципиальный венец всей статьи: за искусство – против прикладной педагогики. Она этого не понимает или не хочет понимать. «Неужели вы, ради того, чтобы прозвучала вся статья, важная для нашего общего дела, не хотите поступиться одной страницей?» Нет, не хочу. Пусть не звучит. И хватит поступаться. От наших уступок «общее дело» – детская литература, проигрывает, а не выигрывает.

13/VI 48. МБ и КИ[113] посетили со светским визитом Заболоцкий и Степанов – неразлучники – которых так странно видеть вместе. Степанов многое сделал для Заболоцкого – но все же рядом с Заболоцким его ничтожность как-то особенно видна. Заболоцкий читал стихи. Некоторые – «Журавль», например, – поразительны. Печатать нельзя. Как удивятся наши потомки, увидев, какая литература была в наши дни рукописной: в ней нет и тени чего-нибудь антиправительственного – однако, напечатать нельзя – как будто это «Думы» или «Кинжал»[114].

Мы с К. И. пошли проводить их немного. Заболоцкий шел со мной и говорил много приятного, лестного: что только я могла охранить его поэму в «Новом Мире» от большой порчи – а в книжке она уже искалечена вдрызг; что после моего ухода из «Нового Мира» он там не бывает, что ему мерзок Кривицкий[115]. «Мучной червь отъевшийся».

Заболоцкий получил квартиру. Мудрый человек с тактом и броней. Я очень рада за него и его семью. Я зашла к ним на минуточку – просидела час – и за бутылкой вина мы вспомнили Леню Савельева[116], Майслера и многих, многих других.

21/VI 48. Всё даты и даты; личные и мировые; и мировые окрашены лично. 7 лет тому назад меня привезли на дачу, сюда же, после операции; я должна была поправиться и ехать в Детское, писать сценарий о Шмидте вместе с Мих. Як. [Розенбергом]; и лечиться – вместо этого война, бомбежки, яма в саду, страшный Чистополь, страшный Ташкент и смерти, смерти, смерти.

Я сегодня много бродила по лесу и сидела на траве, слушала, как широко шумел лес; он так же шумел, когда немцы уже были

под Смоленском и не верилось, глядя на залитые солнцем поля, белую церковь, стволы, что так близко война.

Это неправда, что война кончается; как и любовь, как горе и счастье, она остается в нас навсегда. И хотя сейчас никто не переходит границу, мы уже не верим солнцу, ветру и шуму сосен. И при солнечном свете, в присутствии ромашек и ласкового мудрого ветра всё бывает, любое убийство. Этого не знают только дети, а мы уже знаем.

19/XI 48. Малеевка. Утром ходила гулять с Лейтесом[117]. Осторожно расспрашивала его об иностранной литературе. Он рассказывал охотно. Все разлагается, все фрейдизм и патология; прогрессивная литература бедна и политически тоже далека от нас. Через какие-нибудь 10 лет они пойдут за нами – и тогда у них будет великая литература. Рассказал с гордостью, что на его статьи о Сартре – таки многие возражали, признавая при этом, что мысли Сартра он изложил правильно. А вот Заславский писал о Сартре очевидно не прочтя его – и Сартр поместил его статью у себя в журнале целиком под названием «Текст без комментариев»[118].

Ну, Заславского такими пустячками не проймешь.

Затем он рассказывал о Стейнбеке[119], который приезжал в Москву. Он демонстративно не интересовался литераторами и литературой. Хотел знать, как живет средний гражданин, каков быт, как в деревне пекут хлеб. Не захотел пойти в Кремль, поехал в колхоз. Много бродил по улицам, глядел в лица людей. Потом написал книгу о Советском Союзе.

– Мы переведем?

– Нет. Она все-таки злопыхательская.

20/XI 48. Малеевка. Сегодня тут показывали картину «Любимая девушка». Сценарий Нилина. Предел лживости, грубости, пошлости. Бытовая драма, ревность и пр. Но все действующие лица поставлены в такое ложное социальное и бытовое положение, что не веришь ни единому слову, ни единому жесту. Простая работница с наружностью барышни. Маскарад на заводе – вместо пьяных и полупьяных – учтивые молодые люди с манерами графов. Комсорг разумеется мудрый и самоотверженный сердцевед. Если «где жизнь – там и поэзия», то и обратный афоризм верен: где нет жизни, там нет и поэзии. И единственное живое лицо – Раневская, виртуозно играющая себя и свою повседневную деятельность в образе московской тетки – сплетницы.

25/XI 48. Малеевка. Читаю Долинина о Достоевском[120], о «Подростке». Какая я невежда. Я давно думала о необходимейшей теме: Герцен и Достоевский, непоставленной, а оказывается – у Долинина есть такая работа.

30/XI 48. Малеевка. Да, приехали еще люди. И среди них Булгакова. И ей я не рада. А т. к. я здесь пока – единственная женщина, и она моя соседка по столу и по комнатам, то мы полдня провели вместе. Скоро ее – такую элегантную, моложавую и воспитанную окружат мужчины, и я опять отстранюсь. Но сегодня пришлось мне повести ее гулять, потом на ванны.

Когда-то в Ташкенте я подошла к ней с открытой душой – как к другу Анны Андреены. Она была очень благородно-добра ко мне, когда я заболела тифом. (Я тогда еще не знала, что любезные отношения с окружающими, неискренние, но обязательные, входят в кодекс ее морали). Потом меня трогало, как бережет она рукописи покойного мужа – переписывает их, переплетает. Но потом светскость, массаж, завивка, модные туфли, бесконечная умелость жизненная, страшная практичность открылись мне – рядом с отсутствием собственных мыслей и умением заимствовать их. Я увидела, что в сущности и в мужчинах, и в женщинах она ценит только элегантность – постоянную складку на брюках или юбке – с элегантными она сходится как со *своими*; остальному человечеству покровительствует. И уменье, уменье жить! Бесконечное. Первый ее муж – какой-то важный сановник: он посылал ей деньги в Ташкент и сын получал паек, как его сын; [121] она получала пайки как вдова Булгакова; ее любовниками были Луговской и Фадеев.

И я знала, какой она приедет сюда: помолодевшей на 10 лет, модно и умно одетой, веселенькой, легонькой.

* * *

Глядя на Елену Сергеевну, я вспомнила, но не напомнила ей, как она, в одну из тяжких голодных Ташкентских зим, будучи управдомом, вошла ко мне и перерезала (с Хазиным) у меня свет за то, что я, якобы, жгу плитку сверх меры. Это было смерти подобно: не на чем же было стряпать, топлива не было, плиты у меня не было.

Она исполняла свой управдомский долг – за счет Люшиной каши.

Помнит ли она об этом?

Думает ли, что я забыла?

Нет, я помню: не зло помню, а знанье о человеке, помню экзамен, которого он не выдержал.

1/XII 48. Малеевка. Как я ни уклоняюсь – с Еленой Сергеевной и сегодня провела много времени. Она прекрасно передразнивает людей, очень зло подмечая их смешные черты – преимущественно внешние (как Марина[122]). По-актерски, сама сохраняя спокойную физиономию, морит со смеху меня и Бессонова.

20/XII 48. Малеевка. Неожиданное объяснение с Еленой Сергеевной. Она сейчас много бывает с Топорковыми (Топорков[123] удивительно умен и артистичен). Я зашла к ней. И вдруг она спросила:

– Л. К., Вы помните, как мы с Вами встретились однажды в Москве на улице и Вы необыкновенно сухо со мной говорили. Почему это было так?

Я объяснила ей. Я напомнила ей, как она лишила меня с Люшей света и пищи.

– Боже, какая сволочь! – сказала она. И обняла меня.

26/XII. Уехала Елена Сергеевна. Тяжело мне все-таки с ней – в атмосфере мастерского, талантливого, светского и низменного злословия.

16/V 49 г. Тема «Блок и Маяковский» одна из необходимейших и современнейших, первоочередных в нашей литературе. Их судьбы – чрезвычайно русские – очень похожи одна на другую. И тот, и другой умерли в ту минуту, когда их историческая миссия оказалась законченной. Ни на один день позже. Но их судьбы не только аналогичны. Если принято говорить: «Сталин – это Ленин сегодня», то Маяковский – это Блок следующего поколения. Выражено это не только судьбой, но и стихами. «Двенадцать» – *переход* русского стиха от *классической* формы «Соловьиного сада», скажем, к форме поэм Маяковского. Я не о хронологии говорю, а о существе дела. Нужды нет, что «Облако» раньше «Двенадцати». Русский классический стих «Двенадцатью» поставлен на обрыв – тот обрыв, которым жив был стих Маяковского.

Завещание, оставленное Блоком русской интеллигенции – огромно. Пока оно не учтено – двигаться дальше русская литература не может. Гибель Маяковского – результат того, что он *продолжал* героический путь Блока, не учтя смысла его смерти.

12/IX 49. Почему декабристы так дурно вели себя на следствии. Трудно заподозрить их в трусости. Я думаю, потому, что они говорили «со своими». Когда говоришь со своими, всегда надеешься на слово, на речь, на откровенность. Все можно объяснить.

Члены Общества Славян вели себя спокойно. Они знали, что попали к чужим, к врагам, и ничего не пытались объяснить: отпирались и лгали.

15/XI. Писатель может быть темный, необразованный: дар его от Бога, он дитя. Таковы Сусанна, Шорин[124]. Неграмотны, не знают, где точки и запятые, а музыку слышат. Но критик должен быть насквозь литератором, критики «от сохи» невозможны.

16/XI. Я люблю город за гул машин, блеск огней, за ресторан, горячую воду, за то, что в любую минуту может в любую точку приехать такси по телефонному вызову и окунуть тебя в безличный гул и блеск. Я люблю деревню за тишину, за то, что в любую минуту можно окунуться в свою глубину – самую глубокую – и никто не выволочет тебя оттуда. Деревья на страже, небеса на страже.

5/XII. И опять простые души упрекают меня в надменности. Меня – брошенную, растоптанную, перегоревшую, жалкую, готовую жизнь отдать за одно слово, ласковое, человечье. Это я-то надменна! «Я дрожу над каждой былинкою, Над каждым словом глупца»[125]. Слезы в горле все время – и это называется надменностью.

8/XII 49. [Шкловский о К. И.]: «Один из самых очаровательных людей. Талантлив необыкновенно. Критик даровитейший, в России таких не было. И посмотрите, что сделал? Он вредный. Вот, понимает и любит переводы. А что сделал? В «Принце и нищем» Марка Твена выкинул самое трагическое место и написал: «И так кони ехали дальше». Что он сделал с Толстым? Пытался пристегнуть его к кадетам, к «Речи». Самое дурное, что можно было сделать. Маяковского понимал и любил и *Маяковский ценил его* (!), а что он сделал? Упрекал Маяковского и Асеева в неряшестве. Был связан с Толстым, Блоком – о Горьком я не говорю, Горький среди них мелочь – и никому не удивлялся сам и других учил не удивляться. Что же это? Он вредный, либо он бес, либо нет сердца».

Это ответ В. Б. [Шкловского] мне о К. И. В. Б. приехал сюда и оказалось, что у него здесь, кроме меня нет знакомых. Он стал говорить со мной, т. е. точнее мне. Несколько раз очень дружески упомянул К. И. Я сказала:

– Да ведь вы его не любите и какое страшное письмо ему написали[126].

– Неправда, я его люблю. Он талантлив – гораздо талантливее трудолюбивого Маршака – он по-настоящему понимает, что такое слово… А письма я всегда пишу такие, что если человек от письма не заболел, то это редкость.

И стал рассказывать, какое письмо написал Катаеву, а потом сказал то, что приведено выше.

9/XII. Взял у меня читать статью о Герцене. Прочел.

– Интересно. Интересные цитаты. У вас хороший вкус: по шву порете, не возле. Но – одной отгадки нет. Десять есть, а одной нет.

– Статья написана с формалистских позиций. Не спорьте. Это я вам говорю как специалист.

10/XII. – Неправда, я очень люблю К. И. Сколько в нем веса? 78 кг.? Так вот это 78 кг. чистой литературы, без всяких примесей. А это очень много.

* * *

Когда смотришь на Пеньковского[127], думаешь: – Ему 56, а выглядит он всего на 40. Когда смотришь на Шкловского, о возрасте не думаешь. Это Шкловский. И всё.

13/XII. Шкловский:
– У Пушкина, когда он умирал, уже не было друзей.
Наверное это так. Не знаю почему, но так.

7/I 50. Чехов был самым европейским из русских писателей. Он страстно любил благообразие, опрятность быта. В кабинете Толстого он не мог бы написать ни строчки: гвоздь, вбитый в стену, книги кое-как. Он возделывал землю вокруг себя, обдумывал каждую мелочь в доме, любил комфорт, изящество. Думаю, в неинтеллигентную женщину, в крестьянку, он влюбиться не мог бы. Он писал брату о воспитанности, порядочности. Он говорил: в человеке все должно быть красиво: одежда, тело, мысли[128]. Толстой никогда не сказал бы так – ему лишь бы душа… Толстой видел красоту в крестьянской жизни; Чехов увидел в ней одно безобразие, сонливость, беззубость, сживание со света. Поразительна в нем неподкупность мысли. Как он любил Толстого – и как понял всю уродливость статьи об Искусстве.

4/III 50. Перечитывала «Без связи» Герцена. Это жанр, к которому он всегда стремился – и тут он силач – сюжета нет, а связь – в лирическом единстве. Связи действительно нет – вместо нее нечто более прочное: он сам, единство внутреннего мира. Тот «единый звуковой напор», о котором писал Блок.

22/IV. Несколько времени тому назад, навещая беднягу Серафиму Густавовну[129], я прочла по ее просьбе рассказ Шкловского о писателях. Кое-что мне понравилось (более всего – Софья Андреевна с ключами и говорящая за Льва Николаевича – она прямо с лаврушинских самок), кое-что нет. И возмутила глава о Блоке и Маяковском. Я статьи и письма Блока знаю наизусть – и вот тут без кавычек, перемешанные, даны куски этой гениальной прозы. Я очень обругала рассказ Серафиме Густавовне, а потом и Шкловскому по телефону.

Сегодня вечером я зашла навестить Серафиму Густавовну после долгого перерыва: я болела. Застала ее в постели. Возле нее

сидела и шила на машинке непонятная мне, какая-то невнятная Ольга Густавовна Суок, жена Олеши[130]. Серафима Густавовна сказала, что Шкловский сильно переделал рассказ о Блоке. Но я забыла очки. Скоро явился Виктор Борисович. Возбужденный, весь какой-то подпрыгивающий. Сразу принялся читать мне о Блоке и Маяковском. Все написано заново, ни одной строки из прежнего текста. Конечно, это не то, что мне надо – литературе надо – трагедия «Блок и Маяковский». Но все же многое волнует, например бедный Стенич. А город он видит акмеистически – Олешински – не по Блоку[131].

Все это я высказала и получила высочайшую благодарность.

«Она – умное животное, правда, Сима», – сказал обо мне Виктор Борисович.

Нет, нет, это еще не то. Но хоть поставлена важнейшая тема.

1/V. Искусство тогда действует на миллионы людей, когда создатель говорил как бы шепотом, как бы самому себе или своему alter ego. Произведение нарочно обращенное к миллионам – не так властно или безвластно совсем.

Наука тогда совершает плодотворные открытия, когда ученый занимается решением вопроса бескорыстно, желая удовлетворить *собственную* потребность *ума и духа*. Когда же он прямо ставит ее на пользу практики, оно оказывается неплодоносным, непрактичным.

Странный закон – но закон.

7/V 50. Работа не клеится, хозяйство не клеится – читаю, читаю, читаю Герцена, том за томом. Могу прочесть с 1 по 22 [том] (исключая роман и повесть) и снова начать сначала. Интеллигентные русские люди – это те, кто знает и понимает Герцена. Не зная его жития и мыслей, нельзя понять ни нашей истории, ни нашего будущего. Это – материк, на котором может выстроить свое жилище душа. Политическая мысль и философия Герцена – единственные, – дозволенные поэту. Он где-то сходится с Блоком; он всегда верно вторил реву мирового оркестра; он рыдал и требовал, он не фальшивил. Политические ошибки бывали у него (письма Александру II); жизненные – тоже (связь с Огаревой; обращение к мировой демократии по поводу Гервега), но ошибки против музыки – ни одной. Если бы он был *только* политик, он не выступил бы в защиту восставших поляков. Музыка спасла его, артистический вкус заставил отвернуться от Муравьева, Каткова и пр.: от них пахло не только кровью, но и пошлостью.

18/V 50. И в моей жизни еще бывают события. Сегодня внизу злая лифтерша сунула мне в руки письмо – а руки заняты кульками – да еще доплатное: клади кульки, ищи в кармане рубль.

Вошла, села – письмо адресовано К. И. с припиской мне – открываю конверт: почерк Коли Давиденкова[132].

Значит, он жив.

Его прекрасные письма из армии пропали в Ленинграде, а наброски книги – целы, лежат у меня в бюро.

Когда он ушел в Армию – я написала (хотя тогда еще не началась война):

Опять уходит за порог
Мое дитя, мое живое счастье
В открытый мир, в зловещий топот ног
Под пули в голод и ненастье.

Мне сказали, что он убит в самом начале войны: товарищ видел, как он упал, сраженный пулей. Упал с орудия.

И вот он жив. Его почерк, его стихи, его добрые слова.

Я помню, как кончалось последнее письмо, полученное мною от него в 41 г.:

«Я счастлив, что Вы и Люша еще в тепле»[133].

10/VI 50. Вчера была у Серафимы Густавовны, опять видела Виктора Борисовича, с которым мне всегда трудно. Он добр, впечатлителен, талантлив, переменчив, сентиментален, *мелок.* Он мне чужой. «Предатель по натуре», как говорит Л., который утверждает, что любит его, хотя он – Фаддей[134]. Не знаю, Фаддей ли, но сейчас он жалок – тревожной готовностью каяться и невозможностью быть в этом занятии вполне искренним. Он зверь совсем другой породы чем Симонов, и, отправляясь к нему на поклон, боится его, завидует ему, презирает его, презирает себя… А от Симонова зависит книга, а от книги деньги – т. е. возможность откупиться от семьи, лечить Серафиму Густавовну. Это – унизительно – и ему хочется облечь свое унижение в какие-нибудь высокие и искренние слова, как-то связанные с Маяковским – который нисколько на Симонова не похож. И улыбка жалка, остроты не смешны.

Старый человек, открыто не уважающий себя, – от этого хочется плакать.

Виктор Борисович ушел к Симонову, выслушивать его указания (!), а к Серафиме Густавовне пришли Ольга Густавовна и Юрий Карлович [Олеша]. Я поскорее удрала. Прибило меня

к каким-то чужим берегам. Юрий Карлович может быть и интересен – но к чему мне еще одна непочтенная старость?

10/X 50. Толстой – Герцен – Достоевский без решения этой темы в русской литературе работать нельзя.

«Пора понять» – гениальнейшая из проповеднических статей Толстого – вся построена на мысли и образе Герцена о Чингис Хане.

Нет, Герцен не пришел бы к непротивлению злу насилием. Но он пришел к нелюбви к крови, к мысли «поле сражения само по себе мерзость».

«Бесы» – «Молодая эмиграция» – тут связи ясны.

Интересно: Достоевский и Герцен, делаясь публицистами, оставались художниками. Толстой во многих своих статьях обращается только к рацио, только к 2 х 2 = 4. Почему бы это? Как Наташа, отказавшаяся от самого сильного своего очарования – музыки.

16/X 50. Вся проповедь Толстого – это предчувствие надвигающегося фашизма и ужас перед ним, перед такою возможностью.

29/X 50. Еще и еще и еще раз читаю статьи, рецензии, деловые записки Блока. Что это за высокий образец общественного писательского труда. На тот период, что он принял революцию, он самоотверженно и гигантски работал, исполняя ее поручения. Какие здравые, мудрые мысли о театре, о классической и о романтической драме. Но вот что заняло и пленило меня более всего: «идя в народ» он остался самим собой, поэтом Александром Блоком. Он не унизил адресата упрощением, приспособлением своих мыслей. Вот почему его «просветительский» и «организационный» дар оказался таким плодотворным.

7/XII 50. Поэт – человек, гонимый ритмом. Сын гармонии. Но и прозаик тоже. Если в прозе нету тайного ритма, тайных концов и начал настроений и разрешений – она ничто. Я привыкла жить среди людей, которые этот ритм слышат. И каждый раз так страшно удивительно столкнуться с людьми, которые не подозревают о нем. Таковы в большинстве случаев редакторы – и вот главная причина моих постоянных с ними столкновений.

10/II 51. Снова как-то на днях была у Н. П. [Анциферова].

Он прочел мне свою статью о Герцене. Я слушала и стыдилась: почему это не я написала, даже для себя не написала, хотя всегда знала это и именно *это* тянуло меня к нему… Статья Николая Павловича написана «никак» – вяло, невыразительно. А мысль такая, что объясняет главную засасывающую силу герценовских писаний и его судьбы.

Он хотел сделать свою жизнь – не сделать нечто в своей жизни – а сделать ее. Потому у него такое особенное отношение к запискам, письмам, дневникам, датам своей биографии: это пограничные столбы его жизни. И мне до такой степени родственно близко это отношение к своему прошлому, эта жизнь памятью, что, кажется, ни один писатель не пронзает меня так, как Герцен. «Дорогие места то же, что лобные места». «Она не здесь, она во мне»[135].

Я давно знала, что надо, надо пойти к Николаю Павловичу. Да ведь не успеваешь делать то, что надо.

13/VII 51. Бываю у Серафимы Густавовны, которая дважды отравлялась, пока я была в [слово вырезано – *Е. Ч.*]. Ее еле спасли. Когда ее удалось привести в чувство, она стала так страшно биться головой о стену и кричать, что на нее накинули сетку.

Теперь – воспаление легких и почечных лоханок. И те же старые, привычные муки, та же тюрьма его неполной любви. Тюрьма, в которой она и заключенный, и тюремщик одновременно.

Очнувшись, она ужаснулась жизни, в которую ее вернули. Я помню свои пробуждения в 37–41 году. «Опять! О, я опять здесь!»

Да, она опять здесь. Вчера я была у них. Жара. t° 38,2. Она сидит на кровати и плача, всхлипывая, утираясь простыней, выкрикивает обвинения Виктору Борисовичу. «Он мне сказал, что я ему мешаю работать! Что ему со мной скучно! Что меня надо посадить в сумасшедший дом!» Виктор Борисович, у которого дрожит голос и руки, лепечет что-то о том, что он любит дочку, а Серафима Густавовна не пускает его к ней.

– Неправда!

что она сердится потому, что он дал деньги Василисе Георгиевне, [1-я жена – дописано позже. – *Е. Ч.*]

– Неправда!

Я укладываю Серафиму Густавовну и увожу Виктора Борисовича в комнату соседей, которые, к счастью, на даче.

Иду к ней. Она лежит, плачет и уже не кричит. Приходит сестра с пенициллином. Я иду к Виктору Борисовичу. Он лежит

на кровати и плачет.

– Она мне не позволяет никуда выходить – боится, что я уйду на Лаврушинский. А ведь денег нет, я должен достать деньги для нее же. Она меня ко всем ревнует, даже к Вам. Мне врач сказал в больнице: она сейчас выиграла сражение и теперь будет наступать на вас и вас убьет. А я писатель. Я должен работать. Я должен доставать деньги. Она бранит Василису Георгиевну – «красавица»? За что она бранит старуху? Это не ее дело! Она меня попрекает романом с женщиной, в которую я был влюблен 10 лет назад!..

– Она больна, – сказала я. – Она отравлена. Она едва не умерла.

– Я тоже хочу умереть. Но раньше я должен достать денег – для нее же. Умереть! Я бы давно с удовольствием умер.

Вот так.

Жестока судьба, оставляющая человека один на один с любовью. Серафима Густавовна погибнет, ее нельзя спасти. «Горе тому, кто строит дом свой не в своей груди и не в общечеловеческой» (Герцен). Да, горе. У нее нету труда, друзей, книг. Он, его любовь, ее любовь – для нее всё. А разве можно перенести любовь? Перед этой кровавой мясорубкой и война, и тюрьма пустяки.

3/VIII 51. Целый день Оксман. Как всегда впечатление сложное. Умен, блистателен, талантлив – но в глаза не заглянешь. Я его боюсь. Со мной – верх любезности, но за то время, что он был, он успел сообщить мне:

1) насмешливый отзыв С. А.[136] о моей книге [Рейсер высмеял мою книгу о «Декабристах» – Дописано позже. – *Е. Ч.*]

2) сообщение оплеванной мной идиотки М. П. Рощиной [газель], о том, будто в Малеевке никто не хотел сидеть со мной за одним столом. (Так пишется история!)

3) сплетни о том, будто Люшенька выходит замуж.

4) возмущение сотрудников «Лит. Наследства» по поводу того, что я там много получаю (!) и что Макашин и Зильберштейн кричат на всех, но не на меня (сообщил тут же, что он сам проредактировал 100 л. «Лит. Наследства» и не взял ни гроша).

Расспрашивает он жадно и так, будто хочет сделать своих знакомых действующими лицами беллетристического и не очень снисходительного произведения.

Знает очень много о людях неизвестно откуда. И всё – страшное. Говорит много, но умеет и промолчать.

Играет простодушие и откровенность – очень похоже – но нет: игра.

Думаю, что может пить, не пьянея.

Он спросил меня о Шкловском, я вспомнила, что и Виктор Борисович интересовался им – и повела его к Серафиме Густавовне, терзаясь, что надо работать, работать, я запуталась в Бог [данович?] и Ивиче (Последнее безнадежно).

Пришли. Там лучше. Серафима Густавовна поправляется, мир, и книгу Виктора Борисовича о прозе похвалил Виноградов[137]. Виктор Борисович явился – обнял Оксмана. И сразу они заговорили – сразу Виктор Борисович счастливым похваленным голосом, Оксман – имитируя открытость; сразу о литературе, и мы с Серафимой Густавовной переглянулись – «понимаешь? здорово, правда? неслось из угла – будто два мальчика о рогатках.

Так погиб день, который должен был быть самым рабочим, вывести меня из прорыва.

5/V 52. Разговор с Черняком[138] о моей герценовской статье. Всяческие восторги, потом:

– Вы неверно написали о слове и деле. Герцен боролся не только словом, он от слова перешел к делу.

Выясняется, что он из Лондона что-то организовывал, создавал общество. Если даже выяснится и вдесятеро больше – все равно: плач или VII лет, Тихон или ответ Каткову, Письма к…, Письма из… и «Былое и Думы» – это его борьба, которую он ведет в веках, а не что-либо другое.

14/VI 52. Сегодня вечером на дне рождения у Серафимы Густавны. Был К. И., но ушел. Пришли Ваня, Ивич и невиданные мною Дорофеевы, которых Виктор Борисович хочет любить, потому что Дорофеев – его редактор.

Виктор Борисович и Серафима Густавовна в пьянстве, как дома, они сразу мирятся, очень любят друг друга. Виктор Борисович все время предлагает тосты за любовь и за Серафиму Густавовну и целует ей руки и губы, а когда она отходит говорит мне:

– Если бы она знала, как я ее люблю. В 50 лет иметь такую любовь 60-летнего человека и не знать этого!

– Выпьем за баб, за наше вдохновение и совесть!

– Выпьем за искусство, за любовь, за коммунизм!

– Выпьем за Ваню! Он настоящий человек, время для него, он его участник!

– А я, Л. К., погибаю от того, что у меня есть гениальность, но нет талантливости. И гениальность остается нереализованной.

Потом Шкловский лег на постель и мгновенно уснул.

Дорофеев пришел уже пьяный и один выпил ½ бутылки водки, для него купленной. Опьянев он стал стараться говорить мне неприятности.

– А я читал Вашу статью о Герцене. Очень вредная статья. Я тогда же подумал, что мы враги.

– Где же Вы ее читали?

– В Детгизе.

Объяснить свою точку зрения он не мог, но ему хотелось продолжать меня уязвлять. Он пошел по очень дешевой линии.

– Здесь был Корней?

– Да.

– Вот это да. Вот Корней это да.

20/VI 52. Утром, когда я задыхалась у себя в норе, позвонила Серафима Густавовна и предложила ехать с ними в Абрамцево. Я знала, что мне этого нельзя, сидеть у себя, пожалуй еще нельзее – и я согласилась. Но к назначенной минуте опоздала.

Виктор Борисович встретил меня, серый от злости и похожий на Маршака:

– Это невежливо… Заставлять нас стоять на жаре… Я Вам не кавалер, я в возрасте Вашего отца. Я сломал весь день из-за Вас.

– То, что Вы говорите, тоже невежливо, – ответила я кротко.

Скоро мы уселись в поезд, поезд двинулся, Виктор Борисович оттаял и начал сам над собой трунить.

Мы ехали часа полтора.

Там – еловый лес, дубы, березы – а мне все равно – и единственное место, где у меня сжалось сердце был деревянный мостик, похожий на малеевский.

Полгода! Только полгода прошло.

Старый Виктор Борисович и Серафима Густавовна бодро шли с горки под горку, а я плелась, задыхаясь, еле дождавшись привала.

К дому по двум лестницам. Когда больше всего на свете хотелось лечь после лестниц – тогда надо было улыбаться директору и ходить по Музею.

Музей закрыт. Но для Шкловского его открыли. Нас водили: сам директор и некто Пузин[139] и еще дама – кажется, весь состав.

Виктор Борисович начал с того, что сообщил им свои новые домыслы о Пушкине и Аксакове – после каждого абзаца ставя точку заискивающей и в то же время победоносной улыбкой. Первая комната, которую нам показали – комната Гоголя.

Красноватое сукно бюро, зеленоватые сидения кресел,

чудесные пространства между удивительно милой аксаковской мебелью.

Вид из окна. Сюда смотрел Гоголь.

Потом мы спустились в кабинет Аксакова. То же очарование диванов, шкатулок, бюро.

«Не людское стойло, а жилье»[140], как писал Герцен.

Дальше пошли мамонтовские пристройки, которые я уже плохо видела: так болели ноги.

Репин, Васнецов, Поленов, Серов.

Вышли на воздух. Тогда оказалось, что надо осматривать парк.

Нет, старики пошли, а я повалилась на скамью.

Сидела без смысла час.

Потом поняла, что только самый домик тут мил. Нету усадебной тишины. Где-то хлопает мяч. Девушки пьют воду с грубым смехом – это уже не Аксаков, не Мамонтов[141]. Цветник жалкий.

Ко мне подсел Пузин. Он знает Лизу[142], работал в Ясной. Внучатый племянник Фета. Грассируя он рассказал мне, что их только четверо, что по воскресеньям в Музее бывает более 1000 чел., среди них – пьяные, что приходится самим охранять сад, который ломают и топчут, что дом возле – дача, которую выстроил себе (ненадолго!) Берия в 1937 г., а почта – времен войны; что Аксаковский Домик был использован под пленных и оттуда вывезли возы нечистот, а вещи все пришлось реставрировать; что спас дом и организовал Музей – С. И. Вавилов, привезший сюда Молотова.

Он извинился «хозяйственными делами» и ушел. Скоро вернулся с полубуханкой хлеба на вытянутых пальцах. Это мне напомнило карточки

Вернулись Виктор Борисович и Серафима Густавовна, снова подошел приветливый и изможденный директор; я стала его гнать на отдых.

Виктор Борисович и Серафима Густавовна жаловались на усталь, но выглядели бодро и молодо.

Подошла удивительная собака – скотч: огромная голова, сидящая на низком туловище свиньи. Уморительная.

Мы пошли к станции.

Сердце болело люто, ноги тоже, я кляла себя.

Сели по команде Виктора Борисовича в обратную сторону. Я его не корила.

Пересаживались.

Я добралась до дому в полуобмороке.

24/VIII 52. Была у Шкловского. Серафима Густавовна помолодела и рассказывает о приеме, оказанном Шкловскому в Вильнюсе с таким же упоением, с каким Вера Васильевна[143] рассказывает о своей поездке в Еревань.

Шкловский, не обращая на меня никакого внимания, лежал уже по своему обыкновению и говорил по телефону – там отругиваясь от редакторов, там – требуя денег, там – хлопоча об Олешинской комнате… Оба они энергичные, практические, напористые – они горы могут своротить.

Потом пришел Буров[144] с очередной женой, очень свежей молодой женщиной. Они были в Паланге вместе со Шкловскими. И пошли воспоминания: дизель, самолет, ресторан, четки, собор Петра и Павла, соседи, Неман, фотографии, пляж и пр.

Я с удовольствием, без горечи и зависти смотрела на этих людей, зная, что у каждого из них своя очень тяжелая жизнь, а Паланга для них – моя Малеевка.

29/VIII 52. …пошла в гости к Шкловскому по настоятельному телефонному требованию Виктора Борисовича и Серафимы Густавовны.

Там был Рахтанов. Серафима Густавовна кончала сверять цитаты; Виктор Борисович лежал по своему обыкновению и то засыпал, то просыпался. Потом проснулся, выпил с нами чаю и лег опять.

Разговор за чаем был веселый и мирный. Говорили о докладе Фадеева, говорили о Панферове, что он

от пуль заговорен.

Говорили о книге Рахтанова, которую Детгиз требует переделать. «В крайнем случае я чего-нибудь надиктую», – величественно говорил Виктор Борисович.

И вдруг, совершенно без всякой связи с предыдущим, без всякого повода Виктор Борисович заговорил, лежа, о Тамаре Григорьевне. И в самом оскорбительном тоне.

– Для меня эта дама гораздо хуже Панферова. Статьи ее плохи. Пьесы тоже. Она никакой не литератор. Ленинградская тенишевка, ленинградский хороший вкус. Ничего в литературе не понимает.

Я сначала была терпелива. Я ему сказала, что он работу Тамары Григорьевны не знает, что у нее в шкафу лежит целый том сказок, сделанный необычайно смело и талантливо, что это человек мужественный, крупной судьбы, крупного понимания чести, щедрый и богатый.

Но он продолжал ее поносить.

Я сказала, что Тамара Григорьевна мне друг, и я прошу при мне не говорить о ней неуважительно. А то я брошу в него чем-нибудь тяжелым.

Он продолжал.

Я бросила в него крышкой от сахарницы.

Он продолжал.

Я отвечала уже не помню как, но еще довольно сдержанно и убедительно. Я сказала, что он не имеет право судить о Тамаре Григорьевне, т. к. не знает ее.

Тут Серафима Густавовна сказала, что, по-видимому, Виктор Борисович судит по рукописи Георгиевской, которая ему не понравилась и которую редактировала Габбе.

Тут Виктор Борисович оживился и начал поносить Сусанну.

Тут я взбесилась и сказала, что его рецензия на Сусаннину книгу показывает, что у него никакого непосредственного понимания искусства нет и что рецензия его постыдная.

Тогда он поднялся на постели с криком:

– Вы говорите пошлости! Не смейте у меня в доме защищать эту пошлячку! Не смейте сюда приходить говорить пошлости о Георгиевской!

Я сказала, что о Георгиевской с ним никогда и не заговаривала из снисхождения к нему, что он сам о ней несколько раз заговаривал, а я всегда уклонялась.

Серафима Густавовна и Рахтанов кинулись к нему увещевать его.

Я ушла. И больше я туда не приду. Всю дорогу я плакала – не от горя, конечно, мне этот человек никто, а из-за нервного потрясения. Я шла пешком и знала, что Шкловский, под влиянием Серафимы Густавовны уже звонит мне.

Чуть я вошла в квартиру, раздался телефонный звонок.

– Лида, это Вы?

Я повесила трубку. Я не хочу больше ни слышать его, ни видеть – даже для Серафимы Густавовны. Пора избавляться от балласта.

Очень себя корю – за истерику, за слезы, после которых я чувствую себя как после тяжелой болезни.

Я не могла позволить этой проститутке в штанах позорить порядочную женщину.

31/VIII 52. По телефону опять позвонил Шкловский. Я не сразу узнала его голос и потому не повесила трубку – вынуждена была принять разговор. Он говорил спокойно, старательно, а я опять кричала. Хотя и видно, что он (и Серафима

Густавовна) очень сожалеют о случившемся – я больше к ним не пойду. Я сожалею тоже – с другим выводом. Мне там нечего делать, Виктора Борисовича я не люблю и не уважаю, на литературу гляжу иначе. Зачем нам мириться. Только нервы мне портить, а они и так висят клочками, я не справляюсь с голосом, с почерком.

16/IX 52. Да, об авторе «Слова», о Житкове.

У него в дневнике есть запись примерно такая: «и вот в заборе, в который я колотился головой, коленом, кулаками, вдруг открылась калитка в неожиданном месте и сказали: «ради Бога, войдите» и пр. Это – Чуковский его привел к Маршаку и Маршак выслушав его рассказ, обнял и поцеловал, «так искренно и горячо, что я не сконфузился».

Так, объятием, встретил его Маршак у ворот литературы.

А в 36 г. [на пленуме ЦК комсомола. – *Л. Ч.* 1980] через 12 лет, Житков использовал тот же образ, но навыворот:

«у дверей детской литературы стоит швейцар и не пущает».

Та же калитка! И тот, кто ему ее отворил, превратился в швейцара, который не пущает…

Вот, что бывает на свете с людьми.

28/XI 52. Малеевка. День несколько кривой, выбитый из колеи: после чая зашел Сельвинский и 2 часа рассказывал о своей новой трагедии. Об Иване Грозном, для кино. Я сказала, что этого героя не люблю. Он очень убедительно мне рассказал о несчастьях, постигших Ивана, о его государственной задаче. Да, это все так, но ведь много есть и других героев с не менее важными задачами и не меньшими несчастьями, и без Малюты.

Однако, задумана у него вся трагедия Иван – Курбский очень интересно.

6/XII 52. Малеевка. Перешла вчера на ночь в другую комнату. Вчера был день конституции – весь день в комнате у Твардовского, рядом со мной, шумели пьяные гости. Я пошла в 11, в 12 – шумят. Я к дежурной сестре. Она заявила, что угомонить их не может. Я взбесилась: Фриду выгнали, милую, тихую Фриду, жене Сельвинского не дали ночевать, жене Гребнева тоже – а гостю Твардовского можно. Меня отвели на другой конец коридора, в комнату 3. Я от злости долго не могла уснуть. Что за демонстративное хамство!

Утром с опозданием спустилась в столовую. Прохожу мимо Твардовского на свое место. Он встал.

– Лидия Корнеевна – сказал он и я, стоя против него вблизи,

впервые ясно увидела его глаза – очень светлые, почти белые – я перед Вами должен извиниться. Мы Вас, оказывается, обеспокоили.

Встал и другой какой-то, видно – гость. Но я на него не поглядела.

– Да – сказала я – я даже ушла в другую комнату, так громко Вы пели. Но не в этом дело. Меня оскорбило, что мою гостью выгнали, буквально, а Вашего гостя оставили ночевать. Директор проявляет гибкость – я понимаю – но Вы-то сами как можете это допускать?

– Я ничего не знал – сказал он – что кого-то не допустили. Я в первый раз слышу.

Я села. В столовой было тихо. Все слушали меня. А тут все загалдели – и Сельвинский о жене, и другие.

После завтрака Твардовский еще несколько раз подходил и просил прощения.

8/XII. За обедом Твардовский все заговаривал через мою голову с Зив[145]. Я отодвигалась, молчала. Сельвинский оживился.

– Пойдете после обеда гулять? – спросил Сельвинский.

– Да.

Но когда кончился обед и Сельвинский встал и пошел переодеваться – Твардовский сел на его стул.

– Что Вы на меня волком глядите – сказал он мне. – Неужели сердитесь?

– Нет – сказала я.

Тут он заговорил, какое К. И. прислал ему письмо после «Муравии» и пр. Потом вдруг:

– Вы знаете такую писательницу – Георгиевскую?

– Да.

– Хорошо пишет?

– Очень. Я любила I вариант ее книги – теперь не знаю.

– Это выговор мне?

– Пока еще нет.

– Я дал деньги и договор, потому что верю Т. Г. Габбе, я ее люблю. Она пустым не займется.

– Ну пойдемте ко мне, я стихи буду читать, хотите.

Мы пошли с Зив. Потом вошли за нами Корсаков (глупый, чиновничьего вида человек, который сидит за столом с Твардовским) и Подгорный – интеллигентный, очень вглядывающийся. В комнате почему-то холодно (у всех жара) – окурки.

Твардовский взял тетрадку.

Какой он? Жадный, быстрый, хочет быть простым и демократичным, но так презирает людей, что не может скрыть этого. Говорит комплименты и тут же дает тычка. Смех нехороший – всегда смеется так, словно над похабным.

Читал. Совсем по-новому – совсем стихи – и без той элементарности, которая раньше меня даже в лучших его вещах отталкивала. Нет, это уже в полную силу горечи.

Бросил на середине.

Заговорил о чем-то другом, т. е. что человек должен писать биографическое.

Я сказала Ольге:

– Помните? Я вам про это читала цитату?

– Ах уже читали про это? – зло сказал Твардовский – «Иду читать Монтеня», как говорила одна дама.

– Да, говорила, и сейчас принесу – сказала я.

Я пошла в свою комнату за тетрадкой. Я нашла тетрадку и побежала к Твардовскому.

А он опять:

– Я готов сквозь землю провалиться, что мы тогда с Игорем Сацем помешали Вам спать… Песни пели, дураки.

Я прочла цитату из статьи Блока об «исповедническом искусстве».

Кажется, Твардовскому понравилось.

Он схватил тетрадь и прочел цитаты из Толстого о том, что «надо работать» и что счастье приносит работа, когда она сделана до половины и хороша.

Потом сказал: – Еще почитаю вам.

И начал читать.

9/XII. Сегодня за стеной тихо: Твардовского Анне Наумовне[146] – не удалось уложить в постель. Она следила весь день, чтобы он никого не мог послать за вином. Приехал Казакевич – и остановился по другую сторону от меня – в комнате 12. Анна Наумовна говорит, что предупредила его: если он начнет пить с Твардовским – она их обоих выпишет.

Твардовский стоял перед ней на коленях, прося прощения за учиненные им в санатории безобразия.

Вчера вечером, совершенно пьяный, он заходил на минуту к Зив (у нее грипп, она скучно сидит у себя в комнате и ужасно много рассказывает). Разговор был знаменательный (передаю с ее слов). Он сказал, что женского писания не любит «это не бабье дело». Мол, женщины талантливы, но могут воплощать в литературе только свой маленький личный опыт – и более ничего. «Я бабник – но женоненавистник». Точная и странная

формула.

Но половина рода человеческого – женщины. И им интересен именно личный опыт, а не железобетон. И все творческое в мире, устраивающее, рождающее идет от женщин. И смелое. И если сейчас они отстают в искусстве – то это потому, что они вынуждены заниматься творчески бытом, детьми. Да и сейчас – Ахматова – гений, Уланова – гений, Коммиссаржевская – гений.

Нет, я женофилка. Я не видала мужчин (кроме Мити) такой доброты и чистоты и силы как Фрида или Шура или Лиля, такой тонкости, щедрости, богатства – как Туся.

И вот в этих пьяных, недобрых руках – судьба журнала, судьба Сусанны.

Вчера вечером, сильно пьяный, он подсел к нашему столу после ужина. Были я, Ардов, Сельвинский, Паустовский. У нас шла речь об Олеше, и Твардовский ввязался (он вчера все бродил и ввязывался – несчастный, пьяный – у мужчин просил: нет ли на донышке водки, у женщин занимал деньги: опохмелиться). Он сказал, что Олеша получил комнату: «Все в порядке, с отдельным ходом». Я обрадовалась (Мне Олеша гадок; теперь, когда он благополучен, я буду иметь право на ненависть). Твардовский говорил о нем очень недоброжелательно и покровительственно. «Надо было учитывать, когда его поправляли. Не захотел…» «Но я не против, я даже дал ему рецензию написать». Да, потом он сказал:

«Поздравляю вас, товарищи: с февраля вы будете читать новый роман Шолохова».

– Хороший? Вы его читали? – спросила я.

– Нет. Это по указанию свыше.

* * *

Ходила гулять – и одна (утром), и вместе с Сельвинским, Паустовским, Ардовым.

Ардов очень смешит за столом. Паустовский – премилый, преумный, пределикатный.

30/XII 52. Звонил Виктор Борисович. «Учтите, это Шкловский». – Учитываю. – «Приходите к нам встречать Новый Год». – Нет, спасибо. – С Вами хочет говорить Серафима Густавна.

Серафима Густавовна стала звать. Я сказала, что порога дома Виктора Борисовича не переступлю, что берегу свои нервы, да и слишком серьезных вещей он коснулся. Что ее я люблю по-

прежнему.

– Да что Вы, Л. К., это у Виктора Борисовича такой характер.

– И у меня такой – сказала я по-герценовски.

10/I 53. Я поссорилась с Наташей Роскиной[147]. Это давно назревало. Меня бесит ее отношение к работе. Она – поэт, она – литератор – и она – во власти рейсеровско-ланских представлений о литературе и всячески дает мне понять, что моя работа – борьба за слово – чушь, а вот Ланский[148] ходит в архив – это дело. Я на ходу забежала в «Лит. Наследство» сдать несколько рукописей и начала просить Наташу позаботиться, чтобы я могла увидеть, что сделают авторы, Макашин и пр. На каждую мою просьбу она отвечала тоном, который означал: «невозможно, да и незачем». Я послушала, послушала и ответила ей вежливо, но резко, что тогда вынуждена буду за всем следить сама. И отсела за другой стол – составлять очередной список – ненужный, потому что при ее упорстве я и по списку ничего не добьюсь.

Вечером вчера звонок. «Вы на меня сердитесь?» – «Да». – «Почему не звоните?» – Хочу, чтобы прошла боль от Вашего пинка. Также как тогда, когда вы мне вдруг написали в Малеевку, что я получаю слишком много денег» (!!!); «Наталья Давыдовна получает меньше, а работает больше».

Но Наталья Давыдовна малограмотная тупица, которая не может написать фразы по-русски и считает, что писать изящно – значит писать «не научно».

«Вы не уважаете труда своих товарищей», – сказала мне Наташа ханжески.

Я ни разу не была груба с Натальей Давыдовной и с Ланским; они со мной – были. Но я их действительно не уважаю. И какие они мне товарищи? Они – враги слова, рейсеровцы[149].

9/II 53. Вчера в секции очерка – обсуждение Фридиной книги. Давно я не была в Союзе – а сюда уже пошла, подготовившись. И придя увидела: как ее любят. Пришли все, кто болен, кому трудно придти: Туся, Ольга Зив, Бруштейн, не говоря уж об Аграновском, Сусанне, мне. И милый Николай Павлович, который книги не читал, пришел, чтобы «поддержать морально». Все влюблены в Фриду, в эти детские круглые глаза и курносость и сквозь это – твердость. «Не знала б жизнь, что значит обаянье, ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз»[150]. И в книге слышна она – в этом весь секрет. Сели за длинный зеленый стол, начали – и сразу стало ясно, что оборонять не от кого. Так, Шаров, Горелик обеспокоены соотношением с «Педагогической поэмой» – ну,

об этом поспорили.

11/II 53. Ну, денёк.

С утра, часов в 12, приехала Вера Степановна[151]. (В летнем пальто, а мороз), в меховом чужом воротнике. Голова кружится – болезнь Миньера – губы синие. Нину Ал-ну[152] надо отправлять в больницу – уже месяц у нее кровотечение, надо в железнодорожную, где хороший хирург, а туда никак не устроить. Вера Степановна, хоть и стоит на ногах еле, а сохраняет свой наполеоновский дух – была в министерстве, произнесла речь, теперь должны дать ответ.

Передохнув и оглядевшись она вручила мне письмо с изложением своих мыслей о моей книге, возникших при втором чтении[153].

В первый раз она читала «от себя», во второй «от читателя».

В письме изложено, что моя книга изображает Житкова пустым, вздорным, никчемным человеком и плохим писателем.

Письмо представляет собой пасквильный пересказ книги.

Пересказывать здесь письма я не буду – я сохраню его.

Оскорбительно в нем – и вредоносно – только одно: она, дескать, дала мне от всего сердца письма – хотя Нина ее и предостерегала – а я их дурно использовала, Нина была права.

Я потребовала, чтобы она немедленно очеркнула цитаты, которых она не желает. «Хотя Вы и неправы – берите обратно свой подарок, чтобы не жалеть», – сказала я.

Она очеркнула. Многие заменимы, многие наносят моей мысли непоправимый ущерб. Например о «Почемучке» он сам в Дневнике пишет: «надо скуку разбавлять сюжетом», – это для меня очень худо.

В ее замечаниях ясно видна тенденция, которой я не чувствовала в разговорах с ней: снять все, что есть *критика* Житкова. Зачем я пишу, что «Злое море» хуже «Морских Историй»? Зачем считаю «Почемучку» неудачным экспериментом? Зачем пишу, что заинька в «Шквале» слащав? Одним словом, она, оказывается, ждала оды. И вообще оказалось: она – сельская учительница, деятель просвещения, не имеющий никакого отношения к искусству. Она не хочет, чтобы в книге слышался подлинный голос Житкова.

Расставаясь со мной, она мне сказала: – Ну вот, Лидочка, я сделала для Вас все, что могла, теперь Вы должны мне помочь со сборником!

Да.

Я уже довольно много ей помогла со сборником: все ее авторы работают на моем материале, но этого она совершенно

не понимает.

28/VIII. …я поехала к Тусе. Плача в телефон, она сообщила мне вчера, что Евгении Самойловне хуже, что доктор подозревает второй инсульт.

Стук в дверь – вошел С. Я. Обрюзгший, грязный, с повисшим лицом. Ну, все как всегда: эгоцентризм до болезни, до неприличия; только о себе, только свое; чужого не слышит, хотя приехал, чтоб узнать о Тусе, о Евгении Самойловне – а если вдруг расслышит, то сейчас же начинает настаивать, чтобы было именно так, а не этак. Одним словом, все нелюбимое, с юности знакомое, родное.

Он довез меня в машине домой. Розалия Ивановна и чемоданы. Мы с ним долго шли к машине в темноте по грязи. Он охал и ахал насчет Софьи Михайловны, которая больна и в Кремлевке, бестактно подчеркивая, что он замучен хлопотами. В машине интересно говорил о Родари, правильно бранился, что из Сусанниного «Отрочества» уже сделана пьеса. Мило рассказывал о своем младшем внуке.

26/I 54. …мы говорили с Z. об А. А., потом перешли на философию. Опять он говорил о бессмертии, о Боге, о том, что люди едины, что надо всех любить и пр. Я возражала вяло; хотя требование любить всех меня оскорбляет. Тут в слово любовь вкладывается какой-то пустой смысл. Думаю, что нельзя и не надо любить всех, как нельзя и не надо писать для всех. Пишешь для себя; говоришь как сама с собой шепотом в темноте, потом пустишь свое слово в океан людской – и вдруг оно отзывается в сердцах – в сердцах братьев. Они отвечают. Это единение, это любовь, это счастье. Блок недаром говорит, что дело поэзии: отбирать. И дело любви – то же.

8/II. Вчера вечером я через силу поехала, как обещала, к Оле[154]. Искреннее, доброе она существо, хоть и вздорная баба. Без конца рассказывала мне обо всяких гослито-переводческих интригах. Я плохо понимала. Поняла одно: Чиковани просил, чтоб его переводил Б. Л.; тот перевел, но подписала Оля; теперь Чиковани здесь и увидев перевод Б. Л. – не узнал его и передал Межирову.

Ну, так. Нина Табидзе, которая ходит к Оле требовать, чтобы Б. Л. покаялся.

Б. Л. намерен пойти на вечер А. и там, выслушав стихи А., выступить со своими… Бедный А… Оля встревожена, я тоже. Имеет ли смысл «являться народу» в Союзе.

Но как Б. Л. хочется читать! Печататься! Он неутолен и несчастен. В чем тут тайна? Для чего так хочется людского понимания? Грех это и суета или истина?

Оля мельком рассказала интересную вещь. Она говорит: «Б. Л. очень щедро хвалит чужие стихи, но ведь он стихов чужих не любит. Например, стихов АА совсем не любит.

Я вспомнила надпись: бессмертной, великой…

Может быть щедрость есть, а зоркости нет? Или это законно: стих-то ведь чуждый ему.

23/II. 54. Сегодня вдруг без звонка явилась Оля. Плачет. Что-то там в Гослите с переводами, очередное бесчестное вранье редакции. Но мне было трудно понимать, кто что сказал. Потом оказалось, что для нее по линии переводов что-то может Коля. Я обещала позвонить.

Я расспрашивала о печатании стихов Б. Л. Оказывается, в «Земле» он согласился заменить последнюю строфу

Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

а в «Свидании» последнюю («А нас на свете нет»). Это очень горько.

19/IV 54. …вместе прочли Шолоховскую муру в «Огоньке» – продолжение «Поднятой целины»[155]. Сейчас Шолохов уже ничем не отличается от Панферова: тот же выдуманный русский язык, та же внутренняя душевная грубость.

23/IV. «Литературка» занята Горьким и не напечатает, вероятно, до праздников мою статью… Ах, все это тонет перед мерзостями, вскрывшимися на верхушке союза. Разоблачают Сурова, Вирту, Первенцева, Бубеннова, Панферова. Пьянство, доносы, драки, взятки, подкупы. Но ведь то, что они проходимцы и черносотенцы, было видно из *стиля* их произведений 10 лет назад. Однако их поили, обогащали, оберегали от критики и называли антипатриотами тех, кто разоблачал их. Сегодня я была вечером с Ваней у Якова Захаровича [Черняка] и там об этом шла речь. Ничего для меня нового; я всегда знала, что все обстоит именно так; но теперь это можно потрогать руками, и от этого болит сердце.

17/X 54. В «Новом Мире» – Берггольц. Талантливо и как-то растленно. Телячий восторг по всякому поводу: голод, смерь,

блокада – все вызывает ее восторженное умиление. Призывает к искренности, а сама приравнивает «Как закалялась сталь» к «Про это»[156]. Ведь она литератор, не может не знать, какая тут пропасть. Видимо любит «Былое и Думы», но не отдает себе отчета, что главное в Герцене, кроме гения, мужество, отвага мысли, которой у нее нет ни гроша. При всем том, ее устремления прогрессивны, а талант научил ее хорошо написать детство.

10/XI 54. …я получила письмо от Б. Л., в котором он своим крылатым почерком благодарит меня за «Сердце» и «Встречу».

Но нету силы обрадоваться.

Долгих лет нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно[157].

И все-таки я целую конверт и не расстаюсь с ним.

1/XII 54. Голицыно. Прилежаева. Комната ее напротив моей. Но я ее не видала, потому что к столу она выходить не изволит.

Встреча будет интересная. На днях в Клубе при большом стечении народа выступил ансамбль «Лит. Газеты» («Верстка и Правка») и там был повторен номер обо мне и Прилежаевой. «Чуковская не любит детей, а я их люблю… Она не наша, а я наша… Ей не место, а мне место». Буря аплодисментов. Знает ли она об этом?

Кажется, Паперный[158] – талантливый человек. Многие тексты блистательны: Грибачев, избивающий Сельвинского, Сурков, несущий ерунду, Симонов, сделавший открытие, что писатель должен писать, грубые секретарши в приемных. И песенка:

Журналисты – скандалисты,
Где же ваши тещи?
Наши тещи – гонорары тощи –
Вот где наши тещи!

15/XII 54. Голицыно. Тут перемены. Появились 2 персонажа: З. Чалая – и Н. Ильина[159] – занятная женщина, выросшая в Китае и вернувшаяся всего 7 лет назад. Она бузотерка. За столом сразу заявила, что статья моя «гениальная». Вечером рассказывала о шанхайских кабаках и о Вертинском… Она приятельница Зив и Бабенчиковой[160]. Бабенчикова мила и неглупа, но любит стихи

Щипачева и пишет о нем статью. Ильина пишет роман о жизни русских в Шанхае.

7/III 55. В поликлинике, в передней, встретила Заболоцкого с женой и с палкой. Щеки висят; медленно, медленно, осторожно, поворачивает себя и говорит. Это не остов человека, а оболочка – словно пустая внутри.

Выйдя на улицу я встретила Б. Л. Сразу не узнала его – так он переменился. Постарел. И показался мне совсем каким-то вздыбленным, потерянным, ошалевшим. Поздоровался, поцеловал мне руку – сразу заговорил о каких-то 500 страницах своего романа, который даст мне, говорил бурно и невнятно минут 10, потом вдруг: – Что же мы стоим, не поздоровавшись? Здравствуйте – я, в растерянности, снова протянула руку и он трижды поцеловал ее – почему-то в ладонь – потом снова заговорил о романе и вдруг ушел, не простившись.

8/IV 55. Прочла я «Верность» О. Берггольц. Нет, она лирик и больше никто. Трагедия не удалась. Форма звучит архаично.

16/IV. Вечером я поехала к Ване. Чувствовала себя хорошо, могла бы повеселиться. Но, боже, до чего там было скучно. Вкусно и скучно. Я заметила: почему-то – чем вкуснее, тем скучнее. Индейка, пирог, пирожки, икра, Пасха – все это сделано обдуманно, любовно – какое-то особое вино, коньяк – и умные, веселые, светские, оживленные люди – и скучно до смерти. Не только общего, но и частного никакого разговора не выходит… Шкловские, Ивичи, Вовочка, Зая[161], Литвиновы, какие-то армянские друзья Веры Васильевны [Смирновой] – и скука, скука до ужаса!

2 мая 1955. Праздники.

Толпа. Машин нет. Метро нет. Пьяные. Переполненный автобус. Опять лестница. И вот я у Жени[162].

Я ехала к Жене студенту, обиженному мальчику, в мансарду на ул. Рылеева. А приехала к лысому Жене, мужу красивой жены, получившему за нею красное дерево и люстры. Он не стал от этого хуже – такой же мягкий, добродушный, легкомысленный, слабый, милый – но только нечего мне там делать, особенно 1 мая. В праздник.

Явились 4 актрисы – молодые, сильно декольте и в курсе лит-теа-новостей. Стол. Вино. Закуска.

Нельзя, чтобы праздник состоял в том, что не голодные люди – и не работающие всю неделю, люди свободной

профессии – садились за стол, ели – и что? И ничего.

Нету веселой формы светской жизни. Танцевать негде – тесно. Петь, читать стихи, не принято. Остались еда и пьянство.

7 мая. Да, еще АА о Пастернаке.

«Я предложила ему рыбу. Он говорит – пока не кончу роман – ничего читать не буду. А я думаю наоборот – в это время, как кормящей матери, надо питаться всем».

27/5 55. Карта души все время меняется – по Прусту – люди остаются теми же, но оказываются на других местах – как если бы горы оставались теми же, но переходили с места на место – и это может быть самое удивительное и самое страшное явление в нашей жизни. Это страшнее и таинственнее, чем…

1/XI 55. Санаторий. Чкаловская, им. Горького. Шура в свой приезд сюда сказала мне как-то по телефону – в ответ на мои жалобы, что я завалена текущей работой, и все не пробьюсь к своей –

«Ну, я не знаю, как можно быть недовольной *любой* хорошей работой… *У меня* нет чувства призвания».

А у меня есть, милые друзья, Шура и Леля, есть – хоть Вы и не любите моих стихов и прозы. (Любит, из старых друзей, только Геша [Егудин]). У меня есть (потихоньку).

14/XI 55. Прочла I часть «Золотой Розы» Паустовского. Ну что ж. Нарядность, какая-то щеголеватость губит его, как всегда. Литературность, претензия. Но во всяком случае по смыслу это *прогрессивно*, потому что говорит о призвании художника, о вдохновении – говорит о его героизме – славит Врубеля, Ван-Гога, Гогена. И за то дай Бог здоровья.

Много говорит о языке – и вот тут я с ним совсем не согласна. Он призывает изучать, подслушивать язык, составлять словари. Но дело художника исповедоваться, а исповедоваться, говорить последнюю правду, можно только *на своем* языке. Обворожительно слово окоем (я его давно знаю), но ведь оно не *моего* языка. Язык героев? Но лирик не нуждается в характерности языка героев, он заменит ее своей волной, своей музыкой. Не изучать жизнь надо (это он, впрочем, понимает), а жить и правдиво писать о жизни своего сердца. И о чужих сердцах, как они отражаются в твоем.

29/XI 55. За ужином я проштрафилась и простить себе не могу. У нас за столом сидит офицер, очень глупый,

флиртующий с учительницей по всем правилам военного искусства. «У меня так холодно в комнате, прямо ноги стынут». – «Ноги ничего, лишь бы сердце было горячее» и т. д. Вчера я была – от усталости, от желания и невозможности уснуть – в кино, смотрела длинную и в общем бездарную картину «Ваню Бровкина». Сегодня я спросила за столом: – какая сегодня? – «Неоконченная повесть». – Надеюсь, лучше вчерашней галиматьи – сказала я неосторожно.

– Я лично – сказал офицер – когда сужу о произведениях, то не о своем вкусе говорю… Эта картина понравилась народу.

Мне бы улыбнуться и промолчать, а я ввязалась:

– Вы настолько скромны – сказала я – что не решаетесь высказать собственное мнение и настолько нескромны, что решаетесь судить от имени народа: от имени 200 миллионов людей. Кто вам дал это право?

– Что вы так разошлись – ответил он, не понимая, что говорит грубость.

1/IV 56. Интересное наступает время: попытки воскрешения лежащей в обмороке страны. Время, чреватое счастьем и бедами[163].

22/VI. С утра пошла в редакцию диктовать.

И тут-то произошла роковая встреча. Как в театре.

Я диктовала секретарше Кривицкого в роскошном преддверии Кривицкого кабинета (Игрушки, шторы, бюро вентилятор, кресла). Вошел седой человек с неприятным лицом. Перебив диктовку и не извинившись, он стал спрашивать у машинистки о рукописи какого-то Домбровского[164], попутно сообщая, что Домбровский был загублен мерзавцами, что в 48 г. его отправили опять, что необходимо напечатать его роман и пр. Я смотрела в сторону – фальшь, крикливость, желание выставиться были мерзки. Наконец он ушел, оставив секретарше свой дачный телефон. Я глянула:

Б. А. Лавренев[165].

Ну, конечно… В 37 году, когда разгромили нашу редакцию, когда Шура, Туся и Митя сидели в тюрьме, когда С. Я. был главой контрреволюционной группы и все мы – вредителями, он в Союзе произнес речь о вредительстве, называя меня бомбисткой… Тогда это было покушением на убийство… До этого он вынул из пепельницы записку к С. Я. от К. И., которую С. Я. разорвал – склеил ее, сфотографировал и представил по начальству в доказательство «группировки». И вот этот матерый подлец образца 37 года теперь вопит в защиту невинно-угнетенных.

16/VIII 56. Вчера была в Переделкино, и на обратном пути сошла в Москве-2 вместо Москвы (задумалась, а многие выходили) и сидела там на перроне полчаса, ожидая следующего поезда. Огни, гудки, полумрак – пейзаж бездомности, трагедии – странно думать, что это просто фонари, просто рельсы, а не материализованная тоска.

9/IX. Вечером собиралась (в который раз тщетно!) к Наташе Гурвич[166]. И вдруг – пьяненький Ванин голос по телефону и трезвый глухой Алексея Ивановича. Оба ждут меня у Вани. Я отправилась.

Алексей Иванович разительно постарел. От счастья? От Мосфильма? Измученное лицо.

Мы сели чай пить в комнате Веры Васильевны, где все не как при Вове – переставлено.

И сразу все тяжести на нас навалились. Раньше все нас оттягивало от них. Теперь все вместе навалилось. А ведь и раньше мы знали всё и жили этим тяжким знанием. Но сейчас – концы, итоги. Под чертой.

Алексей Иванович рассказал, как ходил в прокуратуру по поводу Белыха[167]. Ему показали дело. Белых собирал частушки. Собрал 2500. Из них 7 были «кулацкие». Написал стихи против Сталина. Вот и всё. Получил 3 года – и через 2½ умер от tbc. Жил в бараке на 400 человек. Алексей Иванович и жена Белыха писали Сталину с просьбой выпустить его в лагерь – на воздух. Отказ. Теперь он амнистирован, т. к. 3 года всего… А реабилитация еще не скоро: Верховный суд завален делами.

Алексею Ивановичу очень понравились и прокурор, и новые следователи. «Впервые», – говорит он. Они с ним беседовали откровенно. «Что за люди у вас в СП! Вызываем одного лауреата для реабилитации одного гражданина… Стыдим его: ну, раньше вы клеветали от страха, а теперь почему продолжаете клеветать?»

Алексей Иванович не спросил про имя.

Затем ему сказали, что готовилось дело против А. Н. Толстого и Маршака. Оба были на волоске.

Затем он рассказал, как в Ленинграде проводили в Союз какого-то литератора, и Гранин дал отвод, сообщив, что из-за него погибли двое.

Встал Холопов[168]:

– По таким причинам нельзя отвода давать. А то тут ползала исключить надо будет…

Раздался свист, шум… Холопов сказал:

– Я, конечно, извиняюсь, но назад свои слова не беру.

Нравы. Быт. Литература.

Я рассказала о своей встрече с Лавреневым. Алексей Иванович сразу вспомнил новеллу. В 37 г. на каком-то собрании Лавренев поливал грязью кого-то из преследуемых. И пил воду из стакана. Женщина, выступавшая после него, потянулась к стакану и отдернула руку:

– Не стану пить из одного стакана с Лавреневым.

Он выступил:

– Естественно, что мы с гражданкой N не можем пить из одного стакана. Я пью из нашего советского стакана, а она – из патрона из-под фашистской бомбы.

Быт. Нравы. Портреты.

27/IX. Эти больные отчаянные дни шли под знаком большого спроса на меня.

Атаров[169]. Не напишу ли статью для «Москвы»? Множество комплиментов. Тема – в сущности, ответ Серову[170]: право художника вести вперед, не только глядеть в рот народу. Обещала подумать.

ДДК [Дом детской книги] написать о забытых книгах. Тут я согласилась сразу – написать бы о Мите, о Хармсе, о Сереже[171]… Обо всех. Но – как с реабилитацией? Или можно без нее?

«Литературная Москва» – не проредактирую ли рукопись Левиной? Следовало бы, потому что это ее обворовал мерзавец Сахнин[172].

1/X 56. Третьего дня вечером навещала Николая Павловича[173]. Он не стареет, а дряхлеет и не по дням, а по часам. Волочит ногу, заплетается. Но мысль и память свежи удивительно; расстроена речь, а не ум. Он потрясен открытием: Наталья Александровна писала Гервегу страстные письма до самой смерти. Александру Ивановичу она лгала до самой смерти. Вот и комментарий к 5 части «Былого и Дум»!

17/X 56. Атаров позвонил и пригласил объясняться насчет СП [«Софьи». – Дописано позже. – *Е. Ч.*]

Я – не очень вежливо – поехала.

Он и Магдалина[174]. Комната ярка, пестра – дорогой ковер, дорогие чашки под стеклом, изящно накрытый стол. Магдалина Зиновьевна, умная, умело руководящая мужем и разговором. Светская приветливость – совершенно не идущая к тому грубому и страшному, что мы должны обсудить. Предварительные остроты и любезности над чаем с лимоном.

Атаров начал говорить, глядя в бумагу. Он прочел «Софью

Петровну» дважды. Флобер или «Гадюка» Ал. Толстого. Особенно хороша I-я половина – героиня – щепка на волнах океана (?!) А дальше – Селин[175]; но ведь русский народ не французы. «У вас не виден народ, который победил в 41-м». «Вы изобразили чуму страха».

Я попробовала объяснить, что героизм – следствие ясности этических норм, ясности положения – а в ту пору, о котором я пишу, жили все в тумане…

– «Вы меня не убедили».

Еще бы! Ведь он не понял главного: масштабов.

12/XI 56 (Малеевка). Все шло мирно, пока я показывала им привезенные стихи и Шопена. Но чуть разговор зашел – я начала взрываться. Опять то же, что всегда: охрана своего внутреннего комфорта, у И. Ю. Тыняновой[176], как у истерички, откровенная, у Райт, как у женщины спокойной и умной – скрытая. Райт бережет любовь своей молодости[177], Инна Юрьевна – свои нервочки и тряпки. Я была груба нарочно. От И. Ю. мне очень хочется отвязаться. А Райт я еще скажу: «в том-то и дело, чтобы отдать дорогое, если оно неистинно»[178] (Герцен).

1/XII (Малеевка) 56. Первый день, в который я решила не работать. Утром остановились часы, и я встала позднее обычного. После гуляния уже не имело смысла садиться. Кроме того, на 5 ч. я была звана к Либединским слушать мемуар о Фадееве.

Пошла, слушала. Читала она, он не только не мог читать, но и слушать не мог от волнения.

Написано дурно, кроме некоторых мест. Конечно, о главной трагедии Фадеева (как он участвовал в уничтожениях) не говорится. Но цитируются письма – письмо к Алигер – из которого ясно, как ему мешали писать и как он страдал. Вообще, кое-какой материал для трагедии «Ал. Фадеев», которая будет написана в 1975 г. – есть.

Но это рассказ о людях, которые приняли всерьез все мнимости эпохи – например Чумандрина, Анну Караваеву, Панферова. У которых на эту ерунду ушла молодость.

«Часовой у сортира. А я-то думал – у церкви». Записал ли это Либединский?

Была в издательстве «Искусство», мне предложили книгу о редакторской работе, договор 8 листов, срок – год. Соглашусь. Но боюсь они отступят после разгрома, который неминуем.

15/VI 57. Затем: правила Петряева[179], рукопись, которую мне дал О. [Хавкин]. Человек этот добр, образован, трудолюбив, умен – но не артистичен, пишет плохо, править его мучительно. Он был у меня дважды, я ему кое-что показала – но за 2 часа писать не научишь. Теперь правлю рукопись и посылаю ему главы. И это мешает мне – как всегда мешает чужое – взяться за свое.

28/VII. От Петряева тоже нет писем. Это еще одна поучительная история. Его привел ко мне О. Желая выручить О. и сделать ему приятное, я взялась срочно править рукопись Петряева. Петряев человек хороший, знающий трудолюбец – и *не* писатель. Я переписала своей рукой, как когда-то Зильберштейна, 10 листов. Посылала ему по частям. Он писал письма – часто – деловые и благодарные, с вопросами по тексту. Один раз в письме он поздравил меня с 250-летием Ленинграда и я, неизвестно зачем и почему, вдруг написала ему, что и как для меня Ленинград. Мгновенно письма и прекратились… По-видимому лирическая нота показалась ему неуместным неприличием… Однако, второй вариант рукописи он все-таки прислал – и я имела удовольствие снова исправить все 10 листов. Но к рукописи приложила уже совершенно деловое письмо… Вперед наука! Мне, конечно. Я есть редакционная машина и более ничего.

30/IX 57. Читаю письма Горького, том за томом, для книги. Конечно, тут наверное и половины их нету. Должна быть трагическая часть, должна быть. Но и то, что напечатано, внятно говорит о трагедии. Быть влюбленным в русскую литературу – и не догадываться, что Блок – гений, издевательски цитировать его стихи («О Русь моя, жена моя…»), ненавидеть Сологуба и чтить Чапыгина, не разглядеть Цветаеву, Ходасевича… Это ли не трагедия – Горького, страны, времени?

2 октября. Вчера в Союзе – открытое парт. собрание. Говорят, там долго и подробно каялась Алигер…[180] Вот и конец случайно блеснувшего, взмытого волной человека. И, думаю, стихотворений. После такого разве можно писать стихи?

Там осуждали Каверина, который не кается (он, Дудинцев, Паустовский, Рудный). Кто-то сказал, что он болен, у него воспаление мозговых оболочек. Все равно вставили в резолюцию. Люблю гуманистов!

11/III 58. Прочла – перечла – 1-ую книгу «Доктора Живаго». Гениальные пейзажи; хорошие народные диалоги; хорошие «характерные роли»; людей нет – есть мысли и мнения, поэтически выраженные. Местами язык ужасен: «При поднятии на крыльцо изуродованный испустил дух».

20/VI 58. Когда наконец будет понято, что художественное произведение рождается не из наблюдений над жизнью, а из душевного потрясения. В его свете и наблюдения и даже наблюденьица могут пригодиться. Но если этого света нет – то и они решительно ни к чему.

Давно уже это сказал Достоевский, но ведь люди понимают не то, что им говорят, а только то, что они могут понять.

18/X. На похоронах Заболоцкого я не была (больна…). Но думаю о нем много. Он умер не старым – 55 лет – но странно, что все друзья его юности, все, с кем он начинал: Хармс, Введенский, Олейников, Шварц – умерли (если это можно назвать смертью!) раньше. Весь куст погиб, а он – последняя ветка.

В последние годы стих его мужал и из внешне-классического становился истинно-классическим, т. е. наполнялся содержанием.

Похороны – и объявления в «Лит. Газете» – были официально-пышные. Но это не за стихи чтит его начальство, а за переводы с грузинского.

19/X. Туся говорит:

«Я поняла, что такое старость. Старость это скорость. Вспомните, как медленен был подъем: каждый гимназический год, например. А сейчас точно с горы бежишь, ноги сами несут и не замечаешь времени и нельзя остановиться. Вероятно для тех, у кого в семье дети, да еще разных возрастов это не так. Они хоть присутствуют при подъеме».

23/XI 58. Я думаю: что значит жить для будущего? Это значит жить для настоящего, а не для мнимого в настоящем.

20/XII 58. Я тоже за реформу образования. Бросить на образование педагогов всю интеллигенцию – научную и артистическую. Сделать из педагогов – педагогов, а не обозленных собственной малограмотностью домработниц. Когда учительство разовьется – через 10 лет будет новая могучая интеллигенция.

Надо реформировать Пединституты – эти твердыни невежества.

1/III 59. Чувствую себя худо.

А работать надо. Это – единственное спасение. Нет, счастье не в работе. Счастье (мне) давала только любовь, любимость (которой почти не было). Работа – не замена, а единственное средство заглушить боль от отсутствия любви, боль, которую я испытываю постоянно. Думаю, что неудачная любовь – вечный стимул к работе не только у меня, но и у всех, кого не любят. Если любовь разделена, она поглощает в такой степени, что на большую работу не остается ни сил, ни времени (во всяком случае, у женщины). Когда же встаешь и ложишься с «оскоминой стольких слез» – одно остается – работать.

25/VII 59. Гениальнейшая из статей Цветаевой «Маяковский и Пастернак».

Каждое определение – чудо. Так написать о поэте может только поэт.

Множество совпадений с мыслями о Б. Л. – Анны Андреевны. О том, что он не способен изобразить живое лицо. О том, что эпоха повернула его, как реку, у Цветаевой написано просто словами Анны Андреевны:

> Меня, как реку,
> Эпоха повернула[181].

20/IV. 60. Переделкино. Привезла сюда тетради своих дневников, чтобы выбрать страницы о Тусе. Читаю не по порядку, но сплошь и убеждаюсь до какой степени я вполне забыла свою жизнь. То есть ее фактическую сторону. Художнику нужна эмоциональная память – да у меня она *только* эмоциональная, вот беда.

И что с ними делать? Выбросить? Сделать выборки? Проредактировать? Писать «Былое и Думы»? А что-то надо – и тянет –

17/V 60. Думаю о том, что после смерти мне посылает Туся. Как и при жизни, руководство моей работой, путем. Ища записей о ней, я стала перечитывать свой дневник и поняла, что бросать его нельзя, что надо им заняться. Память о ее отношении к людям научает меня быть снисходительнее, добрее.

30/VI 60. Когда умирает человек, которого мы не любили, мы поражены его исчезновением. Только что был, а теперь вот нет его. Исчез.

Когда умирает человек, любимый нами, мы поражены не его отсутствием, исчезновением, а напротив – тем, что он постоянно с нами. Его присутствием после исчезновения.

11/VIII 60. На свете существуют три разные любви.

Мы ошибаемся, требуя от всех трех одного и того же; требовать надо разного.

Родных надо любить, только давая и ничего не требуя взамен. Понимания моей жизни от них требовать не следует; они и не должны ее понимать.

Понимания следует требовать от сверстников, т. е. от завоеванных друзей. Друзья даны для обмена, роста и понимания. Им можно сказать: «не меня полюби, а мое». (Родные же любят только меня, но *не* мое).

От возлюбленного – и от своей к нему любви – ждешь соединения всех любвей: понимания, нежности, любви к себе и к своему, невозможности существования без тебя и вне тебя. Невозможности быть счастливым без тебя.

30/VIII 60. Безусловно, самый большой мой недостаток в общении с людьми – тот, что я слишком крупной монетой даю сдачу в ответ на мелкие подлости. Маруся лжет мне в глаза, хотя я от нее не заслужила подвоха: я кричу. Маляры, столяры, сторож, плотники, печник, слесаря… Лгут, плохо работают, клянчат, обманывают, крадут, мухлюют. Я не кричу, но обижаюсь, перестаю разговаривать, не сплю… А между тем люди «этого звания» бывают добры, велики, самоотверженны, но до понимания чести, до моего отношения к *слову* не доросли и дорасти не могли – поэтому вести с ними счет в *этом* смысле не только глупо, но и недостойно… А вообще надо учиться быть сдержаннее (на 6-м десятке!), не провоцироваться, не реагировать, не тратиться попусту, а делать свое дело (во имя общего!), благо оно есть!

8/X. Вчера школьники 2-го и 5-го класса пришли в Библиотеку, чтобы встретиться с К. И.

Я впервые после многих лет снова видела К. И. с детьми.

Он был с ними 4½ часа. Утром жаловался на перебои, а тут мгновенно выздоровел. Оторвать его от них, их от него – невозможно было. И он, и они испытывали наслаждение. Он читал маленьким стихи, большим «Серебряный герб», потом пошел с ними в сад, собирал щепки, устраивал гонки, кричал, командовал. Девочка влезла на дерево: «Браво, Наташа» – кричал он – «выше! выше!», а под деревом стояла учительница

(как и все они: на уровне прежней плохой домработницы) и вопила: «Слезь сейчас же! Кому говорю!»

Это был настоящий праздник и для него, и для них.

Это был шедевр актерского обаятельного выступления.

И я подумала о том, где сила и где граница этого обаяния?

Он – для детей и для взрослых. Но не для юношей. Граница – здесь. Наташа Ростова говорила, что рука Пьера сделана по задку ребенка. Талант К. И. весь впору ребенку – и только ребенку. Юношам К. И. не может дать ничего – разве что, если они снова на минуту захотят стать детьми. Юноши и ему неинтересны, потому что юноша это этика, это философия, а не только художество… Вот почему он не находит контакта с таким прелестным юношей, воплощением юности, как например Саша Александров. Саша весь в вопросах: благородно неблагородно? что есть подлость? а К. И. не этим жив.

20/X 60.

Барбитураты
Не виноваты,
А виноваты
Дегенераты.
Я выписал дочку
В рассрочку.
Она мне меняла сорочку
И ставила дивный компресс,
Как ангел, сошедший с небес[182].

23/IX 61. Переделкино. Осень. Единственное время, когда природа тянет меня к себе. Но я поняла, что бывать в лесу или у моря, или в поле может только человек счастливый. Природа, тишина обостряют все чувства. Если человек несчастлив – как я – в лесу он несчастнее вдвое. Если он счастлив – о, как хороши тогда клены и дубы; не просто хороши, а упоительны.

30/X 61. Переделкино. Лес, скамьи.

Сталина вынесли из мавзолея «в другое место». И сразу несмотря на Кочетова, Маркова, Старикова, Грибачева, Софронова – сразу стало легче дышать.

Сталинская эпоха кончилась не в день его смерти и не в 56 г., а вот теперь. Конечно, искоренять то, что он насадил в душах, придется еще десятилетия… Но все-таки мы до этого дожили: он назван убийцей. И детей не будут водить кланяться его гробу.

2/XI 61. А люди плачут, пьют, не спят, и наверное многие – вешаются.

Знали о крови. Но теперь они с нею словно бы заново лицом к лицу.

Трудно простить кровь. Но может быть не прощают другого: всех непогибших сделали соучастниками убийц. Тысячью средств. И сейчас это видят даже слепые. И прежде всего писатели – если они не Кочетовы.

Пьют. Плачут. Будут стреляться.

18/I 62. Переделкино. Поэма Коржавина[183]. Всегда умно, изредка поэтично. Думать он умеет.

Стихи Корнилова и он сам[184]. Сумрачность, лобастость. Очень чувствует меня. Поэт большой, несомненный. Час читает поэму. К сожалению, много служебных связок и много грубости. Но поэт истинный. Я говорю неточно, заразившись его волнением, и от спешки (он – на поезд), и от присутствия друзей. Но он все понимает и отвечает очень точно: «Сейчас поэзия должна нести и службу прозы».

19/I 62. С. читал стихи Корнилова. Поэт, поэт! Передал мне его вопрос: соглашусь ли я рекомендовать его в Союз? Конечно, да – но ведь моя рекомендация ему не поможет.

С. дал мне целую тетрадь.

9/II 62.
ДЕДОВЫ ПЕСНИ:

Барбитураты
Виноваты,
Что мы с тобой
Дегенераты.
***
И аскорбинка
Не спасет
Того, кто сроду
Идиот.

3. III.62. Корнилов. Настоящий поэт, то есть в стихах его есть сила, правда, власть. От первой встречи в Доме Творчества, когда он читал нам – собственно мне – поэму, я запомнила только силу стихов, застенчивость и опущенный лоб. На днях он был у меня. Наружность оказалась другая – я бы его не узнала. Но он

и в общении – поэт. В речи тоже все особенное, неожиданное и похожее на его поэзию – так было у Пастернака.

Об Ахматовой и Цветаевой: «Цветаева иногда кажется сильнее, громче. А потом понимаешь, что ахматовские 36.6 – это будет всегда, всю жизнь, это стойко. А там 38.5 – но ненадолго».

О стихах и прозе говорит как человек искусства.

5/X 62. Корнилов. У меня все время болит сердце: Корнилов. Я постаралась уговорить В. В.[185], которой нравятся его стихи, вступиться за его книгу. Пока она не сделала ничего. Я сочинила обращение в президиум Союза Писателей от имени деда, АА и Эренбурга – чтобы его приняли в Союз без волокиты – не знаю, удастся ли…

А пока он играет судьбой.

Лесючевский[186] отказался подписать с ним договор и напомнил ему «плохую», «идейно-порочную» поэму «Шофер».

– В поэзии трудно определять плохое – сказал ему Корнилов. – Сегодня так, завтра этак. Было время, когда на плохих поэтов писали доносы и их расстреливали, а потом оказалось, что они-то и были самые лучшие поэты.

Принимая во внимание, что Борис Корнилов был расстрелян по доносу Лесючевского…

18/X 62. Только что от Эренбурга.

Занимает его сейчас по-видимому одно: «Новый Мир», Твардовский[187]. Твардовский сегодня должен у него быть – с Дементьевым и Заксом. Они что-то имеют против V части воспоминаний. Илья Григорьевич думает – главу о зверствах над евреями. Рассказывал про Твардовского, как шло редактирование других частей. Говорит – Твардовский не антисемит, у него к евреям болезненный интерес.

Говорил о ссоре Твардовского с Гроссманом, Паустовским, о ненависти к Мартынову, нелюбви к Пастернаку и Мандельштаму.

Цветаеву Твардовский признает поэтом – некрупным, но поэтом.

21/X 62. Белинков[188]. Очень образован. Очень умен. Талантлив. Судьба и труд – трогательнейшие, заслуживающие уважения. Болезнь, заслуживающая жалости, сочувствия, тревоги. Жена – подвижница.

И всегда, с первого дня, мне с ним неловко, не дружно, всегда общение с внутренним раздражением (обоюдным) и через силу с моей стороны. Всегда рядом с преувеличенной вежливостью –

внутренняя неделикатность, даже грубость. Всегда настырность, напор, нетерпеливость и нетерпимость с его стороны, с трудом сдерживаемая обида с моей. И наверное с его.

Один раз мы уже объяснялись, выясняли. Больше объяснений не будет. Постараюсь без ссор – отойти. Впрочем, кажется наша последняя беседа об Олеше – о его статье об Олеше – уже ссора.

Мне он стал ясен.

Анализировать художественное произведение он умеет только формалистически – никак иначе. Шкловитянство он всосал с молоком и, хотя возненавидел Шкловского, понимает только по-шкловски. А затем – кроме формализма – публицистика, для которой художник – лишь трамплин.

Тынянову естественно быть трамплином. Но с Ахматовой так нельзя. Она сама по себе ценность, не как предлог. Даже крошечный Олеша – и тот художник и требуется писать именно *о нем;* а не рассматривать его, как *повод*.

Кроме всего прочего, – он зол. Эгоцентризм же феноменальный. И таковое же самолюбие.

Не моего романа.

3/I 63. Переделкино. Дед прочел мне вслух речь прокурора на процессе Эйхмана[189] (Иерусалим, 1961).

Фотографии. Фотография свидетеля, упавшего в обморок от собственных показаний. (А когда он *видел* – он не терял сознания)[190].

Из этого процесса ясно, что меньшинство, если только оно организовано – могуче. Меньшинство светлых и меньшинство темных. О светлых Герцен писал: «Россия будущего существовала только между двумя-тремя»[191] и пр. Фашизм начинала горсть подонков, которая заразила потом всю Германию. И только ли Германию. И музыка, философия, литература, демократия оказались бессильны.

14/II 63. Слухи, слухи о бедах. Начальство недовольно выступлениями поэтов, картиной «Застава Ильича»; Эренбургом; еще чем-то… В Карелии сносят драгоценные деревянные церкви. У духоборов отняли детей.

Мы живем не только в беде и унижении, но и в постоянном предчувствии бед, которое разлагает душу сильнее совершившейся беды.

В который раз.

21/II 63. Переделкино. Так много думалось сегодня в постели, что ничего не упишешь.

Сегодня 8 лет смерти Марии Борисовны. Мы с дедом ходили на могилу. Он обижен, что Коля не приехал. Он вообще часто недоволен Колей, не видя, что Коля – точный слепок с М. Б.; та же душа только в мужском варианте.

Сегодня наблюдала, как дед, пройдя в метель 2 км, прозябнув, побывав на могиле, внутренне осуждая меня за то, что я его потянула пешком, без машины – вошел, хмурый, в парикмахерскую – и, увидев девочку Олю, сразу заиграл, запенился, начал рисовать ей картинки и читать стихи. И память о могиле, и раздражение, и озяблость все исчезло перед встречей с ребенком – т. е. художеством в чистом виде.

(Все, кроме раздражения против меня, которое он потом, думая, что я не слышу, изливал Кларе[192].)

Основа этой души – талант и доброта. Для того, чтобы не жалеть человека, быть к нему недобрым, ему надо либо вспылить, либо близко столкнуться с черной низостью (Катя[193], Ермилов, Васильев[194]). А так – он добр ко всем, а ценит в людях главным образом дарование. Причем непременно яркое и непременно осуществленное. На него очень действует успех – не только собственный, но и чужой. Он готов признавать таланты в Барто, Кассиле, Михалкове, потому что видит их успех. В Леле он сомневается: неудачник, нет успеха. Моим дружбам он всегда дивится; как это я дружу с И. И.?[195] Ни таланта, ни успеха. Люди вглубь и в подробностях ему неинтересны. Он любит и ценит Фриду, но вряд ли отличает это чудо ума, благородства и сердечности от Клары. Впрочем, нет, отличает: у Фриды талантливые блокноты.

Если применить к нему мою любимую толстовскую формулу: «нравственность человека определяется отношением к слову», то окажется, что при доброте, уме, щедрости, поразительном трудолюбии он не вполне нравственный человек, ибо часто, чтоб не обидеть, лицемерит, и часто болтать с человеком ему легче, чем слушать человека, вдумываться в него и отвечать впопад.

23/II 63. – Ваш брат отлично написал о Казакевиче.

Беру статью. В 100 раз литературнее и благообразнее, интеллигентнее, чем все, что рядом. Но нет правды и нет Казакевича. Зачем писать, что все его вещи хороши – когда «Синяя тетрадь» и «Дом на площади» и «Весна на Одере» – плохи? И где Казакевич – борец с черной сотней, с антисемитами, с Софроновцами, Казакевич – редактор «Литературной Москвы», напечатавший «Рычаги» и Крона?[196] И где Казакевич, которого заставили отречься и который от этого заболел и потерял перо и схватился за «Синюю Тетрадь» как за способ реабилитации

себя? И где эпиграммы, которыми он жег подлецов? И где его юмор?

Легко писать хорошо, когда ставишь себе простенькую задачку – похвалишь друга, тактично и литературно. А вот напиши о нем правду – о нем и о его трагедии. На это кишка тонка.

А может быть я несправедлива, а может быть – он и написал по-настоящему – в стол?

5/III 63. Переделкино. Предчувствия и страхи накануне встречи, которая состоится 7-го[197].

Дед, разумеется, ехать не хочет – о выступлении и говорить не приходится. На Федина надежды нет. Поедет ли и выступит ли Паустовский – не знаю. Он здесь, задыхается от астмы, кашляет. А я, как всегда, думаю, что ехать надо и говорить надо. Когда за слово убивали – молчание было оправдано. Теперь не убивают. Конечно, будут ругать в печати, не будут пускать за границу, могут *не печатать*… Но разве это резон? За границу можно и не ездить – а этих *полуправдивых* книг столько уже было напечатано! Ну будет одной меньше.

Вечером в Доме Творчества у меня разговор с Игнатием Игнатьевичем Ивичем. Очень неприятный, обозначающий черту. Он тоже считает, что выступать никому не надо. «Это бессмысленно». Нет, он не проникнут Герценом. Что значит бессмысленно. Во имя чести и достоинства литературы надо говорить, а не молчать, когда слушаешь оскорбления и вздор. Неужели только Ермилов должен разговаривать? «Все равно, то, что вы скажете, ни до кого не дойдет». Неправда. Слово проходит сквозь стены. Сколько ждущих душ! Да и одно сознание, что *не молчали* уже много значит – даже если оборвут, не дадут договорить.

«Слово есть дело».

10/III 63. Москва. Сижу одна в пустой квартире. Люшенька на даче.

Взялась разбирать свои карточки по папкам – герценовские, для IV главы, которая как-то уже шевелится внутри, скребется наружу.

Друзья, по моей просьбе, бросили мне в ящик газету с речью Хрущева.

Я прочла ее внимательно, чувствуя, как меня переносят в другой климат, к которому не сразу может привыкнуть душа.

Хрущеву нравятся 1) Серебрякова, лагерная проститутка, бездарная беллетристка 2) Грибачев, антисемит и тупица 3)

Соболев, исписавшийся холуй 4) Лактионов, бездарный фотограф.

Ему *не* нравятся:

Эренбург, Некрасов, Паустовский. Он их не понимает и боится. Не любит Шостаковича. Не любит интеллигенцию.

А какую работу, драгоценную, спасительную, на пользу, на счастье народа могла бы вести в этой стране интеллигенция. Какую красоту могла бы Россия явить миру.

* * *

Утром, по дороге в издательство, я зашла к Эренбургу, позвонив Наталье Ивановне[198] и попросив разрешения.

Посидела чуть-чуть с ней и Любовью Михайловной[199].

Потом вышел он. Не сел. Стоял передо мною, чуть наклонив голову набок, слушая.

Я что-то бормотала о сосудах, о сердце.

Желтое, будто оплывшее, лицо. Серая, будто клочками, неопрятная седина. Лицо неподвижное, как у мертвого. И бело-зеленые тоже мертвые, глаза.

Еще один убитый[200].

12/III 63. Переделкино. Паустовский тоже был у Эренбурга и тоже находит его в отвратительном состоянии. Илья Григорьевич ничего не ест. Ехать на дачу не хочет.

«Они проиграли его в карты и убили».

Игнатий Игнатьевич удивляется, почему Эренбург потрясен в такой степени. «Ведь это уже было много раз и не с ним одним».

– Он потрясен тем – сказал Константин Георгиевич – что за него никто не заступился.

– А за Зощенку заступались? А за Пастернака? Он ведь тоже не заступался – говорит Игнатий Игнатьевич.

Это правда. И в то же время я понимаю, что тут и есть главная боль: никто публично не возразил. (Разве я не испытала того же в 37-м?) Тихое сочувствие не лечит. Дорого громкое слово.

На собрании были его близкие друзья: Каверин, Слуцкий. Они утверждают, что говорить физически нельзя было: кричал Никита Сергеевич, перебивая, грозясь, кричали из рядов кочетовцы.

Борщаговский говорит, что это было самое страшное, что он видел за всю свою жизнь – а он видел многое…

Вознесенскому: «Получайте паспорт и убирайтесь за границу». «Мы вас заставим писать иначе, а не станете – мы вас перемелем – знаете, как жернова перемалывают».

Одного художника он вызвал из зала вопросом: «почему вы не аплодируете».

(Такого и усатый батька не спрашивал).

Сердясь на постановку «Марии Стюарт», он автором ее называл Шекспира[201].

Эренбургу: «Это вам не Будапешт… клуба Петефи не будет».

«Раб, раб, раб!»

Непонятна тактика относительно Твардовского и «Нового Мира». О нем – ни слова в докладах.

3/IV 63 Переделкино. Нет, надежда еще жива. Сегодня мне позвонила Эля Мороз[202] с сообщением: «новостей нет».

В Литературке фотографии наших победителей. Лафатер, где ты? У Кочетова лицо эс-эсовца, какого-нибудь обер-офицера СС. Глаза мелкого завистника и склочника, рот убийцы. Рядом с ним охотнорядец В. Смирнов. У Прокофьева лицо старой картофелины, все в бульбах.

Каждая статья – донос, на кого-нибудь одного или сразу на многих. В этом смысле очень выразительны И. Анисимов, М. Соколов, В. Смирнов и «поэт» С. Смирнов.

Одна строка у М. Соколова такова, что мне захотелось схватиться за перо. Об Эренбурге: «он натащил на свои страницы мертвецов».

Итак, людей можно запытать, убить, потом *реабилитировать*, признать невинно убитыми – и негодовать, что о них вспоминают…

И это печатается! А эти люди – цвет России: Мейерхольд, Табидзе.

Написать – но куда? Я еще подумаю про это. Поговорю с Фридой (больше не с кем).

Я думаю о том, в чем отличие нынешних происшествий от всех пережитых нами раньше, от ждановской диверсии 46 года[203]. Та была смесью мании с механизмом. Маньяк ткнул пальцем в двоих писателей, ничем и никак не связанных между собой и выбранных совершенно произвольно; механизм заработал: служилые люди на десятках собраний повторяли глупые слова. Азарта не было ни у них, ни у кого другого. Любящие литературу рыдали; народ безмолвствовал, как всегда; не радовался никто. Теперь другое дело. Целая группа – счастлива; она дорвалась, прорвалась, рассчиталась с противником; она изливает злобу, которая копилась с XX съезда. Когда Софронов называет свое выступление «Счастливый день» – он совершенно искренен. Для него, для сталинистов это в самом деле – «Счастливый день». Опять можно унижать интеллигенцию, печататься большими тиражами, затыкать рот критике, антисемитничать и доносить. Теперь осталось закрепить победу организационно, т. е. разгромить московскую организацию, как наиболее интеллигентную. Разгром ее даст им возможность властвовать без оглядки. Как справляться с тайным голосованием? Реорганизовать москвичей и запугать их – только.

Свиные рыла отвратны – но я не могу не видеть разницы и счастливой. В 46 году большинство верило галиматье, даже интеллигенция; сегодня – нет такого студента или вообще молодого интеллигента, который не возмущался бы. Равнодушна только золотая молодежь, да подонки. Остальные кипят.

Что толку в их кипении? Никакого реального толку – и даже вред: правительство раздражено и кричащая молодежь может попасть в беду. Жаль их безмерно – а все же лучше быть в беде, чем расти по-прежнему баранами.

12/V 63. Автобиография Евтушенко.

Я его всегда не любила. Стихи плохие, поведение какое-то двойственное. А сейчас я вижу, что была неправа. Поэт он маленький. А явление – большое. В автобиографии много подлинного, в самом деле современного, и есть нечто под чем могу подписаться (главная опасность – молодая поросль догматиков; поэты – духовное правительство). Политически он совершенно правоверный, ортодоксальный, и бешенство против него, по-видимому, объясняется тем, что разоблаченные им Котовы снова оказались у власти[204].

14/V 63. Переделкино. Оскорбить человека публично, даже если он стоит того – дурное дело.

Сегодня я не подала руки Кривицкому – в присутствии деда, С. С. Смирнова и П. Нилина.

Мне это тяжело, хотя Кривицкий за свою гнусность и не того достоин.

(Что он выделывал с Пастернаком, Заболоцким, со мной в «Новом Мире»! Со многими потом – в «Литературной Газете». Он с головы до ног фашист).

И все-таки мне неприятен мой поступок.

Шли мы с дедом по дороге, в полутьме. Дед веселый, какой-то особенно светлый. Трое остановили нас. Беда в моем зрении – я никого не узнала – а узнала бы во время, обошла бы, уклонилась бы, как обходила Кривицкого уже много раз. А тут – обступили деда и меня, протягивают руки. Вижу: Нилин (я поздоровалась, пожала руку), Сергей Сергеевич – тоже, и Кривицкий протянул свою – и она повисла в воздухе.

Испортила настроение К. И. – и себе. Гадко.

* * *

Перед отъездом сегодня дозвонилась Мильчину[205] (он

хворает, но уже встал). Предчувствие не обмануло меня: с «Лабораторией» неладно. Ему известны 3 придирки и известно, что их гораздо больше. Предвиденная одна: зачем вставка о 37-м? Так.

Зачем ссылка на т. 70 «Литературного Наследства» (Горький в переписке с советскими писателями) и зачем на «Тарусские страницы»? Том 70 задержан, а о «Тарусских страницах» упоминать запрещено…

20/V. О «Лаборатории» вестей нет. «Читает начальство» сказал мне выздоровевший Мильчин.

24/V 63. Сегодня он у меня был. С версткой. Цензора накинулись на вставку об уничтожении редакции в 37 году.

Подчеркиванья очень интересны. Лихая пора – подчеркнуто, пустили в ход провокацию и демагогию – нельзя, повсюду правота оказалась беззащитной – нельзя. Приказано: убрать характеристику 37 года. Список погибших оставить можно и термин «оклеветаны» (дурацкий, ибо клеветали-то ведь по указке начальства).

29/V. Пиво-Воды. Звонил Мильчин – поправки, которые мною сделаны, приняты цензурой, «Лаборатория» пропущена…

2/VI. Москва. Была на Тусиной могиле.

Да, там соседнюю могилу прибирала какая-то женщина, которую я сначала не узнала. А она сразу ко мне подошла:

– Я читала вашу повесть. И я должна сказать, что вы победили ваших конкурентов – в том числе и (я ждала обычного: Солженицына) – и Ахматову.

Я быстро и вполне от души сказала ей, что она говорит вещи кощунственные и что «Софью Петровну» я вообще не считаю художественным произведением.

По-видимому, это была Таня Иванова – вдова Дубинского[206].

29/VI 63. Под несчастливой звездой, в несчастливый для нашей культуры день, начинается эта тетрадь.

И для меня лично.

Теперь я понимаю яснее, чем когда-нибудь, что под ударом не только «Софья» – под ударом «Лаборатория», которая должна выйти завтра-послезавтра.

После прочтения газеты, чувство такое, как будто я вся в синяках. Живого места нет. Странно, более всего меня ударили слова – благосклонные – о музыке, под которую хорошо

отдыхается… Добрые, одобрительные слова. Ими указана мера понимания.

26/VI. Пиво-Воды. Хвалебная фраза: «Он страшно любит жизнь» мне как-то непонятна. Что это значит: любить жизнь? Какую именно жизнь? И почему это хорошо? А может быть хорошо ее ненавидеть?

Все мы инстинктивно цепляемся за свою жизнь. Но хорошо ли это? Вероятно мы были бы смелее и честнее, если бы у нас не было этого отчаянного пристрастия.

11/VII [О К. И.]. Чего не хватает этому замечательному человеку, чтобы быть великим?

Сколько у него замечательных свойств! Артистизм; талант; обожание труда; быстрый и блестящий ум; органическая доброта и органический демократизм; интерес к людям, к жизни, не только к книге.

Чего же не хватает?

«Зуда правды». «Нравственного гнезда». Обостренного чувства чести, которое всегда приводит к гражданственности.

1/VIII 63. 26 лет тому назад – канун несчастья. Шесть дней навеки сломавшие мою жизнь, погубившие Митю.

И я – участница – неумением спасти, хотя тогда еще можно было.

Правда, вмешался дьявол: путаница с телеграммами. Отсутствие друзей. Присутствие предателей. Равнодушие «родных».

И все-таки я могла и не спасла.

А сама живу и бываю еще недовольна своей жизнью, хотя *любая* жизнь, самая неудачная не искупает моей тогдашней ошибки.

Митя погиб – доброта, благородство, сила, гений.

А я даже бываю счастлива: например сегодня, сидя в джунглях *начала* (*я* и предполагала, что 1/VIII начну) *писать* «Былое и Думы», писать, двигаться по уже проложенной за этот месяц дороге. В зелени; под настойчивый стук дятла, глядя на бабочек. Я вдруг подумала: а могла ли бы *я* написать свои «Былое и Думы», отважиться рассказать о гибели Мити как он – о гибели Натальи Александровны? Какое нужно мужество. Все написать: Митино лицо в окне вагона; потом – тихий, быстрый звонок 1 августа, в 10.30 вечера – сегодня, 26 лет назад; дворник – его бородка, взгляд; лица людей, приходивших в эту ночь 4 раза; руки в сургуче; мячик и котята на бордюре обоев

в детской. Я – одна, утром, на полу, перед вывернутым ящиком детского шкапчика… одна, с этой ночи навсегда одна… Нет, я не могу и теперь прикоснуться словом, рассказать – это через 26 лет! а он, оставшись один, схватился за перо сразу, и не бросил его, пока не написал

Еще год
Oceano Nox
Смерть

Вот в чем его величие. *Перенести* не штука – это зависит от крепости сердечной мышцы; а вот *рассказать*, сделать из боли мысль, слово – прислать его мне и миллионам людей на помощь в нашей жизни, еще более страшной, чем его – вот это сила, вот это подвиг.

Как бы я прожила эти 26 лет если бы случайно в своем страшном московском чулане, в черное двенадцатилетие 43–55, после чудовищных лет 37, 38, 41, 42 – не набрела на когда-то случайно найденный (в Ленинграде, 35-го), затерянный и снова нашедшийся след – Герцена. И с тех пор и теперь уже до конца жизни – он мой «положительный герой», он – его жизнь и его творчество.

6/IX. Москва. Твардовский вернул 20 стихотворений Корнилова. «Ему не о чем писать».

Смеляков – где-то – сказал: «Я бы ему сам послал револьвер, пусть стреляется».

Холодный палач Соловьев[207] выбросил из книги все хорошие стихи и теперь мудрует над оставшимися – выклевывает по строчкам живое.

Так все – от либерала до палача – дружно вытаптывают молодую Россию.

5/XI 63. Комарово. Все больше думаю о необходимости написать свою автобиографию и всю серию воспоминаний: Пастернак, Ахматова, Цветаева и пр. Как писать о них, мне ясно (Неясно – когда). А как – о себе? Свои «Былое и Думы»? Нет, до них я не доросла и *никогда* не дорасту, потому что я никогда не найду силы и храбрости писать о своих болях правду, касаться их безбоязненно. Разве я могу написать всё о бабеньке, о своем детстве, или о 37-м, или о своей любви? Нет. Значит форма «Былого и Дум» мне не годится, а надо писать отрывки. Какие?

Я бы хотела всегда жить вот так как теперь – в разлуке со своей текущей жизнью, в каком-то условном, почти

герметически закупоренном мире – зная только, что в *том* – благополучны Люша, К. И.

7/XI. Вдруг целый пласт воспоминаний. Из-за Вероники Спасской.

Я все думала о ее отце – которого еле помню – и вдруг поняла, кого мне напоминает эта головка, лоб, эти глаза – и темные, с ранней проседью, кудри.

Было лето в Ольгине (кажется, в Ольгине), 21-го или 22 года. Рядом, на даче, нарядные, богатые люди: Мария Гитмановна и ее муж[208]. Я – чемпион крокета, и меня зовут играть взрослые. Мария Гитмановна – красавица в заграничном зеленом платье, темноглазая, полуседая. Мужа зовет «Комаричек».

Потом вспомнила глубже: ночь 19 года, зима, мороз, мы с Колей живем на Мойке в Доме Искусств (скарлатина) и вот за мною заехал дед на машине! а в машине Борис Каплун, комиссар, в кожаном, и почему-то балерина Спесивцева, и мы едем по пустыне Васильевского Острова сквозь мороз в недостроенный крематорий и там для нас жгут покойника… Ледяная ночь, меня высадили у ворот Дома Искусств и уехали, а я не могла открыть калитку, вообразила, что она заперта, мерзла 1½ часа…[209] Она оказалась открытой.

Другое время, тридцатые годы, Дом Книги. Красивая, тихая, очень мягкая женщина, с проседью, в модной шали с цветами – Клара Гитмановна[210]. У нее роман с женатым человеком, отцом Шуриной подруги, Люси Гордон.

И где-то – не помню где и когда – Софья Гитмановна[211], скульптор, некрасивая, шепелявая – их сестра.

Они все погибли. Спасский – умер, вернувшись из ада. Софья Гитмановна тоже. Мария Гитмановна и ее муж – там погибли. Борис Гитманович тоже. Веронику четырех лет взяла к себе Клара Гитмановна, которая умерла недавно.

И вот она рядом со мной: юное лицо, кудри и глаза всех Гитманов и походка Спасского. Дитя лагерной пыли[212].

Так сводит с моим началом свои концы Ленинград.

15/XII 63. Москва. Думала на днях о том, почему дети, школьники, так плохо воспринимают литературу. В 12 лет плохо читают. Слушаешь – бессмысленные интонации, не улыбается смешному.

Это потому, что они читают на чужом языке. Русский литературный язык стал для них латынью. Пушкин, Тургенев, Чехов. Они знают слова: керосин, очередь, фамилие, со школы. А им дают «Песнь о вещем Олеге» и «Бежин Луг» (не говоря уж

о том, что программа игнорирует возраст). Тот разрыв между образованными и народом, о котором писал Герцен, огромен. Литература создавалась образованными для образованных – а теперь ее изучают дети народа. Да еще с помощью безграмотных учителей, которые, читая «Годунова», говорят «икон» вместо «инок».

Конечно, все можно было бы спасти наведением мостов. Наша редакция этим и занималась.

…И победил вовсе не народный язык, не язык просвирни, у которой призывал учиться Пушкин. С литературным и народным языком расправился язык бюрократии: радиовещания, газеты. И люди – дети – *его* воспринявшие, не могут читать «Бориса Годунова».

18/IV 64. Москва. Убывает, убывает, убывает зрение. Я как с горы качусь в черную яму.

Все неудобнее за работой. Все пюпитры – и старые, и новый, который заказал мне К. И. – не годятся. С них все падает, и я все равно на них ложусь. Все беру не точно: перчатки, перо, монеты, ложки и всё валится. Писать еще туда-сюда, но читать, делать выписки, искать карточки – мука.

15/IV была в ЦДЛ. (Обсуждение 4-х книг о языке). Меня хвалили юбилейно, и при том очень милые мне люди: молодые лингвисты. А я поглощена была тем, что, сидя в первом ряду, не вижу никого на трибуне, и во втором; и, выходя, спотыкаюсь на ступеньках, и гляжусь в пролет между колоннами, думая, что это зеркало.

29/VII 64. Переделкино. Пиво-Воды. Приезжал меня навещать В. Корнилов. Тогда деду уже нездоровилось, но он был еще на ногах, и он его зацапал и заставил читать стихи и поэму. Я не хотела, чтобы Володя читал деду поэму – утомительно. А он настаивал. Но до конца не дослушал – устал… Тут же пришел Паперный, с женой, дочкой и собакой и начал петь свои милые, острые песенки. Когда все ушли, дед стал бранить Корнилова (а накануне хотел писать о нем для «Лит. Газеты», о книжке) и превозносить Паперного. Меня поразило это. Как предпочесть поэту, искателю истины, обуреваемому «зудом правды», напрягающему все силы ума и души, чтобы понять действительность, разобрать ее до нитки, высекающему искры поэзии из ужаса и прозы жизни, брата Хемингуэя и Солженицына – как предпочесть ему порхающего, легкого как перышко, благополучного, изящного остряка!

Он мил, остер, талантлив, но для него игрушка – то,

что для Корнилова кровь и крик души.

4/X 64. Перечитывала – в поисках одной цитаты для Герцена – Гольденвейзера «Вблизи Толстого».

Я не религиозна. (Хотя Тусенька и утверждала, что да). Философия моя – если она у меня есть – такая: надо стать звеном. Стать в строй. Человечество строит культуру. Надо быть звеном в этой цепи. Вне культуры я ничего не люблю; в культуре люблю все, даже стихию. Ненавижу фашизм, потому что он против культуры. Граница борьбы в мире сейчас проходит именно такая: фашизм и антифашизм. Другой я не знаю. Фашизм элементарен, прост. «Простота всегда реакционна», – сказал Достоевский. Искусство – подлинное – направлено против однолинейности, элементарности – мыслей, чувств. Человек будущего – Герцен, т. е. великое соединение художества и этики. В нем каждая клеточка – культура, каждая клеточка – сложность. Я не знаю, идет ли человечество к прогрессу: XIX век культурнее XX, в нем не было Гитлера и Сталина, Освенцима и Колымы. Человечеству, как предсказывали Герцен и Толстой, грозит Чингис-Хан с телеграфами – мы его уже видели, он может снова придти – и Мао и Голдуотер – это разные формы фашизма.

Работа в искусстве – высший вид антифашистской деятельности.

Что такое мещанин? Человек, не чувствующий себя звеном в культуре – т. е. готовая почва для фашизма.

18/III 65. Переделкино. С месяц назад я попросила Копелевых[213], Гнединых[214], Фридочку (еще в больнице!) перечесть письма корреспондентов Герцена. Мне очень хотелось проверить, будет ли и им светить этот огонь, как светит мне, покажется ли он и им маяком.

Да, многим. Копелевы уже дают его своим друзьям, делают выписки…

Герцен был вынут из сознания нашей интеллигенции – сначала запрещением, потом – искажением (1912). Необходимо, чтобы снова загорелась его звезда.

28/III 65. А самое главное: я сегодня поняла, что *я* буду делать со своими дневниками.

Работа колоссальная. Но все равно – необходимо сохранить не только выдержки о Пастернаке, АА, Цветаевой – но и *ткань.*

Вот так.

1/IV 65. Дедово рождение.

Читаю Дневники. Да, их надо переписать – целиком или почти целиком – надо сделать это, пока я еще вижу. Но как зарабатывать деньги, чтобы и на это хватило – на это безделие.

18/IV 65. Читаю, читаю, читаю с упоением и печалью свои дневники и с неохотой от них отрываюсь. Поняла, что надо делать с ними. Надо их переписать, почти как есть, только опуская слегка «полуумную ежедневность». Сохраняя, но не в таком объеме, с выбором.

Надо на это лет 5–7…

И иногда писать примечания – потому что, ведь, многое я не могла записывать прямо, и записывала намеком.

В городе говорят, что на заседании в Академии поставлен был вопрос об исключении Ильичева[215], который сам сделал себя академиком. Затем диалог между двумя негодяями: Юдиным и Кедриным[216]. Юдин сказал, что, мол, теперь все сводят счеты с Лысенко, у которого много заслуг – а раньше его хвалили – и прочел выдержки из холуйской статьи Кедрина, старой, где тот восхваляет Лысенко; Кедрин доказал, что этот отрывок вставлен Юдиным, который редактировал статью.

Вчера мы с Оскаром Адольфовичем[217] ездили к Юлиану Григорьевичу [Оксману].

И туда и назад на метро – и долго по прямым улицам Юго-Запада. Когда шли обратно в полутьме – кругом шныряло юношество со страшными лицами – голодными, распутными, звериными. Мы говорили о молодежи, о преступности, о гибели. «Перерезаны провода культуры – сказал Оскар Адольфович – и в темноте идет поножовщина».

* * *

А сегодня ко мне приходил юноша из Института Физ. Проблем – за стихами Олейникова. Я дала, испытывая умиление и счастье. Надо восстанавливать провода культуры – и мальчики ищут и находят зарытые клады, затопленные в крови.

Вот и Митю моего воскрешают.

19/IV 65. Неприятное известие еще только тревога, еще только отдаленный тревожный звук, но попадающий в такое больное место, что сразу перехватывает дыхание. Позвонил мне С. А. Бондарин и, между прочим, сообщил, что из какого-то

журнала ему вернули заметку об Ахматовой, сказав, что вчера это было можно, а *сегодня* нельзя…

Что же случилось? Чем недовольно начальство?

Может быть тем, что за границей на всех языках напечатан «Реквием»? Но это давно известно…

20/IV 65. Неприятности продолжаются.

Мне пришлось отказаться от Фининой помощи[218]. Она почти каждый вечер приходила сверять цитаты в моей книжке «Былое и Думы». Мое библиографическое хозяйство в отчаянно запутанном виде. Всякая сверка и проверка для моего глаза – беда. И вот Фина взяла ее на себя. Приходила, часами проверяла выписки. Я с трудом прогоняла ее в 11 ч. вечера. Ей чем-то полюбилась эта работа – при совершенном невежестве она ведь тонкое, живое, умное, сердечное существо. И мне ее помощь была бы нужна и мила.

Полгода назад я нашла для нее англичанку, к которой Фина ходила два раза в неделю Ученье шло успешно, обе стороны были довольны. Но недавно Оскар Адольфович сказал мне, что по его наблюдениям, Фина бросила заниматься.

– Финочка, – спросила я – как у тебя с английским?

– Все в порядке – ответила Фина.

Не поверив, я через знакомых попросила ее учительницу позвонить мне. Оказалось – Фина уже 3 месяца к ней не ходит…

Сегодня мне позвонила Фина: «можно вечером придти работать?»

– Нет – сказала я. И вообще запретила ей приходить помогать мне. Выходит, что я одной рукой толкаю ее учиться, а другой – отнимаю время. Она стала уверять меня, что она не из-за меня не занимается, но я была непреклонна: если человек лжив, то с ним каши не сваришь…

И вот я осталась без помощи. (Помощь урывками – Люша, О. А. – мне тяжела и недостаточна). И вот я осталась без Фины, которая так хотела мне добра. И вот я отняла у нее хлеб, свет, в которых она нуждается.

22/IV 65. Очень осведомленный, всюду трущийся молодой человек сказал, что, по-видимому, начальство собирается исподволь начать реабилитацию Сталина.

Мне кажется, этого не выдержит мое сердце.

23/IV 65. Завтра моя тяжба с издательством «Советский Писатель». Состоится ли? Или снова отложат?[219]

* * *

На днях из Библиотеки Поэта внезапно получила предложение составить том: «Советская поэзия для детей». Сначала обрадовалась – работа, деньги! Потом задумалась о подводных камнях:

1) я – о Чуковском.

2) советская поэзия, а не русская… Значит переводы. Но мастерски переведены весьма немногие. Что же делать с десятками «Огнецвет», не стоящими и полушки?

3) как быть с Яковлевым, Баруздиным и прочими проходимцами, оседлавшими *нужные* темы.

4) Кому поручить аппарат? Самой мне всякая библиография непосильна. Володя Глоцер[220] отказался – очень мало платят.

5) Хотелось бы, конечно, заняться отбором *поверх* Детгиза. Соблазнительно – я бы выбрала как следует Маршака, Хармса… дала и Владимирова[221] и Введенского. Но ведь книга пойдет по рукам; уж Баруздин и Яковлев сумеют *вписать себя* (через Михалкова, через ЦК) – я откажусь – и будет *еще одна* неудача на моем счету…

Поговорю с Шурой, которая вышла из больницы.

Все мы инвалиды: я, Ваня, Шура. Туси нет, С. Я. нет. И смены нет.

* * *

Читаю Дневники. Сколько неудач, сколько тщетно истраченных сил:

Княжна Мери для Райзмана и Арнштама.

Шмидт для Арнштама.

«Анна на шее» для Райзмана.

«Былое и Думы» (для Детгиза).

большой Герцен.

«Хаджи-Мурат» (для Детгиза).

24/IV 65. В городе разговоры о беседе Твардовского с Демичевым[222]. Твардовский пошел к нему советоваться об ответе на гнусную и глупую статью Вучетича[223]. Тот ему что-то ответил на этот счет успокаивающее, а потом:

– Зачем же вы, т. Твардовский пишете в Чехословакию, что недовольны 2-м Съездом писателей РСФСР?

– Да ведь я писал друзьям, в интимных дружеских письмах!

– Что же вы – ребенок или член ЦК? Не понимаете, что письма читаются?

Ну да, как член ЦК, должен знать на зубок, что конституция, обеспечивающая тайну переписки – фиговый лист.

* * *

Фина приходит помогать. Она вернулась к англичанке. Оскар Адольфович в Гаграх, пишет роман. Раиса Давыдовна [Орлова] довольно бестолково записала мой суд – но все же дала основу, и мы вместе сделали толково: главным образом для Фриды и К. И. Фридочка называет Раису Давыдовну – мой эпигон.

Неизвестно будут ли они апеллировать.

Перечитываю урывками свои Дневники. Страшная беззащитная моя жизнь.

9/V 65. Ленинград. Вчера в своей речи Брежнев упомянул о Сталине, как о главе нашей обороны с первого дня войны.

Он и правда был главой. И весьма повысил нашу обороноспособность.

убил талантливых маршалов

убил миллионы невинных *вместо* шпионов, и потому шпионам было приволье.

оставил границу открытой, несмотря на предупреждение
позорно провел финскую кампанию.

Это всё *до*… А во время войны, думаю, тоже был на том же уровне. Война могла быть выиграна только *вопреки* ему.

25/V 65. Была у Юлиана Григорьевича. С ним чудеса в решете. Ему вернули почти все отобранные при обыске книги и рукописи. Пригласили на Лубянку, вручили все по описи (кроме писем Струве[224], Набокова и каких-то книг); затем полковник повел его к генералу, назвавшему себя его почитателем; генерал приказал доставить его домой на своей машине и чтоб шофер внес книги в квартиру[225]. Расспрашивали о здоровье. Вообще, судя по рассказу Ю. Г., они были жантильны, а он – резок и язвителен. Они уверяли, что к исключению из Союза, и вычеркиванью имени – непричастны, что это «другая инстанция». Весьма возможно: Поликарпов[226], ЦК.

Ю. Г. возбужден и болен – разыгрался диабет.

27/V. Переделкино. Прямоугольник памятника заслоняет вид и своей прямоугольностью противоречит пейзажу.

Звонила АА. Она завтра едет в Англию. Завтра вернусь в город и ринусь к ней.

А сейчас – легко и счастливо погружаюсь в тетради моего дневника, который почему-то лечит меня, сама не знаю почему. Скоро мне придется погрузиться в детскую литературу, отбор, переводы, статью – это *надо* – и надо выпутываться из большого Герцена, и вообще надо «жить», а мне бы хотелось только погружаться и погружаться в дневник, в свою любовь, в свои беды.

Читаю сейчас 56 год и все снова плачет и ликует во мне.

31/V 65, 4 ч. Вчера целый день и сегодня, читаю Дневники. Главное чувство – боль. Не бурная, не резкая, но все же боль. Радость или горе – все равно: боль. (Жизнь – это боль). Главная мысль: как хорошо, что это уже прошло. Или: неужели я это могла вынести?

По существу я уже понимаю, что*о* надо делать. (Кое-что надо изымать – скучное, малозначительное). Но технически – не пойму никак. Диктовать? Заболею. Дать машинистке в таком виде? Наврет. Переписать самой? Нужна еще одна жизнь.

Из-за этого чтения чувствую какую-то зыбкость, призрачность всего. Потому что я одновременно в 65-м и в 42-м и в 44-м и в 56-м… (Читаю не по порядку). И голос АА по телефону – живой, теперешний – не оттуда ли?

31/V 65. Москва. Перечитываю Дневники – проваливаюсь в свою жизнь, как в полынью.

24/VI 65, Переделкино. Неделю назад пропала девочка, 13 лет, Марина Костоправкина. лучшая актриса в театральном кружке, единственное одаренное существо среди библиотечных детей.

Сегодня в пруде нашли ее тело. Она изнасилована и убита.

По подозрению арестованы трое солдат, работавших неподалеку от леса, на даче Руслановой, и какой-то рабочий поселка, недавно вернувшийся из тюрьмы.

Клара Израилевна не позволила мне рассказать К. И., кто убит. Сказала просто, что «одна девочка, не знаю, кто». Мне кажется это неверно. Горе слишком велико, и он должен знать, что случилось вблизи. Надо было сказать ему, надо было, чтобы он написал два слова родителям, и уж во всяком случае, отменил очередной «Костер».

Послезавтра похороны, а после послезавтра «Костер»…

Потихоньку от К. И. я добавила денег на венок от него; Ольга Васильевна и Клара Израилевна снарядили библиотечных девочек с Геннадием Матвеевичем[227] в город – заказать венки и ленты.

Завтра уеду. Очень хочу подольше не возвращаться в это страшное место, зверское, темное. И пенье птиц кажется таким же фальшивым, как «Костер» и Библиотека, хотя и то и другое и третье делаются от всего сердца.

Истерзанный и убитый ребенок. Это делают люди, живущие среди нас. И они доведены до этого состояния с нашей помощью – колоссальной ложью предшествующих и нынешних годов – и во всяком случае при нашем попустительстве.

26/VII 65. Москва. Переписываю свой дневник 1938 г., ищу способа комментирования. Под строкой или после текста? Там ведь все зашифровано, многое я уже так прочно забыла, что и расшифровать не могу… В конце концов решила так: под строкой – мелочи, имена; после текста – подробные объяснения.

4/VIII. Переделкино. Не записала своевременно, что Фина, к моему великому сожалению, подала бумаги не на филологический факультет, а на журналистский (там меньше конкурс) и я, к моему великому сожалению, вынуждена была даже обращаться к Западову[228], когда у нее не брали бумаг (туда берут только тех, кто уже печатался; надо было это обойти).

На филологическом хоть Бонди читает, хоть Гудзий – а тут Западов да Архипов…

Фина уже писала сочинение. Тема: «Мой любимый журналист». Она писала о Герцене.

15/VIII 65. Е. С. Вентцель[229] принесла мне «Ни дня без строчки» Юрия Олеши. Многим книга эта чрезвычайно нравится: Ивичу, Шкловскому, Вентцель… Она все повторяла: «технология». Однажды в Переделкине я хотела начать ее читать, увидев на столе у деда. «Не стоит, – сказал он – препустая книжонка».

Я прочла. Мнение мое об Олеше всегда было двойственным – таковым оно и осталось.

Это писатель не русский. Разумеется, для иностранца это не порок; я не жалею, что Флобер – нерусский. Но для русского писателя это порок безусловный.

Мир его мне чужд (и это не его порок, а мой). Наполеон, футбол, борцы, циркачи… Не люблю. Это мир интересов подростка, который никак не может стать взрослым. (Я люблю маленьких детей и люблю юношей; мальчики-подростки мне наиболее чужды).

В его творчестве поражает разрыв между уровнем духовных интересов, которые бедны и узки, и изобразительной силой, которая мощна. Он мощен в изображении предметов и зверей. Читая про бабочку, крысу, павлина, львиный рык, шиповник, лунный свет – хочется воскликнуть: вот здорово.

В общем стилист он плохой; язык знает поверхностно, литературно, как одессит, воспитывавшийся на «Ниве»; уровень знаний о литературе – тоже невелик; множество неряшливых фраз, рифм, уродливых форм… И вдруг взлет, прыжок вверх: метафора, сравнение. Это великолепно, это ярко и пронзительно, как молния. И – всё. И более ничего.

Олеша, конечно, художник. Но он писатель маленький, а не большой, сколько бы его не раздувал Шкловский. Он сохранил до старости не юношеское и не детское, а подросточье отношение к миру. Бой быков. Футбол. Ему самому оно чувствовалось как убогое, недостаточное; от этого распутство, пьянство, литературная импотенция и маньяческие «поиски фразы». Да, все великие искали фразу: и Толстой, и Чехов. Но она рождалась из потока чувство-мыслей, а не из желания здорово писать во что бы то ни было. Чтобы найти фразу, они опускаются в стихию родного языка и внутрь своей души, а Олеша этой стихии совсем не чувствует, а душа его – мелка.

Я думаю, ничему уже никогда не в силах буду обрадоваться.

Но обрадовалась Фининой пятерке по истории и тому, что с помощью мобилизованного мною Западова, она *может*

быть попадет на этот мерзкий факультет.

18/VIII 65. Сегодня Раиса Давыдовна попросила у меня Фридины книги. (Я рекомендовала ее в качестве автора статьи о Фридочке для нового журнала «Детская литература»). Взяв в руки одну из книг, я прочла надпись:

«Да другу хуже будет без меня» июнь, 64.

Надпись эта была вызвана не сознанием приближающейся болезни, а сделана была ради ненаписанной предыдущей строки («Изведав все, не стал бы жить и дня»[230]).

Хуже, хуже, да, Фридочка, хуже без вас, совсем худо.

21/VIII 65. Все эти дни запоем читала «Воспоминания»[231]. Сильная книга. Местами *дорастает* до прозы; на ¾ – небрежно, недоработано, неряшливо, как она сама. И умно, как она сама. Разумеется, мания величия налицо; отзывы о людях очень несправедливы и зиждутся на том – кто давал деньги, кто не давал. Но все общее умно и важно. И памятливо.

24/VIII. Сегодня мне попался Смеляков и от нечего делать я его прочла. До чего же это скучно (хотя он и не бездарен), до чего без всякого вкуса:

платьице *по*шито
лапушки *по*мыты

и какая скука! Как он сам не понимает, что все о чем он пишет – сплошные мнимости, прошедшее, что ничего этого уже нет…

Был у меня на днях В. Корнилов, принес письмо и стихи. Вот у этого сокола есть будущее, он живет не мифами, а реальностью.

29/VIII. Вживаюсь в одиночество, в одиночное заключение, теряя счет дням.

По-видимому, им – а сколько оно длится я уже не помню? – одиночеством почти круглосуточным я кажется более или менее привела в порядок сердце.

Немного работаю над дневником 38–39 г., немного почитываю для «Антологии детской поэзии», много лежу, много слушаю музыку. Конечно, аритмия не прошла, но слегка угомонилась.

После Фридочкиных похорон я один раз выходила в Сберкассу, один раз на такси ездила к Гнединым. Это всё.

Где-то деревья, где-то люди, работа, любовь.

Все прошло. И Фрида не позвонит, не окликнет меня, не ответит мне.

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя…[232]

Скоро начну перечитывать ее письма. Она в письмах не очень выражена – меньше, чем Туся, например. Более всего в отношениях к людям и с людьми, а затем в Дневнике и в Блокнотах, которыми я горжусь, потому что по слову моему и с моей помощью она их осуществила, создала. (Блокноты). Она любила меня и безмерно мне верила.

Сказала недавно:

– Вы для меня роковой человек, человек судьбы. Многие мне были ближе, а вы вошли в мою жизнь и перевернули ее (слова мои в 42-м в Ташкенте).

Скоро, скоро месяц со дня ее смерти…

1/IX 65. Кончился, кончился роковой август.

В Переделкино я опять не поехала. Опять были сильные перебои, бессонная ночь, аритмия возобновилась с новой силой. Опять доктор и лежание.

Когда же я увижу деда?

Третьего дня вечером были у меня Саша и Изя[233].

Саша перешла в другой возраст. Грустна, серьезна. Ничего детского. Они привезли мне мои письма к Фридочке, мои рукописи, документы по делу Иосифа.

Саша спросила:

– Л. К., как вы думаете, что означает мамина фраза: детские дневнички – вам?

(Это мне сказала Фридочка, при Изе, накануне операции, в больнице: «если со мной что – детские дневнички вам»).

Эта фраза имеет, разумеется, только один ясный и точный смысл. Но я ответила:

– Мама знала, как я люблю эти Дневники – считаю их лучшим ее произведением… Вероятно она хотела, чтобы я была их шефом, их опекуном, что ли…

Затем я объяснила Саше и Изе, почему я так настаивала (вызвав к себе на днях Раису Ефимовну Облонскую) на скорейшей разборке архива.

Сильное впечатление: мои письма к Фриде.

Я хотела уничтожить их и половину уже спроворила в мусоропровод. А потом – зачиталась. Там множество фактов

из моей и Фридиной жизни, которые я начисто забыла. (Я забыла свою жизнь…) И я сохранила их.

В папке множество документов для книги.

Радость: Фину приняли в Университет. И даже – колдовством Западова, вероятно – в какую-то интересную, не газетную, группу. С изучением шведского языка – что очень на руку, ибо Оскар Адольфович знает шведский и может ей помочь.

Сегодня начинается ее новая жизнь. Если бы ей повезло в товарищах и учителях! Если бы она приобрела дисциплину труда, вкус к работе.

А кругом дурные вести: в Ленинграде аресты молодежи. Ищут какой-то «Колокол», рукопись Гинзбург[234], пленки с песенками Галича… И доклад Агамбекова (экономический)[235].

Как глупо! Ведь прекратить переписывание уже нельзя. Не разумнее ли было бы *напечатать?*

18 октября 65. Читаю и сортирую Фридины письма. Почему-то нету 59, 61 и 62 г. г. Наверное были засунуты куда-то не туда, и я не нашла их.

В 57 г. строки: «Если я умру, свои детские дневники я оставляю Вам, ладно. Не Норушке[236], а Вам. Она никогда не сможет отнестись к ним, как к чему-то стороннему, а Вы, хоть и любите всех нас, сможете».

Письмо от 26 июля 57. Письмо о платьице, шутливое. И вдруг: «Теперь о деле. Если я умру…»

Тогда она была цветущей, молодой.

То же завещание она повторили мне в больнице, в январе 65, накануне операции. Его слышал Ис. Абр. Меня о нем спросила Саша – после смерти Фриды.

21/X 65. Комарово. Сегодня, не выдержав тревоги, позвонила в Москву Копелевым. Как я и боялась, они до сих пор не были у деда в Барвихе, до сих пор не получили и не выслали характеристики! Они попробовали действовать через Геннадия Матвеивича и Клару – а на воду опираться нельзя… Как я знала всё наперед, уезжая… Уже неделю грызет меня эта галиматья (Чуть только Иосифа [Бродского] выпустили – все кругом почему-то размагнитились: и Копелевы, и Гнедины, и, я чувствую, Эткинд[237]). Но я еще не исполнила обета, данного над Фридиным гробом: выпрямить эту судьбу.

Раиса Давыдовна обещала, что завтра поедет в Барвиху и, послав справку, даст мне телеграмму.

Работаю. Сделала первоначальный набросок – плохой, вялый,

пустой, бедный… Завтра начну наполнять.

Гуляю мало. Из людей кругом мила и интересна одна Л. Я. Гинзбург. Очень мила Л. А. Будогоская, но от бедности и болезни она как-то совсем одичала. Склероз уродует ее. И нищета. И что-то еще – не знаю что. Она живет без книг, без стихов, без большого искусства. Она слушает только природу и ту музыку, которая играет в ней самой. В ней есть что-то темное и дикое. Может быть таким и должен быть художник?

11/XI 65. Опять Комарово. Утром 5/ XI, когда я стояла голая перед умывальником, т. е. в 9 утра, стук в дверь – намазанное лицо подавальщицы: – Вас вызывает Москва.

В халате и платке, полуголая, бегу по двору в столовую. По пути: дед заболел? Люша? Радость (их могло быть две…)

Люшин бодрый голос. – как ты себя чувствуешь?.. И я хорошо… Я перевела тебе по почте твою пенсию… Ее принесли раньше времени… Знаешь, у нас несчастье: умер Коля…

– Какой Коля? (!!!)

– Наш Коля… И дед, и я, и Марина просим тебя не приезжать…

Я выехала через час, позвонив Шуре, чтоб через Союз попыталась, вопреки праздникам, достать билет. Меня сопровождал в Ленинград до такси только что явившийся в Комарово Дар![238] До станции – Будогоская и Б. Я. Т., приехавший ко мне с моей рукописью, хотя я и просила без звонка не ездить.

К Шуре. Все удалось: и билет на дневной поезд, и такси на вокзал.

В поезде (добавочном перед праздником) холод, трое детей возле, хлопающая возле и дующая морозом дверь. Мальчишка вешается на ручку, тянет пальцы в щель – вот-вот прищемит.

На вокзале неожиданно Люша. Я не давала ей знать, но она как-то узнала.

Очень нежна и заботлива.

С машиной Женя[239].

Накануне утром ездила с Кл. Изр. и Митей к деду в Барвиху – сообщить.

Звоню Марине – голос возбужденный. Коля в морге на вскрытии. Похороны утром 6-го.

Утром – Люшина энергия: ленты, венки, цветы, звонки, распоряжения. Она покупает все для поминок, гоняет мальчишек на машине, но в основном они дежурят при матери. Она не плачет, но беспрерывно говорит и мечется.

Коля скончался 4/XI, днем, после обеда. Лег отдохнуть на часок, ожидая машинистку. Были какие-то тихие гости и малыши. Марина охраняла его сон. Когда пришла машинистка, Марина к нему вошла. Он лежал мертвый.

Врачи отказались выдать справку. 5-го весь день Тата хлопотала о разрешении похорон без вскрытия. Не позволили.

Дня за три – по повестке о диспансеризации – он был в Поликлинике. Все анализы, рентген и кардиограмма благополучны. Заключение врача: Состояние хорошее, жалоб нет.

Вскрытие показало разрыв аорты от очень легкого спазма. Аорта вся изъязвлена, аорта и мышца – тряпочки. «Сердца у него уже собственно не было – сказал анатом. – Жить он не мог»… Мозг же свеж и здоров.

На сердце он никогда не жаловался. Любил жару, юг, жару в комнате; так любил, что даже уходя гулять в Переделкине, не разрешал открывать форточку в накуренной комнате. Выкуривал пачку папирос в день… Бывали легкие мозговые спазмы. Узнав о его внезапной смерти, я подумала: инсульт.

И вот – похороны.

Опять – похороны. В Союзе. Опять.

Но это вовсе не опять. Все другое – и внутри и снаружи.

Внутри – ни слезы. Колю я для себя потеряла давно, еще где-то в детстве; тщетно пыталась иногда пробиться к нему, найти его для себя, в юности, в молодости, еще не понимая глубины рубежей.

В последние годы, московские, его совсем не стало для меня. Он был чужд всем людям, мыслям, страхам, которых я люблю. Он не терпел СЯ, не любил и не знал Тусю, умудрился не любить Фриду. Тягот переделкинского дома не нес («моя хата с краю» говорил дед), у меня не бывал. Мы встречались *только* на даче; я с равнодушным интересом слушала его умные застольные беседы.

С Мариной я была связана дольше, хотя всегда физически страдала от шумности, скороговорки и душевной плоскости. И вот – дивная музыка (играет Юдина) просторный зал в Союзе, много народу, цветы, венки, и я стою у гроба позади нее, Мити, Гули, Таты[240], рядом с Люшей, Инайкой, Машей[241].

– Помни, что это только спек-так-ль – говорит мне Марина крупным шепотом.

Она не плачет. Загорелая, красивая, моложавая.

Речи.

Суркова нельзя слушать – вспоминается Ираклий. Каждая интонация пошлость. Обращаясь к Коле, он один раз назвал его

«Николай Константинович».

С. С. Смирнов – не помню уже.

Атаров. Умно, талантливо, тонко, точно. О Колиных знаниях – исторических, географических. Это правда – богатые были знания. О его любви к стихам, к литературе, о трудолюбии. Это все правда, хотя только в юности мы любили те же стихи, а в последние годы он любил ненавистного мне Мартынова… О его переводах. (Иногда – хорошие). О его книгах (не люблю, хотя «Балтийское Небо» лучше других). О воспоминаниях (это лучше и имеет цену; он не художник, он литератор).

О его интеллигентности. О том, что он был настоящий русский интеллигент. (Сейчас начальство уже дало знак уважать интеллигенцию и Атаров этим воспользовался).

Верно ли это?

В смысле познаний, в смысле тонкости – да. На фоне Кожевникова, Кочетова, Бубеннова, конечно – да.

На самом деле – нет. Потому что русский интеллигент это не только ум общества («интеллигенция должна думать; перестав думать – она перестает быть интеллигенцией» сказал Атаров), но и совесть общества.

А Коля на это не тянул.

Он хотел карьеры, поездок за границу, членства в Правлении, денег. Он боялся.

Дело Пастернака – Коля выступил за исключение… Дело Оксмана – Коля исключал с ражем… Пленум ЦК по разгрому литературы весной 63 г. – Коля по радио восхваляет решения…

После Атарова – Левик[242].

Бестолково, но сердечно.

– Таких похорон, таких слов никогда не было, – шепчет мне Марина.

И я не смеюсь. И серьезно отвечаю «правда».

– Ты читала заметку Мартынова в «Лит. Газете»? – шепчет Марина. – Так никто никогда ни о ком не писал. Правда?

И я отвечаю: Правда.

Она уже не думает, что это спектакль. Впрочем и Атаров, и Левик, и С. С. Смирнов огорчены в самом деле, и многие тоже. Они горюют, лгут, а Мартынов написал нечто трафаретное и заурядное. Хорошо, что она этого не понимает – видно не знала никогда настоящего дружества, настоящего горя друзей… Ее утешает и этот суррогат. Пусть.

Панихида кончена.

Подходят люди. Тенишевцы: Леля Арнштам, Сима Дрейден. Потом: Барто, Михалков, Кассиль. Эти наверное пришли, чтобы почтить деда.

Конечно, Толстая.

Меня почему-то целует Михалков… Гадко.

(«Мне стало очень гадко», – сказала бы Фрида).

Прощаемся. Я целую холодный лоб.

Идем к машинам.

Ивич. Ваня.

Меня посадили в машину к Геннадию Матвеевичу, я жду наших. А они все садятся в автобус. Я выскакиваю, ищу Лелю, Ивича, кого-нибудь, но нахожу только Ваню. Еду с ним.

Новодевичье. Очень хочется на Тусину могилу. Но нельзя. Холод, стужа, ветер. Чего-то ждут. М. В. Юдина спрашивает у меня, отпели ли Колю.

Митинг продолжается. Выступает Л. Левин. Неглупо и с любовью.

Могильщики роют яму. И вдруг Марина начинает громко восклицать: Боже мой! Боже мой! Я пугаюсь. Оказывается: могила для Коли вырыта рядом с могилой Поликарпова. Она в отчаянии.

Это конечно случай. Просто – следующий именитый покойник. И конечно Коля терпеть не мог Поликарпова. И все-таки – в этом случае есть как бы некое наказание: за Пастернака, за Оксмана…

Все кончено. Идем к машинам. Долго ищем и не находим Юдину.

С трудом влезаю на лестницу. Как он тут бедняга ходил, Коля – без лифта. Сутолока. Терплю – хочу, чтобы Марина и дети не были бы на меня в обиде. Что-то ем. Рядом со мной – Симка, Иника[243]; тут же Зоя Козакова [Никитина], Ида Слонимская, Левин, Смирнов, какие-то мне неизвестные дамы. Марина говорит без умолку.

– У меня золотые дети. Выпьем за моих детей. Как они нежны ко мне, как заботливы. Митя опять Тюляляйчик. Маленьким его звали Тюляляйчик. Митенька, Тюляляйчик, пойди сюда…

Рядом со мной Иника. Старая, седая, в морщинах (как и я); она выглядит Марининой мамой. Марине больше 42 не дашь (ей 60); а Ирине – меньше 70.

Я скоро ухожу, меня провожает Сима. Люша остается мыть посуду, помогать по хозяйству. Она очень добра; она жалеет деда, Марину, меня, мальчиков; кроме того, вся эта хлопотливая деятельность что-то в ней заполняет.

* * *

Кому плохо сейчас?

Деду. Марине. Мите.

И всем по разному.

В последние годы дед был сильно Колей недоволен. «Приезжает сюда, как в гостиницу». «Только требует, ничего не дает. Не платит слугам, не помогает мне платить за дачу. Они с Мариной скупы. Коля не хочет помочь мне поставить памятник бабиньке».

Тем не менее, дед его конечно любил. Из писаний – любил переводы и кое-что в воспоминаниях.

Сейчас он потрясен. Нас было четверо. Осталась я одна. Он потрясен мгновенностью. Он винит себя в невнимании, в брюзжании.

Тем не менее, он горе это перенесет и быстро. Потому что с Колей из его жизни ничего не ушло. Кроме разве интересных застольных бесед.

Митя, грубовато и капризно относясь к матери, как к надоевшей няньке – обожал отца, который гораздо меньше возился с ним, чем мать. Нагло отвечал по телефону, когда она звонила ему к деду на даче, бегал от нее. Отец же, мало уделявший ему внимания, был в его глазах самым умным, самым образованным, самым талантливым. «Папа говорит, что…»

И вот папа мертв.

Для Марины горе тяжелое. Потому что тут не только любовь, цельная, с юности, но и ежесекундная деятельная забота. Человек небывалого здоровья, феноменальной энергии, цельности, она всегда, а в последние годы, когда дети выросли и разъехались, отдавала ему все силы – сама стряпала, подавала, покупала, звала портных и т. д. Заполнить пустоту будет ей теперь нелегко. Если бы она взяла на себя дачу! Но этого она не захочет – да и не захочет дед, который от нее устает.

13/XI 65. Вечером Марк Поповский в читальне сделал двухчасовый доклад – по изученному им делу НКВД и Прокуратуры о гибели Вавилова и его Института.

Т. к. этот человек 37–38 гг. не пережил – методы убийства Вавилова и уничтожения его Института кажутся ему уникальными.

Между тем, слушая его, я все время думала об уничтожении нашей редакции. И у нас были свои Лысенко и Презент; намечено было убить Маршака и уничтожить дело; Маршак был спасен случайно (кажется Молотовым); дело уничтожено; расстреляны многие (и, я убеждена, по этому же делу – Митя).

Я посоветовала после Поповскому не читать таких докладов, чтобы не мобилизовать всю черную силу; важнее написать *книгу* со всеми документами. Это надежнее.

I/XII 65. Прочла Вл. Набокова «Другие берега». Талантливо и противно. Никого не любит, кроме отца, ничего, кроме барского дома и бабочек, людей презирает отчаянно. Он из тех, кто так и умрет, не догадавшись, что в мире, кроме него, существуют другие люди. А еще за что-то любит русскую литературу.

Любимая девушка, Тамара, описана, как заманчивый бутерброд с килькой.

28/XII 65. Кругом – разговоры о деле Синявского. Люди меня раздражают. Никаких уроков истории. Как в 37-м отделывались от всего подлой фразой: «лес рубят – щепки летят», так теперь, уверовав в официальную версию, что Синявский – А. Терц (хотя суда не было еще) повторяют: зачем выносить сор из избы. Очевидно, чтобы в избе было чище…

8/I 66. Москва. Мечусь. Работаю плохо и мало.

* * *

Виделась в Поликлинике с Поповским. Мои пророчества сбылись быстро. На днях было объявлено в Союзе его выступление (доклад о Вавилове). За день – отменили. Вызвали к Ильину[244]. Некто из Горкома. В качестве кого-то мой негодяй из «Сов. Писателя», Росляков[245]. «Зачем сыпать соль на раны» и пр. Груды анонимок и подписанных писем из Ленинграда с протестами.

Получила письмо от Френкеля[246]. Издательство не хочет страниц о Митиной гибели.

Все одно к одному. Вторично убивают тех, кого убили в 37-м. Чтоб ни памяти, ни имени, ни слезы, ни проклятия убийцам.

* * *

В Лавке Писателей получены Цветаева и Заболоцкий.

Вот какие два поэта вошли сейчас в дома… Как бы они ни были урезаны – это праздник.

14/I 66. Москва. Гнусная статья Еремина[247]. Опытный палач – мы когда-то отвечали ему с трибуны (Фрида, я,

Каверин) – когда он кинулся на «Лит. Москву»[248]. И вот он опять «при деле».

20/I 66. Переделкино. Вчера хорошо работала над своей – не знаю чем – своим писанием о Фридочке. Настоящим, не «для Детгиза».

Во время работы мне понадобилась статья Цветаевой «Искусство при свете совести», о которой когда-то говорила Фрида. Я перечла эту гениальную статью. Сколько там для «Моих Чужих Мыслей». Сколько родственного моим мыслям и чувствам о творчестве. Поэт – спящий. Да не только поэт. Творчество есть сосредоточенность – всякое. Отсюда мое «погружение», «спуск». Соотношение между волей и сном… Все удивительно.

Для работы над «Антологией детской поэзии» перечитывала статью Маршака. Бедный С. Я. Как много он понимал – и как не понял в своем времени основного. Статья о небратскости Фета – с цитатой из Достоевского. Но и сам С. Я., поступая с людьми по-братски (заступался за Митю, за Шуру и Тусю в 37-м), в своей поэзии на 37 г. не откликнулся ни звуком, ни криком, ни стоном. О Лиссабонском землетрясении он промолчал – а был его свидетелем.

И второе. Он пропустил мимо ушей всех поэтов начала века – всех, кроме Блока – т. е. Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Пастернака. Он говорит, что всерьез откликнулся на войну 14 года только Блок. А Цветаева –

> ах, и поют же
> Нынче солдаты…[249]

А у Ахматовой – «Лето 14 г.»?
Опять не разобрался – кто брат времени, а кто нет.

27/I. Дописала письмо в «Известия»[250] [О Синявском и Даниэле] – переменив многое по указанию юриста (через Володю Корнилова). Ссылку на конституцию заменила ссылкой на Горкина[251].

Вчера Геннадий Матвеевич послал заказным.

Суд над Синявским и Даниэлем, говорят, состоится 10/II. Это лежит на душе камнем. Меня по рукам и ногам связывает то, что я не в силах понять, в чем там дело, кто, зачем и почему. Не верю, что Синявский = Терцу. Если он Терц, он мне мерзок. И зачем это дамское рукоделье печатать за рубежом? К чему? И чем оно там интересно? Здесь – ничем; если бы «Фантастические повести» продавались свободно, их бы никто

не читал.

А сажать в тюрьму и отдавать под суд людей, чтобы они не писали – гнусно.

Вот и живи и поступай, как знаешь.

3/II 66. Москва. В Переделкине – один вечер, когда еще только приехала и была здорова – виделась с Копелевыми и от них, как всегда, множество сведений. В частности: написали прокурору основания для обвинения пятеро – Сергей Антонов (это мне ново), А. Барто, С. Михалков, Сучков, Корнейчук.

Кома[252] хочет написать что-то для защитников.

А я ничего не хочу; испытываю отвращение от приближающегося, на всех надвигающегося суда. Да еще говорят он будет в Клубе. Нам в назидание.

10/II 66. Москва. Мрачный день – суд начался – и светлый день: за ту неделю, что я дома и больна (аритмия разыгралась), я кончила первый круг, первый черновик писания о Фриде.

Лев Зиновьевич, по просьбе жены Даниэля, написал разбор книги «Говорит Москва» – для защитника. Он прав, это надо. И Аржак кажется лучше Терца. Но почему-то – почему, сама не знаю – не лежит, не лежит у меня к этим людям душа.

Я *против* Еремина, но не за них…

16/II 66. Прочитала 100 страниц рукописи Р. Орловой о Дж. Лондоне, которого терпеть не могу. О «Мартине Идене». (Терпеть не могу физического мужества, отсутствия одухотворенности. Тут где-то недалеко от фашизма.)

Суд. Три – или четыре? – дня длился этот пустой, злобный, неправый суд. До приговора у меня все-таки была надежда, что облив их грязью, им дадут наименьшую кару. Ничуть не бывало! Вопреки протестам писателей всего мира – 7 лет, 5 лет. Что бы они ни писали – как поднимается рука интеллигентных людей лишать письменного стола, отдельной комнаты… Ведь они – не Иваны Денисовичи, для них лагерь – убийство.

«Фантастические повести» Терца – единственное, что я читала – мне противны, отвратны. Но Еремин, Кедрина, Арк. Васильев – отвратнее намного.

24/II 66. Москва. Слушаю протесты всех коммунистических партий мира против суда.

Они еще, кажется, здесь…

Евгений Александрович Гнедин рассказывал об обсуждении книги Некрича в ИМЭЛ'е[253]. Было человек 400. Нападал Деборин[254], т. е. пытался опровергнуть антисталинский материал. Ему отвечали бурно и дружно самые разные люди, в том числе и полковники.

Вышла моя книжечка о «Былом и Думах»[255], Ника принесла мне сигнальный экземпляр.

28/II 66. Не отмечено десятилетие со дня XX съезда. Со дня воскрешения миллионов полуживых людей.

Но отмечено 75-летие со дня рождения Жданова…

Таковы наши перспективы.

9/III. Новая эпоха – живем без Ахматовой.

Раиса Давыдовна привезла меня в морг проститься с ней – мы опоздали. Гроб уже был оцинкован.

Все делается с необычайной торопливостью – по распоряжению Воронкова[256]. И в Москве, в Союзе, не было гражданской панихиды. И все время все меняют – когда? где? не нарочно ли?

И все это все равно.

* * *

Люшенька по телефону прочла мне телеграмму, которую. послал в Ленинград К. И.

«Поразительно не то, что она умерла; поразительно то, что она жила среди нас – прекрасная, гордая, величественная, бессмертная при жизни».

14/III 66. Читаю, т. е. перечитываю, В. Розанова – «Опавшие листья». Что за преступная, гнусная, грязная книга. Все мне в ней мерзко: антисемитизм, антигерценизм, помешательство на поле, церковность, царизм… И вдруг, среди гноя, такое понимание любви или стиха… Удивительно.

И очень меня интересует эта форма.

21/III 66. Раиса Давыдовна принесла мне на подпись обращение группы писателей – кому? забыла! – с просьбой дать нам Синявского и Даниэля на поруки.

Я подписала: дело правое. Но – боже! как малограмотно сочинено это послание. «Процесс над»… Одна фраза такова,

что не доищешься смысла… Писатели здесь совершенно на уровне тех бюрократов, которые против них выступают. Глухота к слову поразительная. А говорят – редактировал Кома.

24/III. Вечером была Раиса Давыдовна с букетом пионов и букетом рассказов о том, как кто подписывал нашу бумагу. Всего 63 подписи.

Отказались: Мотылева, Алигер. Ну, разумеется. Я удивлена, что им предлагали.

Потом еще подарок: музыка с 12 до 1 ночи: Рихтер, исполняющий Шостаковича.

Все эти дни занималась Дневником. 38-й, 39-й расшифрованы, но требуют дальнейших комментариев история Майслера, история Мирона. Пишу с упоением[257]. Хочу доделать эти 2 года и дать машинистке.

31/III 66. Начался съезд[258].

Психов велено на это время не выпускать из больниц.

Речь Брежнева – не угрожающая. О Сталине ни слова.

Что стоит за предложением Егорычева – восстановить названия Генсек и Политбюро – непонятно. Я бы не восстанавливала: очень дурные ассоциации.

Читаю переписку Горького с Андреевым[259]. Горький в них несимпатичен, а Андреев – очень. Мягок, добр, любящ. Некоторые ответы Горького поразительны по душевной грубости и глухоте. И в смысле литературной чуткости Андреев был острее: Горький еще не понял величия Блока, Сологуба, а он уже понял.

Вообще со стихами у Горького беда: не полюбил ни Блока, ни Ахматову, ни Пастернака, ни Мандельштама, ни Цветаеву… Видно нельзя безнаказанно любить Муйжеля.

Редколлегия «Огонька» (Софронов) решили вынуть из I тома Гашека предисловие Копелева. В сверке. Почему? А потому, что Копелев.

Я советую ему подать в суд.

Жена Синявского вернулась со свидания[260]. У него фурункулез. Оставить ему еду не позволили. Работа: сделать 34 ящика в день. Он не может. Ему помогают баптисты. Уголовников нет – одни баптисты и бывшие полицаи. Даниэль за 18 км.

Больно за них.

Даниэль – грузчик, а у него – искалеченная рука…

15/IV 66 ночью. Кратенько, как говорится.

Вчера мне позвонил Иосиф [Бродский] (он здесь уже дня 3) сказал, что придет сегодня утром, чтоб рассказать о кознях Пуниных против Толи[261], предостерег меня очень жарко против Ани[262] («ничего не давайте ей»), но не пришел. После него взяла трубку Нина Антоновна [Ольшевская] и сказала – мучительно, с напряжением – что собирается к Суркову, чтобы разъяснить ему козни Пуниных и заступиться за Толю. Сегодня вечером у меня была Аня. Привезла мне копию документа, озаглавленного «Для Лиды». Это документ важнейший – ее ответ издателю I тома – но Аня переписала его очень плохо, не разбирая текста, и при этом на гнусной мелкой машинке. Необходимо мне получить фотокопию и увеличить ее. Со мной была очень любезна. Сказала мельком, что Берггольц звонила Ирине Николаевне и ругая ее по матери требовала, чтобы ее включили в комиссию. Она, кажется, включена, а с нею Дудин (!) и Шефнер… Околесица!

(Включить надо было тех, с кем АА любила работать (Л. Я. Гинзбург, отбиравшую «Из 6 книг», М. С. Петровых, составлявшую «Лягушку», меня – «Бег времени», Толю, Нику[263], Володю Муравьева…)

Вчера ко мне явились Поповский и Ваксберг и попросили написать письмо[264]. Напишу.

20/V 66. Москва. Опять и опять – XXX том Герцена. Дом, где он умер. Последнее письмо. «Умора да и только». Последняя телеграмма: «Большая опасность миновала».

Я хотела бы написать книгу: последний год жизни Герцена.

Ясное, жесткое, беспощадное зрение. Бесстрашное. Короткие, ясные, резкие письма. Остались в нем любовь и сила – и никаких утешений и иллюзий. Наверное это и есть смерть. В 52 году о том, что он окончен, он говорил еще патетически и картинно. В 69 – сухо, трезво, точно. Без пафоса. Деловито.

Ни во что нет веры. Ни в кого. О Тате. «Я люблю ее быть может больше прежнего, но веры нет».

Огарев снова предлагает «Колокол». – «Нас никто не хочет читать».

В последние дни в Переделкине читала «Записные книжки» Блока. Тоже страшноватое чтение. Ужасна воистину его любовь к Л. Д. Непостижимо быстро прошедшая к Дельмас. Какое-то его зверство в любви.

26/V 66. Москва. Как одолевать болезнь?

Вчера наконец послала свое письмо Шолохову за своей единственной подписью. Могла бы гораздо раньше, но некому

везти машинистке, некому переносить поправки, клеить конверты. Фина исчезла вообще, а Люша по горло занята НЕ моей рукописью.

Ходила на почту – сверх сил. Гроза. Люша, как в детстве, примчалась с зонтиком выручать меня от дождя.

Я послала в «Правду», «Известия», «ЛитГазету», «ЛитРоссию», «Молот», три правления Союза Писателей и т. д.

От И. Н. Пуниной открытка в ответ на большое мое письмо об архиве, Эмме Григорьевне, Толе – «я сейчас не в силах сосредоточиться».

На Широкой отбирают комнату. Вчера я звонила и Марии Сергеевне, и Копелевым, во всякие места, давала всякие телеграммы.

«Там тень ее осталась и тоскует»[265].

Но конечно все это пустяки по сравнению с судьбой архива.

10/VI 66. Пиво Воды. За это время – многое.

Доброжелатели мои мне сообщили, что Михалков в разговоре ругал меня непечатно: «Она все получила от Советской Власти, а делает гадости». Не знаю, имел ли он в виду выход «Софьи Петровны»[266] или письмо Шолохову.

Все 63 члена СП, подписавшие письмо о помиловании, получили из Союза нечто вроде выговора. И К. И. (Я ему не показала пока).

28/VI 66. Москва. О Юлии Даниэле дурные вести. Он снова в карцере.

Прочла Катаева «Святой колодец» в «Новом Мире».

Великолепная проза. И пустая (какая разница с «Раковым корпусом»). Прочитав, я как-то по-новому поняла путь – его и Олеши. (Они сродни.) Глаза художника у обоих. И ничего не жжет, не о чем писать. Вещи – все вещно – все живописно. В начале пути они взяли идею напрокат. Она помогла им одушевить и осмыслить живопись, дала повод описывать вещи. Идея подломилась. Писать стало не о чем, не на что низать свои бублики.

10/VIII 66. Пиво-Воды. Сегодня мы ее хоронили. Год – той жаре, тем слезам, тем речам[267].

А я сижу сегодня целый день над новыми страницами «Памяти Фриды». Как всегда тот же просчет: думала – ну час, ну два, уйдет на эти странички, а ушел день и наверное завтра

уйдет второй… Радость! Будь счастлива тем, что еще можешь работать. Над Фридиным памятником. Сегодня спорила с Норой Яковлевной и Раисой Ефимовной[268] о надписи. Они хотят написать на могиле девиз, который Фрида знала и любила: «Говори, что знаешь, делай, что должно и будь, что будет». А я против. Он слишком романтический и 18-летний, он ей не соответствует. Сколько раз она меня останавливала и удерживала вот от этого: «говори, что знаешь и будь, что будет!»

Она была осмотрительна, трезва – и *этим,* в сочетании с добротой, благородством, самоотверженностью – этим одолевала препятствия. А вовсе не так: зажмурив глаза – в пропасть.

21/VIII 66. Какие на свете бывают чудеса!

Дней 6–7 назад, в такси, я сочинила стих. Записала его и потеряла.

И наконец самой собою
Я заслужила право быть.
Стучать о стенку головою,
Молиться или просто выть.
Надежда – поздно. Слава – поздно.
Все поздно, даже быть живой.
Но Боже мой, как звездно, звездно.
Лес, я, звезда над головой.

Я подумала, пусть полежит, а потом я пойму, стоящее ли.

Когда у меня были Копелевы, они сказали, что в «Новом Мире» есть одно стихотворение Володи Корнилова, о котором он им говорил, что оно – мне (?).

Вчера вечером Люшенька привезла № 7 «Нового Мира». Дивные стихи Корнилова – о конце войны, о теледикторе, о тишине в лесу. Одно без названия. Читаю:

Достается должно быть не просто,
С болью горькой, острей, чем зубной,
Это высшее в мире геройство
Быть собой и остаться собой.

Увы, я вовсе не всегда была и оставалась собой. Это он зря. Я только сейчас, после всех потерь, кончин и гибелей, где-то на подступах к себе. Но каково совпадение! Не писали ли мы эти

стихи в один день.

1/IX 66. Пиво-воды. … бедствие – моя встреча с И. Н. Пуниной. Она просидела у меня 6 часов и уже этим одним меня ранила. Но я хотела этой встречи и рада, что она была. Я теперь Ирину Николаевну – знаю. Знаю сама меру изворотливости, ловкости, лживости, ума, силы. Это человек из породы тех, о ком Тусенька говорила: «больше энергии, чем света». Света нет совсем. Есть хватка, ум, практичность, расчет – и болезненность, хрупкость, жалкость. Наглость чрезвычайная. Она послала Суркову «опись архива» – что же описано? – спросила я.

– Подстрочники, письма АА, чужие стихи…

– А тетради АА? – спросила я.

– Тетради АА – ответила И. Н. – никогда не были архивом – не моргнув ответила И. Н.

Есть реальная ценность: тетради АА. Отдать их она не хочет. Она сознает, что силы *отнять* нет ни у кого. Вот и всё. А слова и доводы ей безразличны.

В разговоре было еще несколько таких же подводных ям – мне хотелось ее избить. Но я держалась спокойно и даже кормила и поила ее. Но *всё* сказала.

Она подарила мне дивные фотографии похорон. Особенно одна – где Иосиф и Толя над гробом.

В воспоминании эта встреча еще мерзее, чем была.

5/IX – Лева[269] должен быть введен в наследство. Если бы можно было надеяться на него! Но он полон своих антипатий и страстей и что он сделает – бог весть.

19/XI 66. Москва. Известие о том, что где-то за границей вышла белая книга (процесс Синявского и Даниэля) и там – мое письмо к Шолохову[270].

20/XI 66. «Кучность событий»…

Потрясающее письмо Д. Я. о «Памяти Фриды»[271].

Вчера впервые слышала свое имя по радио.

А сегодня прочитала в «New York Times» извещение о напечатании своего письма Шолохову.

«Все сбылось…» Так, что ли?

21/XI 66. Здоровые также мало способны понимать больных, как живые мертвых или наоборот. При этом я имею в виду не только людей, начисто лишенных воображения, но и людей добрых и умных. Дело обстоит даже еще хуже: не понимают друг

друга.

23/XI. Письмо от Добина[272] (я ему послала список его ошибок в статьях об Ахматовой) неожиданно дружелюбное и благодарное.

Открытка от Толи: Пушкинский Дом подал в суд на И. Н. [Пунину], и Толя будет свидетелем.

6/XI. Накануне был у меня Друян – редактор из Лениздата[273]. Он в ужасе от того, в каком виде Аня сдала стихи. Я ему объяснила, что ничего другого и ждать от Ани нельзя было, она не литератор. Он предложил составлять мне. Я отказалась; пусть сделает кто-нибудь из ленинградцев, а я прорецензирую.

27/XI 66. [Вклеено объявление из парижской «Русской мысли» о том, что поступила в продажу новая книга советской писательницы Лидии Чуковской «Опустелый дом»][274].

30/XI 66. Москва. Сегодня я узнала, что в «New York Times» напечатаны 1) письмо 63-х 2) мое письмо к Шолохову 3) извещение о Белой Книге, составленной А. Гинзбургом и посвященной памяти Фриды.

Очень боюсь, что вся история встревожит деда, выбьет его из колеи. И Ал. Б-ча (Раскина).

А меня эта история совсем не беспокоит: я чувствую себя чистой и правой.

2/XII 66. 7 часов. Только что на волне 42, в диапазоне 41, я слушала свое «Письмо Шолохову» (радиостанция Кёльн, Немецкая волна).

22/XII 66. Плохо сплю. Мало работаю.

Выбита из времени главным образом ленинградцами – Толей – который здесь ненадолго по ахматовским делам и часто приходит ко мне (докладывать и слушать мой Дневник).

На ахматовском фронте события большие и победные. Главное – Сурков признал Толю. Собрал, наконец, здешних, всех выслушал (я ездила без ведома врачей и Люши), овладел списками и послал в Ленинград – действовать. Там главные герои – Жирмунский[275] и Толя. Они и юристы, и представитель Пушкинского дома, и Библиотека Салтыкова-Щедрина, и Миша Ардов пробились в крепость – в квартиру И. Н. – и составили-таки почти насильно опись всего для Пушкинского Дома. Кое-что

нашли ценнейшее; многое уже продано в ЦГАЛИ и Библиотеку Салтыкова-Щедрина. Нашли «Сон во сне», все наработанное; (И. Н. кричала раньше: ищите это у Наймана) «1001 ночь» и «Лермонтов» уже в ЦГАЛИ. Пушкинистские статьи – в библиотеке Салтыкова-Щедрина, остальное невесть где – например, штук 15–25 блокнотиков и большая тетрадь «Харджиев».

Жирмунский и Толя ведут себя умно и властно; Сурков – толково. Сейчас Толя командирован в ЦГАЛИ глядеть, *в каком виде* «Лермонтов» и пр.

* * *

Потоки писем и телеграмм по поводу Шолохова. Многое – прекрасно; кое-что – трусливо, например телеграмма из Казани: восхищен Вашим гражданским мужеством и пр., а подпись Казань, т. е. побоялся назвать свое имя.

Вчера на партсобрании в Союзе читали вслух мое письмо (кто-то с места потребовал). Что было дальше – не знаю.

24/XII 66. Тут был Толя. Я ему читала свой Дневник. Он поразительно умен, тонок – понимаю, почему им так дорожила АА. Суд будет. Сурков послал Толю в ЦГАЛИ посмотреть, в каком виде тетради. И. Н. не велела его туда пускать – и его не пустили… Она клевещет на него всюду и по-всякому. ЦГАЛИ и Библиотека Салтыкова-Щедрина явно подкуплены Ириной Николаевной. Вся ее цель – деньги, а деньги могут давать все, кроме Пушкинского дома, куда архив пожертвован Львом Николаевичем [Гумилевым] бесплатно. Покупает же она ЦГАЛИ (Волкову) и Библиотеку Салтыкова-Щедрина (Мыльникова) по-видимому тем, что, беря за часть архива деньги, другое отдает «на хранение» – с намеком, что *после* отдаст совсем. А Мыльникова может быть подкупает и автографами, ибо он уж очень уголовно поступает: когда – всё Толей, Мишей, Жирмунским, Измайловым[276] было собрано для Пушкинского Дома и оставлено на ночь – *утром* оно все оказалось у Салтыкова-Щедрина…

Более всего меня мучает и заботит Толя. АА за него все время боялась; она говорила: «дело Бродского № 2». Неизвестно, какие силы теперь пустит в ход Ирина Николаевна.

Добряк Лев Зиновьевич вчера, когда она позвонила ему из Ленинграда, отказался с ней говорить.

Продолжаю получать восторженные письма о письме

Шолохову.

В Союзе на партсобрании Сутырин[277] огласил мое письмо. Слушали хорошо. Потом кто-то спросил, что собирается предпринять секретариат. Сутырин ответил: «Пригласить т. Чуковскую и по-товарищески с ней поговорить». Тогда раздался крик известного стукача Н. Громова: «Я член Союза и не хочу, чтобы от моего имени с Чуковской говорили по-товарищески».

11/1 67. Со мной случилось наверное то, что так справедливо порицала А. А., «я провалилась в себя»[278]. Я хочу лежать, думать, читать, переписывать свои Дневники и приводить в порядок свой архив (что мы вчера начали с Сашей[279]). И всё.

15/1 67. Елена Сергеевна на днях привезла мне перепечатанный Фридин дневник. Надо читать – и думать – как приготовить его к печати?

Вчера получила первую рецензию на «Софью Петровну». Неумную (или, точнее, неосведомленную, думает, что Коля едет в ссылку!), но я не вправе сердиться, ибо сама в ту пору не понимала, что значит 10 лет без права переписки. Где же им что-нибудь понимать!

19/1. Кроме любви в письмах – множество глупых разговоров вокруг. Одна женщина утверждала, что я живу в Америке и *оттуда* пишу Шолохову… Другая, что Шолохов меня бросил с двумя детьми и оттого я ему мщу. Третья, в похвалу мне, сказала: она такая смелая, словно она мама Евтушенки… Что делается в этих головах!

22/1 67. Если бы видеть в своей судьбе задуманную кем-то целесообразность, то – зачем послана мне болезнь сердца, отделяющая от людей, мешающая всякому движению? Чтобы я успела сделать свое: расшифровать Дневники, ахматовские и неахматовские, написать книгу о поэзии Ахматовой, привести в порядок архив.

25/1. Мне передали, что на городской партийной конференции говорили о рукописях, печатающихся за границей. Их разделили на 2 разряда: нарочно и не нарочно. Мой Шолохов попал в не нарочно.

Это чистая правда: я не только не посылала свое письмо на Запад, но и специально не хотела, чтобы оно попало туда. Но откуда это может быть известно – вот вопрос?

26/1. Арестован Алик Гинзбург.

И – раньше, чем он – какие-то его друзья…

Когда, когда, когда из нашего быта уйдет это слово?

4/II 67. Живет Толя. Приходит он поздно, когда я уже сплю – видимся только утром, когда я мечусь, мою посуду, пью чай. Человек он безусловно внутренне значительный и литератор насквозь; интересный, со своим путем и миром; мужского типа – сильный, повелительный.

И еще странная радость: в № 12 «Нового Мира» напечатан лестный отзыв Белкина обо мне[280]. Очень смешно – какой беспорядок!

7/II 67. Не сплю – Люша с другими разгребает пожарище, а там «все стены пропитаны ядом» – не в блоковском, а в буквальном смысле[281]. Стены не сгорели и в них – разнообразные ядовитые пары. Кругом разлита ртуть.

Сегодня уезжает Толя.

Несколько раз мы с ним забалтывались до нарушения моего режима, и мне потом жестоко приходилось за это платить. Кроме того, меня мучило то, что нет Маруси – и в квартире грязь и полуголод – при госте это особенно неприятно. А все-таки я рада, что человека этого рассмотрела поглубже. Он – стоящий. Понимает стихи, думает о поэзии интересно. При этом где-то в глубине добр. И где-то в глубине – циник. Высокомерен, раним, обидчив. Жил здесь очень интенсивной жизнью – с утра до ночи в делах, встречах, выставках, приятелях, выпивках. Что-то в «Пионер», что-то в «Знамя». Сил много, хотя больной. Я прикидываю на свои 30 лет: такая я была? Я была более поглощена нашей работой, меньше – всем другим.

Об АА с ним интереснее говорить, чем с кем-нибудь. Помнит очень *точно*.

5/III 67. Сегодня годовщина смерти АА.

Панихида у Всех Скорбящих, потом все у Нины [Ольшевской]. И я звана. Но я не пойду – сердце, как акробат, выделывает бог знает что.

Вчера – год назад – она была еще жива, она, огромная память России. А еще сутки и ее нет. Как это можно постичь?

11/III – 14/III. Цель, для которой нужны слишком сложные, хитроумные или гнусные средства – цель дурная, хотя бы в том смысле, что она несвоевременная, придуманная, абстрактная, не органическая. И она уж сама неизбежно диктует дурные

средства.

Если цель своевременна – она естественно вытекает из всего предыдущего и потому понятна большинству передовых людей и уже тем самым может быть осуществлена без гнусных средств. Она осуществляема с помощью труда *слова, проповеди* и – если она своевременна – очень малым количеством выстрелов.

Если для осуществления цели надо применять дурные средства – следует задуматься, верно ли выбрана цель.

– А как же пророки? Они всегда ставят цели далеко-далеко впереди.

– Да, конечно. На то они и пророки. Но они и не говорят, что цель, ставящаяся ими, достижима сейчас, сегодня, завтра или послезавтра. И вместе с целью они всегда показывают и путь (своею жизнью) – и притом – благой. Путь труда, самоотверженья; *долгий* путь труда – над собой и другими.

Главное дело культурного человека – есть изощрение культуры, завоевание новой ее высоты, и расширение ее, охват ею *всех* людей.

Строить можно только на пустом месте, земля же место не пустое. На земле, где протекает история и культура, можно только выращивать но нельзя строить, что вздумается. Растить же можно только то, что земля родит, только из существующих, прорастающих *здесь* семян. Строить тоже, пожалуй, можно, если есть кирпичи – но если их нет, если ты выдумал свою постройку при отсутствии для нее материалов и сделал ее обязательной для всех – жди крови и притом большой, жди потоков крови. Воздушные замки, возводимые в неподходящих местах, вещь не безопасная.

Главный строитель будущего – как всегда и везде – интеллигент.

Понимание *только* искусства еще не создает интеллигента. Понимание *только* этики, да еще в разжиженном ее виде – тоже нет. (Это – тип пресной сельской учительницы, которая к тому же, легко соблазняется самой дешевой «политикой»). Только сочетание, сплав – создают человека нового типа (существовавшего в России некогда). Может быть в других странах он водится и сейчас, а у нас он имел и имеет великолепных представителей, но редок.

Главная цель труда интеллигенции – настоящей, не липовой – всегда, ныне и присно и вовеки! – работа в своей отрасли и уничтожение пропасти между ею и не ею, той пропасти, в которую некогда оборвались декабристы; она обязана учить, причем учить не элементарным путем и не элементарным целям. Вернее всего об этом сказал Чехов: *Не Гоголя опускать до народа,*

а народ поднимать до Гоголя.

Будущее человечества зависит от его работы в созидании культуры. Цивилизация – это культура минус искусство и минус этика, т. е. нечто страшное, «Чингис-Хан с телеграфами». Главный созидатель культуры – интеллигент (иногда – прирожденный, «из народа», но чаще воспитываемый созданный предыдущими волнами культуры).

Цель культуры? Культура! высшая ее ступень, следующая. Орудие этой цели? Культура. Сложный путь – и победоносный только тогда, когда уровень его сложности (не хитроумия, а сложности, богатства) достигает уровня сложности стиха.

13/III. Сегодня днем был часа 2 Александр Аркадьевич [Галич]. Слабый, сильный, и, по-видимому, гениальный.

Вернулся только что из Алма-Ата, рассказывает с восторгом об этом блаженном острове, а главное – о 96-летнем скульпторе Иткинде[282] (режет по дереву), которому в свое время отбили слух; он и сейчас сам таскает чурки и режет их; работает; умирать не хочет:

– Если я умру, не успев все окончить, я с ума сойду!

Но самый нужный мне мир заключен в Spidol'e – музыка и не только музыка.

25/III 67. Вчера мне исполнилось 60 лет.

На 6, на 16, на 26 и 36, на 46, на 50 – не променяла бы.

Дома – телеграммы, письма, цветы. Много телеграмм, много цветов. Много звонков – здешних и ленинградских.

* * *

Вчера мне мельком сообщила Р. Д.[283], что кажется на очередном заседании Идеологической комиссии т. Семичастный бранил Гинзбург за «Крутой Маршрут» и меня за «Софью».

Итак, я в отличной компании: т. Семичастный бранил когда-то Пастернака, Фриду, теперь Солженицына…

Сегодня воспоследовали плоды.

Уже много времени назад Женя Ласкина взяла у меня для «Москвы» стихи АА. Я сделала врезку – этакую сухую справку – согласившись, чтоб ее напечатали как примечание. И вот сегодня звоню (корректура уже была), чтоб разузнать, как дела, и Женя сообщает: редактор велел оставить примечание,

но снять мое имя. Я взъярилась! (втайне и на Женю, которая способна исполнять такие поручения!) и сказала, что снимаю тогда всю публикацию и немедленно отдаю ее в «Литературную Грузию», которая меня просит. Согласна я на инициалы «Л. Ч.» – но без всего – нет.

Вот так.

Поглядим, что будет.

2/IV. …я взяла-таки из «Москвы» ахматовские стихи и сегодня Саша отправит их в «Лит. Грузию». (Оттуда телеграмма: «Умоляем прислать Ахматову»… А подлая «Москва» – и как там работает Женя! – не захотела-таки моего имени под врезкой…)

Из «Прометея» о деньгах пока сведений нет, т. е. по мановению Семичастного выкинут ли мою рукопись – еще неизвестно.

6/IV 67. Друян – редактор Облита. Привез мне просьбу издательства сделать всю стихотворную часть сборника. Привез замечания Левы и корректора по тексту «Поэмы».

23/IV 67. Из Ленинграда – полный отказ. Конец антологии. Теперь воскресит ее *только* Орлов[284], если вернется и захочет. Попробовали мы, через друзей, предложить Гослиту, но – мое имя мешает…

Если бы не Соня[285], если бы не Соня как я была бы рада этой помехе, возвращающей меня к Ахматовой и Фридиному дневнику! к настоящей работе!

В «Лит. Грузии», в № 5, как будто все-таки пойдут ахматовские стихи с *моей* врезкой.

В «London magazine» статья Александра Верта о Шолохове, о моем письме, об «Опустелом доме». Не худая, хотя кое-что и опасно; в частности, лестное сопоставление с «Реквиемом» – опасно для моих ахматовских работ.

5/V 67. Сдаю Ахматову для Лениздата. Много вычиток, проверок, справок и пр. Советуюсь с Никой (она очень толкова и исполнительна), с Эммой Григорьевной (толкова по-другому) и внезапно приехавшим Толей. Он остер, понимает вопрос и дает ответ мгновенно, но иногда, как это ни странно, при его демонической и властной манере, дает советы совершенно ребяческие.

Из «Лит. Грузии» корректура: и стихи, и врезка идут. «Москве» – нос.

12/V 67. Вчера – крупная неприятность.

Сигнальный № «Литер. Грузии», где редакция вписала «первая публикация» – в то время как я сообщала им, что 3 стихотворения из 7 печатались в 20-ые годы – и искалечила мою врезку.

То, что могло быть радостью, стало болью.

Послала им сразу телеграмму и письмо, но ни на что не надеюсь.

Скоты.

Всякая работа в печати невозможна из-за скотских нравов, господствующих во всех редакциях.

16/V 67. Пиво-Воды. Переехала вчера.

В последние дни до переезда читала «Траву забвения» Катаева.

Как же я еще раньше сама не догадалась, что он ученик Бунина. Тех же щей, да пожиже влей. Злокачественная теория точного описания предмета или человека: опишу девочку, опишу пепельницу. Чехов до этого не унижался. Он понимал, что меткость описания, передачи предмета и длина описания – все должно быть поставлено на службу душевного движения. *Музыка* должна диктовать точности свои законы, если же *музыка* не звучит – то кому нужна эта блестящая точность?

Вещь Катаева кажется растянутой – потому что в ней нет *главного;* скопление блестящих точных изображений – кажется тянучим.

Кроме того, вещь несовременна: взгляд на 20-ые годы сусальный, взгляд 30–40-х, а не 60-х годов.

Не без холуйства.

О Бунине и Маяковском читать интересно; вся же история Клавдии Заремба звучит выдуманной и фальшивой.

13 июня 67. Москва. Из Лениздата письмо с глупыми, но невинными вопросами. Пока выкинуты три стихотворения, среди них «Стансы»[286].

9/VII 67. Москва. Какая я счастливая: могу писать, не заботясь о печати. Пенсия. И тыл: К. И. и Люша. И совершенное, болезненное отсутствие честолюбия. (Его мне отбили, как можно отбить почки).

12/VII 67. Пиво-Воды. Читаю 2 тома воспоминаний Анненкова.

В сущности это воспоминания о моем детстве: все мне смутно знакомы – и Комашко, и Евреинов, и Н. Кульбин и Ваня Пуни.

Читать интересно, хотя и противновато. «Наш пострел везде поспел», – всеядность и поверхностность характерны для него. Некоторых вещей он не понимает решительно: говоря о письме Пастернака к Хрущеву он уверяет, что оно было вынуждено. В этом письме Б. Л. просил не высылать его за границу, потому что без России он не может. Между тем письмо это, конечно, было совершенно искренне – за границу он хотел ездить, но жить мог только здесь (как и АА). Он был поэт – ему надо было слушать язык.

Чем интересна книга Анненкова – это документами, газетными вырезками. Он приводит писательские требования расстреливать «врагов народа» – и мы читаем честные имена: Тынянов, М. Слонимский, Е. Шварц… Что же удивляться Слуцкому, выступившему в другое время против Пастернака.

16/VII 67. Позавчера в Ленинграде должен был состояться суд: Лева против Пуниных[287]. Туда поехали Эмма Григорьевна, Николай Иванович, Надежда Яковлевна[288]. Жду известий.

Подписала 2 договора: с Лениздатом (на Ахматову) и с Просвещением (на Фридин Дневник). Конечно, это хорошо, но и плохо: если бы не эти 2 договора, у меня было бы блаженное положение – *никаких* отношений с издательствами! Моя мечта.

26/VII 67. Пиво-Воды. Читаю Дневники и Письма Байрона, которые почему-то не берут меня за душу. Холодно, поверхностно, самолюбиво, блестяще. Читаю и размышляю не о нем, а о себе: отчего меня так ранит распутство? Ведь мне не 16, а 60. Пора бы постичь мужскую *природу*. Кто-то сказал мне недавно: ведь это легчайший из грехов. Нет. А почему *нет*? Наверное потому, что он связан с тягчайшим: ложью.

27/VII 67. Пиво-Воды. Уже второе письмо от Жирмунского о том, что я должна дать показания для суда.

Это же мне внушает Эмма Гр., которая была здесь несколько дней назад и рассказывала о суде и выступлениях своем, Ник. Ив. и Над. Як.

Суд начат, но отложен до сентября.

Придется мне писать… Ох, трудно.

Лениздат торопит с примечаниями. Самая неприятная для меня работа – словари и пр. Книга общая с Эммой Гр. и надо выработать совместную систему. Для этого надо ехать в город. Для словарей нужен Саша, а он идет в отпуск. Меня это мучает,

тем более, что АА ненавидела объяснять свои стихи.

2/VIII 67. Пиво-Воды. Перечитывая (для материала о Пуниных) свои ахматовские дневники подряд, я поняла, как подавать их дальше. 38–41 это одно, это сплошняк, а 50-ые и 60-ые годы надо писать по-другому: отдельные монологи и диалоги, без сплошняка.

Ташкент – 42 г. – я перечесть *пока* не решилась.

22/VIII 67. Москва. За окном тяжело грохочет жара – машины это будто ее колеса.

Мучительно работаю над примечаниями, которые не только не нужны – вредны лирике.

1/IX 67. Примечания пили у меня кровь 2 недели. Не знаю, лжет ли издательство или говорит правду – но оно уверяет, что книга задерживается из-за примечаний.

Сегодня умер Эренбург. При всех своих грехах, проступках и преступлениях он был человек талантливый, и в его душе и уме совершалась духовная работа – значит, он все-таки светил. И свет погас.

По жалобам нашего общего врача, В. А. Коневского, вел он себя, заболев, непослушно, грубо. Ни за что не хотел лежать, кричал, что выбросится в окно, обзывал врача знахарем. Очень избалованный здоровьем был человек.

Умер он легко – во сне. Непосредственная причина инфаркта – смерть Савича[289].

8/IX 67. Опять аврал: в среду приедет Друян – и я хочу к его приезду приготовить еще примечания. Гоняю Сашу. Пишу Грише[290] в Ленинград. Говорю по телефонам. Устаю. Взяла экземпляр «Поэмы» у Л. Д. Большинцовой[291] – оказалось, там поправки АА октября 65 г. которые обязывают к некоторым переменам в сданном в издательство тексте. Завтра придет Ника, будем решать.

Ох, сколько сил отнимает и еще отнимет эта книга!

Много рассказов о похоронах Эренбурга.

Истинно народные похороны, массы людей у Дома Литераторов и на кладбище.

Казенное бормотание над гробом – кратчайшее, скорей, скорей… Все – скорей. Чего-то боятся (чего?). На кладбище – скорей, скорей закопать гроб. Не пускали людей на кладбище, стояла цепь милиции: «Санитарный день, нельзя». Какой-то страх перед *этими* похоронами. Почему?

Беседа мильтона с кем-то: «Когда образованные – всегда свалка. Я уж знаю. Я по очереди дежурю: один день на футболе, другой – на кладбище».

14/IX 67. Москва. Мне лучше – настолько, что я без мук выдержала приезд Друяна, длинные разговоры о книге с ним и с Эммой Григорьевной – вместе и порознь. Кроме того у меня побывала Большинцова и ответила на мои вопросы по ее экземпляру «Поэмы» – драгоценному потому что туда внесены ею поправки под диктовку АА в октябре 65 г. – т. е. выходит последние. Но Л. Д. здорово запутала дело, вписала туда уже после смерти АА поправки, продиктованные ей… Виленкиным! [292]) – она, при всей ее любви к АА, не очень-то разбирается в сокровище, которое оказалось у нее в руках. Долго и я не могла разобраться, но наконец поняла, что к чему – главным образом, сама – а отчасти показывая текст Эмме Григорьевне, Нике, Мише Мейлаху, который был здесь проездом.

Досадное дело – примечания – продолжает меня раздражать и утомлять. Вместо того, чтобы сообщать всё, что я знаю о каждом стихотворении («Просится в “Поэму”, но я не пускаю» и т. д.) я пишу, кто такой Лот и где церковь Скорбящей… Досадно.

АА жаловалась, что «Поэма» ее не отпускает; теперь она не отпускает меня. Днем – а иногда ночью – думаю о том, как я могу обосновать тот или другой вариант: почему «не заплачет?», а не «не плачет»? И кроме того о тактике и стратегии… В последнем мне никто не советчик. Как дать 3 строки в «Решке» – так ли, этак ли? Не потоплю ли я весь корабль?

И не пойму, с кем посоветоваться. Молодые слишком решительны. Старые слишком трусливы.

Для примечаний мобилизовала письмом Гришу Дрейдена. Он знаток Ленинграда.

На подоконнике лежит перепечатанный Фридин дневник, за который я еще НЕ села…

А мой когда? Если бы я занималась им вместо примечаний – ахматоведение выиграло бы…

Но – взялась – надо сделать.

* * *

Третьего дня вдруг звонок – кто-то вернулся или приехал из Норвегии и спрашивает у меня от имени норвежского издательства, где и когда вышел по-русски «Deserted house…»[293] И – не прислать ли денег…

* * *

Меня мельком ругнул Михалков в паре с Костериным, написавшим письмо Шолохову по поводу его выступления на 4-м Съезде. И опять никто ни гу-гу. Центр начальственной злобы – Вознесенский (его имя и стихи уже отовсюду снимают). Я терпеть не могу Вознесенского, но ведь в своем письме[294] он прав. И – никто.

Рычаги![295]

29/IX. Примечания кончены на 90 %. Очень помогли – Гриша Дрейден и Володя Глоцер.

По слухам, Пунина ходила к Суркову жаловаться на то, как напечатаны в «Лит. Грузии» стихи АА. А как они напечатаны? *Почти* хорошо (кроме ошибки редакции о «впервые»).

10/X 67. Примечания отосланы. И сейчас же я взялась кончать работу над Фридиным Дневником. И сейчас же – десятки вопросов Друяна, по телефону и письменно. И сейчас же – статья деда об АА. Я дорабатываюсь до распухшей головы, до уныния. И сколько бы я себя не убеждала, что все это счастливые задачи, которым надо радоваться и гордиться – я рвусь от этого почета к *своей* работе и никак не могу прорваться – ни на день, ни на *час*. Будто рвусь сквозь туннель.

Свет все время виден – вот-вот кончу – но нет.

При этом теряю папки, списки, я начинаю истерически искать и сердиться зря на Сашу.

Один раз вырвалась к деду. Дед хорошо слава богу. Читал мне статью об АА и сегодня прислал. Много моего. Рада, что ему пригодилось.

Получила очень трогательные письма от Ю. Г. и Ант. П.[296] о моих «Записках» – я выше Эккермана!

20/X 67. Я получила возможность несколько часов держать в руках «Поэму», напечатанную Амандой[297]. Увы! Ужас и срам! Вся вещь утоплена в опечатках. Вместо

Я ль растаю в казенном гимне

напечатано

в казенной глине…

Опечаток десятки. В примечаниях вранье. Бедная АА! Скорее бы *нашу* книгу! Но когда она выйдет и в каком еще виде…

27/X 67. Мерзостные вирши Вознесенского в «Лит. Газете» снова навели меня на мысли о причинах его популярности. С. Я. отвечал: мода. АА отвечала: эстрадник. А я все не могла понять. Теперь додумалась.

Стихи его (все, всегда, или *почти* всегда) плохи отсутствием единой мысли, единого чувства, они распадаются на острые отдельные штучки-мучки: образ, рифма. Никакой волны. Но он эту волну – иронии, негодования, нежности – на эстраде создает *голосом*. Голос все объединяет. Ну как музыка на плохие слова. Но когда слова остаются одни – без *голоса*, в печати – они бессильны. Штучки-мучки рассыпаются, как бусины.

* * *

Была у Е. С. Вентцель – Грековой. Там смешно: начальство Академии, где она профессорствует, в лице замполита, выразило свое неудовольствие по поводу ее прекрасной повести «На испытаниях»: почему она, прежде чем печатать, не согласовала (!) повесть с ними? Почему в повести нет героев, достойных подражания и пр. Ну, это все обыкновенно, а вот что меня удивило: эта смелая, сильная, умная женщина всё приняла всерьез, огорчена, даже осунулась и т. д.

Это ее первая по-настоящему хорошая вещь. Но она еще не уразумела, что значит быть писателем.

Подробности:

Замполит: – Генерал Сиверс (главный герой) не наш человек. Недаром он дворянин.

Е. С. – Но Владимир Ильич тоже был дворянин.

Замполит – Нет, он был мещанин.

3/XI 67. Ахматовская книга в производстве. Сегодня я звонила в Ленинград Друяну и продиктовала ему поправки к дедовой статье.

3 строчки «Поэмы» грызут меня отчаянно.

Кончила вычитывать новый экземпляр своего Дневника. А за это время подвалил заново переписанный Фридин Дневник. Завтра сажусь за него снова. Когда и он уйдет – сяду продолжать знакомиться со своим ахматовским Дневником 60-х гг.

«Начало», как это ни странно, имеет успех[298].

* * *

В «Новом Мире» № 9 стихи Алигер. О том, что счет «оплачен и оплакан». Руки чешутся написать ей – или в «Новый Мир» – письмо… Оплачен! А Лесючевский до сих пор заведует издательством, а Эльсберг[299] не исключен из Союза… А Нюренбергского процесса *не* было… Оплачен! Оплакан? Да, океаном слез… Но где же могилы мучеников? Памятники? Розы? Поминальные дни?

16 ноября 67. Продолжаю конспектировать свои ахматовские Дневники.

Вчера вечером была у Ник. Ив. Харджиева, отвезла ему 39–41 гг.[300] Он – один из героев, что-то скажет? Страшная лестница, холостяцкая квартира с чем-то симпатично живописным на стенах. Что-то мансардное. Н. И., которого я не видала года 3 (или более!) – прежний: то обаятельный: прелестная улыбка, умнейшие глаза, блестящая речь – то тяжелый, мрачный, со срывающимся в визг голосом. Тут же усталая, измученная болезнью сестры, Эмма Григорьевна. Разговор шел интересно и бодро, пока Н. И. не заговорил о войне, которую ведет против него Н. Я. Мандельштам. Он показал мне ее письмо – грубое, бешеное; угрожающее; оно хоть и подписано, но по стилю – анонимное. Узнаю Н. Я., причинившую мне столько зла (клеветой, ложью) в Ташкенте. Хочу быть с ней в мире – и подальше, подальше, подальше. Пока что это удавалось, хотя она очень ухаживала за мной (через других) в последние годы.

Сейчас у нее салон и она – могущественная дама.

Н. И. – человек сумасшедший (иногда), но всегда честный. Она обвиняет его в воровстве. Это безнравственно – и в личном, и в общественном плане. Он, говорят, превосходно сделал Мандельштама. Говорят знатоки – я верю, потому что голову Н. И. ценю очень высоко.

Какая горечь – всякий выход в люди. Казалось бы, должно бы существовать ахматовски-мандельштамовское братство исследователей… Нет. Мало нам Пуниных.

1/XII 67. Писала письмо к Алигер. Когда пишу – не редактирую, не саморедактируюсь, а пишу – сутки превращаются в хаос, в тяжелую болезнь. Усмирить мозг невозможно, все знаю наизусть, и в кровати продолжаю в уме

править и писать.

Два дня назад Саша отвез и вручил это письмо Маргарите Иосифовне. Другие экземпляры готовы, но я решила ждать еще дня 3, никому не показывая, чтобы дать ей возможность как-то поступить: позвонить мне, написать или еще что-нибудь через кого-нибудь. Пока – ни звука.

Этого своего письма я боюсь. Оно гораздо страшнее, чем Шолохову, потому что гораздо более по существу[301]. Мне не хочется, чтоб оно широко распространялось, чтоб оно попало за границу. Быть ошельмованной на весь мир – этого Алигер не заслужила. Она, конечно, казенная душа, но не злодейка, не Книпович, не Кедрина. Это – размежевание внутри «либерального лагеря». Оно нужно – но может быть не столь звонко.

* * *

Я заметила в себе несомненное уродство. По-видимому, оно было всегда. Меня всегда больше ранит слово, чем поступок, больше – мысль, слово – чем судьба человека.

Когда я прочла Алигер, зачесалась рука. И все во мне набухало. То же было, когда я читала «Зарев». То же – когда мне теперь читают 4 строки из поэмы Сергея Смирнова (Сталин был так велик, что когда он умер его сопровождал венок раздавленных людей)[302]. Мне кажется, спускать подлецам и не подлецам слова – нельзя.

Но конечно это уродство. Мое. Спасать людей – важнее. Не словом – или словом – но спасать людей.

* * *

Вчера я пыталась слушать ВВС – дискуссия Чаковского с английским критиком о Синявском и Даниэле. Было слышно только минутами. Когда англичанин сказал что-то насчет репрессий при Сталине – Чаковский спокойно сказал, что ошибки (?!) были, бывают и сейчас, и что ошибки сталинского периода разоблачены КПСС.

У меня оборвалось сердце, и я выключила приемник.

Ошибки? Какие ошибки? Чьи? Ведь следователи и прокуроры *знали*, что они имеют дело с невиновными. Чьи же ошибки? А процессы? Подготовленные? Прорепетированные?

Организованные злодейства у него язык поворачивается

называть *ошибками!* 30 миллионов ошибок!

* * *

Перечла «За далью даль» Твардовского. Искала цитату, соответствующую мыслям Алигер. К сожалению, краткой и точно совпадающей не нашла, хотя по сути мысль та же. Боже мой, какая вещь! Сила, богатство, задушевность; когда о войне – пушкинская звонкость («на жарком темени стволов»). И какое убожество мысли, полная ее подцензурность и потому вялость – потому что мысль не может быть ясной, когда оговорка ложится на оговорку. Поражает *пустота* мысли:

Да, то что с нами было –
Было.
А то, что есть,
То с нами здесь.

Вот и понимай, как знаешь. Вчера был понедельник, а сегодня вторник. Всё.

18/XII 67. Мое письмо к Алигер кипит, бурлит, вызывает возмущение и споры. Алигер ходит по друзьям и ищет защиты – иногда удачно. «И какое Л. К. имеет право судить всех!» «Алигер не Шолохов!» Это верно. И я сама очень жалею, что мысли, необходимые, живые, заветные, пришлось высказать по поводу Алигер – а не Сурова или Софронова, например. Она просто овца, разновидность «Софьи». А стихи гнусные.

Ира Огородникова – приятельница Копелевых, деятель иностранной комиссии, сказала, что если мое письмо к Алигер появится в эфире – надо будет организовать ответ от имени В. Каверина и К. Паустовского… Надеюсь оно в эфире не появится, я все сделала, чтобы НЕ появилось – но и не верю я, чтобы Каверин и Паустовский выступили против меня.

И все-таки – все-таки – как у нас оказывается боятся Самиздата! Значит появилось общественное мнение. Боятся не Каверина и не Паустовского – а – Самиздата!

4/I 68. Из Лениздата пришел пакет фотографий АА; надо установить места и даты. Сделать это можно – но я-то, с болью говорящая по телефону! тут надо ездить по людям, сопоставлять, смотреть…

5/I 68. Был Миша Ардов, немного помог с фотографиями.

6/I. Была Ника, помогла мне с фотографиями. Взяла их с собой и покажет М. С. Петровых. Кое-что уже распутано.

12 января 68. Зима. Морозы. Встаю поздно из-за проклятых снотворных и не вижу дней и мало работаю. А тут еще необходимость телефонов и людей из-за фотографий АА.

Суд в Ленинграде отложен на 12 февраля. Это очень плохо – опять не все смогут поехать и т. д.

13 января 68. Эфир полон процессом… Воззвание от Павла Литвинова и Ларисы Даниэль…[303] А мне хотелось узнать НЕ из эфира, т. е. не только из эфира. И сегодня узнала из очень верного источника *крохи*.

Процесс этот по форме действительно беззаконнее всех предыдущих. Судьи не давали говорить свидетелям защиты и адвокатам. Публика (подобранная по билетам) улюлюкала на подсудимых и свидетелей защиты. Когда одна свидетельница что-то говорила в защиту Алика, он сам ей крикнул: «Что ты пытаешься, Андропов в зале»![304] Мать Гинзбурга сначала не пускали, а пустив, почти не слушали…

Все дни там была Ира, невеста Гинзбурга[305]. И мать Галанскова.

А перед Гинзбургом я виновата, я о нем дурно думала. А он вел себя безупречно – на следствии и на суде. В последнем слове сказал, что это – не суд, и просил только одинакового наказания с Галансковым.

Добровольский, по-видимому, провокатор.

25 января 68 г. Продолжаю мыкаться с фотографиями.

По этому поводу вчера был Рожанский[306]. Умный, знающий, но скорее собиратель, коллекционер, чем что-нибудь другое.

28/I 68. Я была несправедлива к Ел. Серг. Венцель, недооценивая ее беду. Беда большая. В Военной Академии ее травят. Она может лишиться профессорства. Собрали какую-то идеологическую Комиссию и там 40 мужиков на нее орали: и вещь, мол, клевета на офицерство и пр.[307] Она заявила, что ведь это было во времена культа личности – потому изображен доносчик. Тогда кто-то сказал: – «Не было никакого культа, это все Никитка выдумал, это он вырыл пропасть между нашим прошлым и настоящим».

Не было. Нашей жизни не было.

13 февраля 68. Вчера в Ленинграде должен был состояться суд Гумилев – Пунины. Он опять отложен. Какое мучительство. Подробностей я не знаю.

Дед считает мои письма к Алигер «шедевром». Попросил прислать и ее письма ко мне. Я послала. Боюсь, он рассердится на нее, а мне это не надо.

Окончила работу над «Не казнь, но мысль», всё лежит готовенькое, чисто переписанное – но что делать далее – ума не приложу.

В австрийской газете статья о советской молодежи; там речь идет и о молодой писательнице Лидии Чуковской в главке «Мужественная Лидия».

А на последний шаг у меня не хватает мужества. Люша, дед…

22 февраля 68. А я снова переделала «Не казнь, но мысль», отказавшись от милого «Колокола» и сделав подзаголовок: К 15-летию со дня смерти Сталина. Так конечно спокойнее. Но все равно – очень тревожно. Пошлю в «Известия»…

А кругом ужасы.

Есенина-Вольпина (который подал заявление с просьбой указать, где можно 5 марта провести анти-сталинскую демонстрацию) снова насильно уволокли в психиатрическую больницу, хотя он сейчас в порядке[308]. Очень искусно отправили туда же Наташу Горбаневскую, на 6-м месяце беременности[309].

Павел[310] не пошел в КГБ, куда его снова вызвали.

8/III 68. Был Жирмунский, сидел часа 4.

Поспорили мы с ним о тексте «Поэмы». Он почему-то хочет взять за основу своего издания – экземпляр 1963 г., подаренный ему АА со словами, что это, дескать, окончательный. Ну, а 64 г. – для «Бега Времени»?

Я ему обещала послать 64 г., да еще примечания – и потом ужаснулась времени, которое нужно будет на это истратить: перепечатка, вычитка.

Сомнительно молчит Друян.

15/III 68. В Чехословакии чудеса. Сердце болит от тревоги.

В Польше трагедия – опять все та же, та же – которое уже поколение. *И* сердце заходится.

1*9/III 68.* Странный человек Атаров.

По давнему уговору я дала ему прочесть – послала явившегося, наконец, Сашу – свои «Записки». Буря восторгов.

И тут же требование: включить в текст все упоминаемые стихи (вплоть до Тютчева и Баратынского!).

Стихи (но не Тютчева и Баратынского) Ахматовой вероятно в самом деле надо дать – в Приложении. Хотя, мне кажется, вся эта вещь вообще может быть интересна только тем, кто знает Ахматову наизусть. Нет, если и давать, то только ненапечатанное… Не давать же – «Перо задело за верх экипажа…»

22/III 68. Отставка Новотного – счастье, которому мешает радоваться гнусная, провокаторская, сталинская, тошнотворная речь Гомулки[311].

28/III 68. Кругом – исключения из партии. Начали, но, кажется, еще не кончили исключать Л. З. [Копелева].

Речь Гомулки взята на вооружение. Я жду всяких мер против себя. Логично, расправясь с партийными, заняться беспартийными, наконец.

Боюсь за книгу АА. Как бы ее не распотрошили.

1/IV. Дедов день рождения.

* * *

У меня передышка. Сашенька[312] читает новый вариант Фридиного Дневника и еще не прочла. Ахматовских корректур еще нет. Я занялась стихами – своими – хочу сделать две книги: «Молчание» и «После конца».

5/IV 68. Саша снова прочла Дневники, и опять у нее замечания. Предстоит длинное обсуждение по телефону, чрезвычайно для меня физически утомительное. Нет, Фридин Дневник и книга АА – последние мои редактуры, долги. Разлюбила я эту работу (потому что она всегда связана с разговорами, т. е. с учащением пульса).

Да и ужасно хочется заняться своим убогим хозяйством: выяснить хотя бы даты своей жизни, привести в порядок стихи… И Ахматовские Дневники – или для печати – выдержки из них: Говорит Ахматова.

Друян молчит. Жду гадости.

7/IV 68. Отовсюду дурные вести. Говорят, на заводах были собрания рабочих, требовавших (разумеется, по подсказке) высылки из Москвы Литвинова, Даниэля, Якира. Затем «Черный

список» – кого не печатать и не упоминать в печати – там многие: я запомнила Паустовского, Каверина, Копелева, себя, Оттена, Голышеву и пр. Что же будет с моим редакторством ахматовской и Фридиной книги? Впрочем, загадывать вперед нечего; ахматовская книга в производстве – им будет трудно от меня избавиться. А если снимут мое имя с Фриды – пожалуйста, мне важно было сделать самой, выполнить завещание, прочее – вздор.

И третье плохое – Карякина не только исключили из партии, но и сняли с работы.

Однако, я думаю, все это не очень надолго.

Я прочла речь Карякина на вечере Платонова – т. е. то, из-за чего он исключен.

Речь умная, сильная, талантливая – хотя я не люблю Платонова и не могу считать, что прошлые нормы могут нам служить идеалом. Все равно – умная, сильная и безусловно марксистская. Исключение Карякина ясно показывает, что начальство не требует определенной философии или определенных политических убеждений: нет, исполняй последнюю инструкцию. Сейчас инструкция: не хулить Сталина. А Карякин приводит ленинскую цитату, что тот был держиморда. Это несвоевременно (с точки зрения политиканства). Стало быть – гони Карякина. Хотя он марксист, коммунист и пр.

9/IV 68. Нет, Карякина только исключили из партии, но не сняли с работы.

12/IV 68. Сегодня Саша отвез в издательство «Просвещение» Фридины Дневники, отдав вчера 1 экз. Сашеньке.

У меня надежды на выход этой книги, да еще в этом, темнейшем издательстве, да еще сейчас – нету никакой. Уж очень она очаровательная, домашняя, талантливая.

Но мой долг исполнен.

14/IV 68. Перевод «Софьи Петровны» выдвинут в Америке на соискание национальной премии.

23 апреля 68. Пересматриваю дневники в поисках стихов и дат – и, конечно, безудержно читаю их. Обнаружила многое множество записей об Ахматовой, упущенных мною при составлении «Ключей»[313]. Но это не так важно – а важно то, что я, кажется, поняла, что с ними надо сделать (только на это потребуется еще 60 лет жизни). Их вовсе не надо смягчать и смазывать. Их надо просто сократить в 100 раз – о всяческих

отношениях с людьми надо сказать 100 раз, а не 1000.

Посвятить эту книгу, которая никогда не увидит света, я хочу Люше.

Сейчас все-таки приведу в порядок стихи. Это обозримо.

И до работы над своим Дневником надо выполнить все ахматовские долги.

* * *

Я прочитала IX том Бунина. Там сенсация – неуважительные воспоминания об «Алешке» Толстом. Ну, разумеется, он при большом таланте был прохвост – это давно известно – оттого и не вышел большой писатель… Интересен для меня этот том по другому. Я ведь беллетристику Бунина и стихи его – за редчайшими исключениями совсем не люблю. А это не беллетристика и потому для меня интереснее… Совсем убого, мне кажется, о Льве Толстом. Ни образа, ни идей. Хорошо о Чехове, но это я уже читала. Хвастливо о Нобелевской премии («моя жена шла в первой паре с кронпринцем»). Интересно, хотя и поверхностно, о Шаляпине, о Куприне. Глубже об Эртеле. Статьи о литературе тупы: хвалит Никитина – плоско, пытается оценить Баратынского – тщетно; о «новом искусстве» пишет, как глухой и темный человек. И вдруг три замечательные страницы: как его немцы обыскивали в 36 г. на границе – протокольно, точно, как первая ночь Иннокентия…[314]

* * *

Сейчас читаю воспоминания Валентины Ходасевич о Горьком. Поверхностно; лживо, т. е. ¾ скрыто – а все-таки уши правды кое-где торчат….

27 апреля 68. Я все время – кожей, спиной – чувствовала, что в Лениздате с Ахматовской книгой неладно.

Вчера вечером ко мне зашел Володя Адмони. Оказывается, нашего Друяна выгнали с работы за книжку Горбовского, в которой обнаружена крамола[315]. И теперь все книги, сданные им в набор, пересматриваются.

Самое время перечитывать «Поэму» и вообще Ахматову… Да еще я! Она + я.

Одно в этой истории хорошо: беднягу Друяна выгнали не из-за меня. До меня.

9 мая 68. Из Союза – выписка из решения секретариата, богатое глупостью и оскорблениями. Письма в защиту пишутся, оказывается, для саморекламы. Они «на руку врагу». Ни малейшего понимания прошлого и настоящего. О будущем уж не говорю.

Написано малограмотно, во многих местах непонятен прямой смысл.

Я позвонила Ильину, спросила, должна ли я писать объяснения?

– Вас пригласят к Рослякову – сказал он.

Жду приглашения. Как пойду – не знаю, но пойду.

20 мая 68. Через час за мной заедет благодетельная Сарра[316] и отвезет в Союз на машине и подождет там, чтобы отвезти обратно. К разговору я готова, а боюсь лестницы. Можно попросить Рослякова (прохвост, изведанный мною на истории с «Сов. Писателем» – «Станет ли рукопись книгой?»[317]) спуститься ко мне на I этаж, да неохота просить.

Многое за это время – да не было либо сил, либо времени писать.

Шура, бедная Шура[318]. Все выходы, ей предлагаемые, она отвергает с ожесточением.

Под конец ее пребывания вдруг выяснилось, что Друян не выгнан и – батюшки! – пришла ахматовская корректура, которую мы уже не ждали. Это 600 страниц; чтение; вычитка; проверка и перепроверка; считка – а шрифт мелкий, а у меня зрение снова хуже, хуже, хуже… А Саша – в нетях (зачеты; 3 раза в год по 1½ месяца зачеты – как же он смел идти ко мне на службу?). И Шура знает, что такое корректура, сроки… Но пока она была, я не имела возможности взять книгу в руки.

Вот что меня пугает больше, чем ее худоба.

«Посиди со мной» вместо «Посиди, поработай».

* * *

Ковыряю верстку. За мной читает Ника. Помогает мне Фина, которая этого *хочет*. Я разрешаю.

Рвусь в Переделкино. Без воздуха уже не могу. Надо спасать глаз, сердце. А держит меня верстка – потому что здесь весь архив, здесь Ника и Эмма Григорьевна.

Был Друян. И его, и Хренкова[319] здорово потрепали – в Ленинграде и в Москве за «политическую слепоту» – за книжку Горбовского. Я прочла – неинтересно и невинно. Друян ходит с вытаращенными глазами, а впрочем держит себя молодцом и Хренков кажется тоже. Вглядываюсь в него: смотрит на вещи здраво и стихи любит, хоть и безвкусен.

Предстоит борьба против ужасных картинок, влепленных в книгу: их делал сам их главный художник… Но Друян надеется

и советует мне, К. И. и Э. Г. написать письмо Хренкову.

Технически это возможно.

29 мая 68. Наконец Ника прочла все, и мы вчера и сегодня спокойно разрешили все мои и ее вопросы.

Бесценный она человек. Соединение глубины, тонкости, ума, знаний (архив великолепен, она многое записывала за АА) с простой толковостью, деловитостью. Вот кому издавать АА.

В ней мне дорога та черта, которую сейчас я более всего ценю в людях: надежность. И трудолюбие, трудолюбие – золотое.

Конечно, кое-что все-таки осталось выяснить к сверке. Нет конца.

30 мая 68. Пиво-Воды. Море зелени, море птичьего пенья. Кукушка кукует с раннего утра, обещая 80 или 100 лет. Соловьи.

Мечтаю сесть за свое – и взяться за себя, за прогулки – но корректура еще держит: надо написать письмо Хренкову о гнусных рисунках, письмо Друяну – о техреде, ошибках и пр., согласовать мой отдел с Э. Г. и т. д. Конца не видать. Я в этом вязну, потому что все делаю медленно, трудно, путано, хаотично.

9 июня 68. Урывками привожу в порядок свои стихи.

Эмма Григорьевна *наконец* прислала мне примечания к отделу прозы – только теперь, накануне сверки! А мое сердце давно сомневается в них. И, оказалось, недаром: они почему-то текстологические (а в отделе стихов, главном, никакой текстологии); всякие ед. хр. и весь жаргон, уместный в академическом издании, а не в нашей книге. Ну, и самые примечания сделаны не без занудства. И беспрерывные ссылки на Харджиева.

Как спасти от этого книгу – не ведаю.

15 июня 68. Неприятный разговор с Э. Г. по телефону. Она получила мое письмо с критикой ее примечаний и, очевидно, не согласна. Ну что ж! Она не артистична, я это знала давно. И при этом она в своем праве: мое дело сказать, а ее решить. Я сказала, но настаивать не буду.

6 июля 68. Забыла написать очень важное: накануне болезни – письмо от Друяна – они сняли:

«За такую скоморошину» (пусть)

Три строки из «Поэмы» – пытки и пр. – (Ладно)

Кусок из «Эпилога» – «Мой двойник на допрос идет» – этого я допустить не могу. А как не допустить?

Сняли эпиграф из Бродского. Тоже не дам.

Я написала Друяну протест, просила вступиться Жирмунского. Ответа нет.

Я не знаю, просить ли вступиться Суркова, Леву? Сейчас или потом? Ничего не знаю и нет сил об этом думать.

13 июля 1968. В ответ на мое письмо-протест против изъятия строк «Поэмы» и «Эпиграфа» из Бродского – Друян прислал совершенно казенное письмо, очень наглое. Ну я ответила так нагло (и спустя рукава), что они наверно расторгнут со мной договор.

(На Друяне сказывается полученный выговор.)

От Жирмунского письмо. Вот это человек! Заступился в издательстве за эпиграф из Бродского – очень энергично – будет продолжать бороться.

Советует, чтобы К. И. тоже написал в издательство. Дед обещает.

15 июля 1968. Читаю «Дар» Набокова. Этакий русский прустианец. Талант, талант, но до чего же противный человек – нечеловечный. Разоблачает Чернышевского. Я терпеть не могу Николая Гавриловича, но Набоков просто не понимает и не знает ни его, ни эпохи. Чернышевский писал нудно; а Герцен был гений – но и о нем Набоков пишет пренебрежительно. Судить Николая Гавриловича как литератора глупо; он был плох; а явление, деятель, человек необыкновенный. Добролюбов и особенно Писарев были несомненно талантливы (хотя и писали вздор). «Шестидесятники не понимали в искусстве» Верно. Не понимали. А кто и когда понимал?

Тут же какие-то укусы Герцену – совсем дурацкие и невежественные.

30 июля 1968. Наши пытаются причинить зло Чехословакии. Это не удается и не удастся: напротив, там рождается великое благо единения, подъема. Но вред, причиняемый нашему народу – огромен и непрощаем: опять простые души, наивные души, невинные души *верят лжи.* Вторят лжи. Соучаствуют во лжи – невинно.

16 августа 68. Сквозь все думаю о своем дневнике. (Переписывая ахматовский). Иногда мне кажется, что я поняла, как его делать. (Обрывки, отбор, 1/100), иногда нет. И когда же я при таких темпах доберусь до него?

Событие: Петровых прислала мне свои стихи – в «Лит.

Армении» и в газете. Дивные; особенно «Черта горизонта». Такие мне близкие.

21 августа 68. Вот и ожидаемое мною августовское несчастье: мы оккупировали Чехословакию. Несчастье для чехов, несчастье для нашей интеллигенции, а пуще всего для нашего оболваненного народа, который опять верит в газетные кровавые пошлости.

25 августа 68. Кончила насквозь перечитывать «Войну и Мир». Обычно я пропускала рассуждения, тут заставила себя.

Главная мысль, что делают историю массы, а личность – Кутузов ли, Наполеон – сильна только покоряясь воле масс, собственная же сила ее не существует – верна ли эта мысль?

Для XX века – нет. При наличии радио, газет, телевидения личность, захватив все это, может, по собственной, личной воле нажатием пропагандной кнопки сама создавать «волю масс»… Кутузов, по Толстому, был силен тем, что у него в душе делалось то же, что в душе у «каждого русского солдата». Но Сталин или Гитлер могли нафаршировать душу каждого из своих солдат, чем хотели, и потом оказывалось, что их воля «совпадает» с волей масс.

И Брежнев с К° могут. Оболгав Чехословакию, они внушили – с помощью радио и газет – свое лютое вранье «каждому» – и теперь «совпадают» с волей каждого.

Я думаю, что в нашем обезличенном веке личность – и положительная и отрицательная – играет огромную роль.

4 сентября 68. Я все думаю о статье Лакшина[320]. Пересказывая мысль Булгакова, выраженную во всем романе и в особенности в главе о Христе и Пилате, Лакшин утверждает, что правда и справедливость всегда в конце концов торжествуют, и поэтому не надо вести себя как Пилат.

Где он видел в истории это торжество? В истории – никогда. Только в искусстве.

Где торжество республиканской антифашистской Испании? Когда оно настанет и настанет ли?

Где торжество антисталинизма?

Когда восторжествует удушенная Чехословакия, воскресшая было и снова уложенная в гроб?

В 1831, в 1863 г. – разве победила справедливость в Польше?

В истории народов и людей правда и справедливость НЕ торжествуют.

Нет, надо не быть Пилатом и говорить правду зная,

что победа будет за неправдой, что справедливость *не* восторжествует, что Христа снова распнут… Все равно, твое дело маленькое: безо всякого смысла и толку говорить правду. Не мочь иначе.

7 сентября 68. Прочитала насквозь Цветаевский том Большой серии Библиотеки Поэта.

Утвердилась в своих прежних мыслях и обосновала их.

Пастернак писал о Маяковском, что 150 миллионов – творческая вещь, магнит, ничего не поднимающий.

На мой взгляд – 50 % Цветаевой – вещи не творческие; 25 % – безвкусные; 25 % – гениальные.

Маршак говорил о цыганской страстной ворожбе в ее поэзии. Это верно. Ворожба над словом – в «Тоске по родине», в «Попытке ревности», в «Кусте».

И вдруг она заменяется пустым механическим словоговорением, мертвым. В скифских стихах, например. В кусках поэм.

Чтоб не жил, кто стар,
Чтоб не жил, кто зол,
Богиня Шитар
Храни мой костер.
(Зарев и смол!)
Чтоб не жил кто стар
Что *нежил*, кто юн!..

Это ведь механическая графомания, которая может кончиться на следующей странице, а то и через три.

Из ее дневников, цитируемых в комментарии, видно, что она часто писала вперед прозой и обдумывала, куда что и как повернет – а потом излагала стихами. Вот тебе и ворожба!

Она много и постоянно работала, но в 50 случаях из ста – не вдохновенно, а рассудочно. И этими рационалистическими экзерсисами загорожены в книге шедевры. И эти рассудочно-новаторские (вместо вдохновенно новаторских) экзерсисы породили холодное вытрющивание Вознесенского, Мартынова. Ворожбу-то они не унаследовали, а вот это:

Взрывом газовым
Час. Да-с.
Кто отказывал
Тот даст.

Это не заумь и не ворожба, а тяжкий воловий невдохновенный труд, в котором она же попрекала Брюсова

Винт черной лестницы
Мнишь – стенкой лепится?
Ночь: час молитвенностей:
Винт хочет вытянуться[321].

Не дай Бог. У Пастернака так бывает и у Маяковского. Но реже.

Поэмы растянуты, болтливы, неподвижны. Есть ощущение, что колеса машины буксуют, крутятся зря, ни с места. («Поэма горы», «Поэма конца»). О «Царь-Девице» и «Молодце» молчу – безвкусно до бездарности.

Зато – «Куст»! Зато – «Плач боли и любви»! Зато – истина в пяти словах! Зато – «Тоска по родине»! И, превыше всего для меня сейчас, два из стихов к Блоку (Это не «Час. Да-с»). На одном я помешалась и повторяю его без конца:

Огромную впалость
Висков твоих – вижу опять.
Такую усталость:
Ее и трубой не поднять.
Державная пажить,
Надежная, ржавая тишь.
Мне сторож покажет,
В какой колыбели лежишь[322].

* * *

Предисловие Орлова – ни глупое, ни умное – никакое – и со всеми обязательными казенными пошлостями. Слово трагедия – через строку, но о настоящей трагедии ни слова. О расстреле мужа и ссылке дочери сказано так:

«Цветаева долго мечтала, что вернется в Россию “желанным и жданным гостем”. Но так не получилось (!) Личные ее обстоятельства *сложились плохо*(!): муж и дочь подверглись необоснованным репрессиям».

(Такими словами о расстреле и Сибири!)

Но это неважно: ахматовский «Поздний ответ» написан, и там

всё сказано про судьбу Марины Цветаевой. И страны.

3 октября 68, четверг. Вчера Эмме Григорьевне позвонил из Ленинграда Друян:

«Книги Ахматовой не будет. Она вычеркнута без рассмотрения».

Предложил нам троим написать требования на 100 %.

Какая инстанция совершила этот подвиг? Ленинградский Обком, доблестный тов. Толстиков?[323] Москва – Комитет по печати? Кто?

АА говорила: «Со мной бывает только так. Никогда иначе. Ведь это я, моя биография».

14 октября 68. Какой подарок – поведение подсудимых на суде! Они имеют право повторить герценовские слова: «Мы спасли честь имени русского и за это пострадали от рабского большинства»[324].

28 октября 68, понедельник. Сегодня месяц, что я из больницы.

Дошли подробности ленинградского разбоя.

Уволен из Библиотеки Поэта (то-то рад Лесючевский!) – Орлов, И. В. Исакович и какая-то еще женщина на Бух. Увольняли их с треском и громом – предательствовал наш друг по делу Бродского, Толстиков. Какой-то болван за границей, мемуарист, написал где-то, что Гумилев был английским шпионом. Это – собачья чушь, потому что Гумилев – офицер, патриот, мог быть кем угодно, кроме шпиона. Но этой чуши пожелали поверить. А в книге, составленной Эткиндом – «Русские поэты-переводчики» – дан Гумилев, и в книге, составленной Орловым – «Поэзия XX века» – тоже есть Гумилев. Это названо идеологической диверсией; кроме того, Эткинд в предисловии написал правду, т. е. что наша переводческая школа сильна, потому что поэты не имели возможности писать свое и вынуждены были переводить. Это тоже диверсия. Эткинда собираются выгнать из Института Герцена и может быть даже лишить профессорского звания (слухи), хотя книга с выдирками выйдет. (Переводы Гумилева заменяются Маршаком и Лозинским).

Была подготовлена более мягкая резолюция: с выговорами, но Толстиков предложил увольнять.

С докладом о Библиотеке Поэта выступил известный ленинградский прохвост Выходцев[325]. Орлов искажал представление о советской поэзии, печатая Мандельштама,

Цветаеву, Заболоцкого…

Словом мы снова погрузились во мрак средневековья.

4 ноября 68. Сегодня я узнала, что в редакции «Огонька» повесили портрет Сталина.

12 ноября 68, вторник. В «Знамени» роман Чаковского во славу Сталина[326]. Он видите ли был противоречив… Этот плоский, совершенно элементарный палач.

Мне хотелось бы написать А. Б. Чаковскому такое письмо:

«До сих пор я думала, что самая гнусная профессия в мире – это быть палачом. Теперь я поняла, что есть еще более гнусная: быть защитником палача».

* * *

Перечитывала «По ком звонит колокол». Ах.

А какая у него удача – Пиляр… Такой героини еще не было ни в одном романе.

А как верно у Хемингуэя – потому что так и в жизни – что людей поднимают на борьбу не рассуждения о крупной и мелкой буржуазии, какой писатель. Какой великий писатель. Каждому слову веришь. И этому мужеству, и этой любви, а ненависть к людям, которые могут отрезать девушке косы и засунуть их ей в рот. Нарушение нравственных норм.

Но, как мы знаем, побеждают фашизм только танки и самолеты иностранных государств. (Если иностранные войска сильны). Партизанская ярость народа – или декабристы – против фашизма бессильны.

А как написан Кольцов!

19 ноября 68, вторник. У меня была Нина Антоновна. Трудно было мне – она сидела до 2-х ч. ночи! Она привезла мои «Записки», которые я давно хотела ей дать и не давала из-за Виктора Ефимовича: А. А. последние годы его не любила, и я не хотела, чтобы он читал. Тем более, что он на пунинской стороне… Но Толя сказал мне, что Ардов в отъезде, и я поспешила дать «Записки» Нине Антоновне. Теперь она их вернула. Большие похвалы. Никаких замечаний (Правда, у нее нет памяти). Говорит она затрудненно, а все-таки рассказала кое-что интересное. Например, что в начале – или в середине? – 30-х годов она приехала в Ленинград и пришла к АА. У нее топилась печка, и на полу у печки сидел Пастернак. АА ушла к телефону.

Пастернак сказал Нине Антоновне:

– Я решил здесь жить. Поселюсь здесь на полу, и никуда отсюда не уйду. Это мое настоящее место.

Я спросила у Нины Антоновны, как это случилось, что Ардов выступил в защиту Пуниных?

Она объяснила так: – Виктор очень добрый. Он считает, что единственным результатом суда, если бы победили мы (Лева) было бы решение отнять у Пуниных деньги. Бумаги у них все равно не отнимут – только деньги. А они нищие. И ему их жаль.

2 декабря 68, понедельник. Работаю. Книга движется. Параллельно дневнику рассматриваю один запутанный экземпляр «Поэмы», и это очень много дает для истории текста. Посылаю Жирмунскому.

Был Адмони.

Рассказал историю с Добиным. Бог знает что делается в моем Ленинграде! Вышла книга Добина[327]. Вероятно, она плохая. Это раскаявшийся рапповец, чья душа хочет омыться Ахматовой. Бог с ним. Так вот его книга, над которой он работал много лет, вышла. Он купил в Лавке Писателей 250 экз., привез домой, начал надписывать… На следующий день к нему на дом явилась зав. лавкой и заявила, что ей приказано отобрать все экземпляры обратно…

В книге перепечатываются 2 первых листа, где поминается Гумилев… Мания в действии.

28 декабря 68. От Жирмунского получила в подарок «День Поэзии» с 11 стихотворениями АА, которые откопал в старых журналах и опубликовал Орлов[328]. «Ни одно не осталось в сборнике»… Да, ни одно, потому что А. А. этого *не хотела.* И вот первое, что публикуется после ее смерти, это отвергнутые ею стихи. Тиражом в 50 тысяч экз.

17 января 69, пятница. Событие: позвонил из Ленинграда Друян, что высылает сверку… Формулировка такая: «Как вы знаете, книга отложена на неопределенное время. Это значит – может быть, через год, а, может быть, и через 3 дня…»

Теперь задача: не заболеть, не сорвать себе снова сон от ощущения спешки.

Я хочу, чтобы кроме меня, К. И. и Э. Г., прочли Ника и Мария Сергеевна.

* * *

Сверка моя сейчас у М. С. Петровых. Сама вызвалась прочесть. Я рада, послала ей. Мне еще нужны Ника и Толя. (Ника, пожалуй, нужней всех – ее здравая, ясная голова.)

30 января 69. Что еще давит и не дает как следует взяться за труд – это сверка. Я прочла ее быстро, в 3 дня, преодолевая – и скрывая – легкий грипп. Затем отдала Марии Сергеевне – ее понимание и знания нужны. Заболела Ариша[329]. Потом она сама. Я (с помощью Саши, денег, такси) перебросила ее Нике, – которая тоже больна и не то ходит, не то не ходит, не то читает, не то не читает. Затем нужен Толя, который тоже болен. И сейчас все мои силы уходят на то, чтобы не заболеть и ничем не быть выбитой в ту минуту – когда дело дойдет до решений.

Главное, что там трудно решить – это врезка и даты.

Написала я неделю назад и срочно послала Жирмунскому вопрос о некоторых сомнительных датах. Кроме того, послала новые страницы Дневника.

2 февраля 69, воскресенье. Вчера я выдержала большой физический экзамен и пережила то чувство умиления и братства, которое я так люблю.

Я поехала к Нике, и мы шесть часов, с перерывом в 20 минут, без отвлечений и разговоров, работали над сверкой.

(У нее, а не у меня, потому что у нее под рукой *ее* архив – книги с пометками АА, рукописи и пр.)

Умиление вызвала во мне вчера Ника. Спокойная, уверенная, знающая, умелая. Ахматову знает и понимает, корректуру – тоже, поэзию – тоже. Труженица.

Выглядит плохо, замучена службой, переводами, недосыпом, недоеданием – хворает от этого – но, как мы когда-то, не работает от этого хуже. Нет.

Я у нее в долгу по уши. Отплатить нечем. Я за эту работу получаю деньги, она, нуждающаяся, нет. Я даже не знаю, смогу ли книгу ей подарить. Единственное мое утешение и оправдание, что и я десятилетиями работала над чужим, убивая себя и глаза, не успевая зарабатывать и писать свое. Значит это и есть та «цепь добра», о которой говорил когда-то С. Я.: получаешь столько же, сколько дал, но не от тех, кому дал.

Сверка у Толи …в стихах, в поэзии понимает и есть стороны книги, *вопросы* поэмы, о которых с ним советоваться – хорошо.

Слух, вкус, решительность.

10 февраля 69, понедельник. Сверку отправила, кажется, 5-го.

Помогал очень Толя, но у него кто-то заболел в Ленинграде, и он срочно вылетел туда. К счастью, на последнем этапе вдруг свалилась Фина – переписала на машинке мое письмо Друяну и отнесла все на телеграф.

Мелькнула милая братская Ника, прочитала свое заявление, приготовленное для суда. (Суд завтра). Толково, умно, точно. Она попросту говорит, что дома у Ахматовой не было, что с Пуниными в Ленинграде она жить не могла, т. к. они и не брали никогда на себя забот о ней, что в Комарове они тоже с нею никогда не жили, что об одной семье не может быть и речи.

Затем я дала ей прочесть заявление Ардова в суд, которого и сама прочесть не успела. (Его прислал мне по моей просьбе Миша Ардов). Оно оказалось чудовищным. Недаром АА думала о нем в последние годы *самое плохое.* Заявление его в суд необычайно глупо и сверхподло. Сначала он зачем-то пишет о Таганцевском заговоре и расстреле Н. С. [Гумилева]; потом, касаясь архива, говорит, что *АА хранила свои произведения, которые нельзя было печатать – у друзей, боясь обыска.*

Ничего себе сообщеньице. Словом, делайте обыски у них – найдете.

Завтра там суд. Каково бы ни было решение (а я думаю, оно будет не в нашу пользу), суд все равно нужен, чтобы было зафиксировано отношение порядочных людей к этой грязной торговле – это раз – и, главное, чтобы дать будущим биографам в руки материал для биографии АА. У Ники прекрасно сказано: здесь стоит вопрос жила ли Ахматова с Пуниными одной семьей. Ахматова с ними вообще не жила. Зимами – в Москве, летами в Комарове – и без Пуниных, которые именно летом уезжали куда-нибудь в другое место.

16 февраля 69, воскресенье. Суд идет и до сих пор, но показания свидетелей кончились, и Толя, и Ника уже вернулись и чуть докладывали по телефону. По-видимому «наша сторона» держалась с достоинством, что и требовалось: приговор в данном случае совершенно неважен.

Приговор это мы.

Был Толя – днем. Ходили вместе гулять. Подробно рассказал о суде. Недоволен собой, чувствуя себя под взглядом АА. Пунинские адвокаты каждого свидетеля подмачивали так: «а скажите, Глен, почему вы не сдали в ЦГАЛИ книгу, которую вам давала на время АА». «А скажите, Найман, куда делись подстрочники к Леопарди»? (Пунины воображают,

что подстрочники к Леопарди – ценность!) «А скажите, Найман, какая часть ахматовского архива – у вас?» «Я уже отвечал: никакая. У меня письма Ахматовой ко мне и ее стихи, подаренные ею мне с надписями».

16 февраля 69, воскресенье. Работаю ежедневно. А по вечерам, как подарок, мне помогает Фина – описывать экземпляры «Поэмы». Работает с воодушевлением, хотя и совершенно неумело. Но с ней мне легко. Предлагаю ей быть моим платным секретарем – это имеет смысл. Не знаю, согласится ли. Если я буду не больнее, чем теперь, у меня хватит сил ее и учить чему-нибудь.

16 февраля 69, воскресенье. Продолжение. Больше всех терзали Мишу Ардова, который опровергал гнусные показания отца. Эффектно было выступление Крупецкой – соседки АА по палате – которая прямо сказала, что АА говорила ей: «Вот, другие выписываются домой, за ними родные приезжают, а у меня нету дома и ко мне не пустили моего единственного сына и наследника». Адвокаты пытались подмочить ее биографию, но оказалось, что она ныне – пенсионерка, а в прошлом – партработник… Сурков произнес целую речь – почему-то из своей военной биографии. Жирмунский говорил 1½ часа в суде (а потом на Комиссии докладывал о своем издании и читал новонайденные стихи АА).

Теперь, по болезни Ирины, продолжение суда отложено до вторника.

Аня ломалась и лила женственные слезы.

Смешна была одна свидетельница со стороны Пуниных, которая говорила:

«И. Н. ей всю жизнь отдала, так о ней заботилась, как родная. Да ведь Анне Андреевне ничего не надо было, я видала ее постель в Комарове – она на кирпичах спала».

Толковы были Эмма и Лидия Як. Гинзбург.

28 февраля 69, вторник. Еще есть у меня радость: Фина. С неуклюжей грацией и с большой любовью она помогает мне работать.

Ее помощь мне дорога еще и потому, что я в любую минуту могу ее выгонять. Нет норм труда. Когда я пишу – мне ее не надо. Когда я худо себя чувствую и по-настоящему работать не могу – мы с ней приводим в порядок архив, а это очень важно. Вчера вместе многое расчистили и разложили – для меня это облегчение большое.

15 марта 69, суббота. Хочу переделать «Спуск». Я почувствовала, что он как-то родственен ахматовским дневникам – потому что ведь он тоже рожден дневниками…

* * *

В газете – подвалы из романа Шолохова…[330] Столь же бездарно, сколь и лживо, столь же лживо сколь и бездарно… Концепция: Сталин не знал, это все Ежов и Берия; были зря посаженные, но их потом выпускали; Сталин – личность таинственная.

Но Шолохов – нет.

25 марта 69, вторник. Фина согласилась быть моим секретарем. Я рада. Она – из тех редких людей, которые *слышат* слово. Стихи чувствует удивительно. Я ей прочла мое любимейшее: «И ты ко мне вернулась знаменитой»[331] и когда я произнесла

Из месива кровавого тогда, –

она непроизвольно схватилась за голову. Никакого в этом смысле сравнения с Сашей [Осповатом].

Кроме того, она привязана ко мне и ей со мной интересно. Однако – растяпа, рассеянная, медлительная. Натура не секретарская, а скорее от поэзии. Все теряет. Никак не привыкнет к библиотеке.

Кроме того, ее рассказы об Университете внушают мне омерзение и сильный испуг за нее. Сплошная мура да еще провокационная. А каким чудесам за 4 года обучения можно было бы научить этих детей!

20 мая 69, вторник. Окончив «Спуск», я дала его прочесть Копелевым, чтобы решить, спускать ли его на воду, Я просила Раису Давыдовну подыскать мне двух читательниц, заведомо не любящих лирическую прозу. Она подыскала: Шитову и Зонину[332]. Тут я получила на голову ушат холодной воды. Явились Зонина и Шитова. Зонина кажется мне вообще суховатой (голос по телефону), а Шитова толста, жива и мила. Обеим повесть не понравилась, по-видимому, до отвращения. Чтобы скрыть его, Шитова сказала, что на тему о лагерях не выносит беллетристики, а жаждет только статистики, цифр и фактов;

а Зонина – что она вообще любит только Достоевского, Сартра, Фолкнера и Кафку. Обо мне, о моем пути (!) они, по-видимому, имеют представление самое туманное: «Софью» не читали, вообще, вероятно, ничего, кроме письма Шолохову. Были очень литературны и старались быть любезными, но Зонина сказала:

«Героиня все твердит: “Спуск, спуск”, ищет одиночества – по-видимому, собирается написать что-то заветное… Вот если бы она действительно написала нечто, а то…»

Затем:

«Она какая-то странная: и общество для нее шок, и вести из лагеря впервые в 49 г. Почему-то она *ничего* не знает».

Я отвечала – хотя мне следовало бы благодарить и молчать.

Я сказала, что книга вообще не о лагерях, а о слове – гражданском и поэтическом.

Объяснила, что до 48 г., когда впервые начали ненадолго возвращаться люди из лагерей, конкретно никто и не мог ничего знать о лагерях. (Это они уже забыли).

– В 39 г. выпускали, – сказала Зонина.

– Из тюрем, – ответила я.

Затем я позволила себе заметить, что если в 49 г. героиня едет в Дом Творчества, чтобы написать о 37 г. – то – даже если она написала нечто совсем ничтожное, она имеет право относиться к этому делу патетически.

Вот мне урок. 1) Все забыли последовательность; 2) Все будут ждать от вещи свежей информации о 37–49 гг., а она не о том.

Тем не менее, я решила по-своему.

Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила[333].

27 июня 69, пятница. В «Юности» публикация Жирмунского[334]. Много стихов; среди шедевров – плохие. Кроме того, одна беда: принял перевод с корейского за оригинальные стихи и напечатал («Душа кукушкой обернется…»).

В этом отчаянном чтении Дневников есть одно хорошее: я ведь собираюсь, по-видимому, жить до 100 лет – пока всего не напишу; собираюсь после Дневника об Ахматовой – написать статью об Ахматовой – а потом заняться и собой, т. е. Дневником о себе. И вот, читая и перечитывая, я чуть-чуть начала понимать, как это можно сделать. Группировать материал вокруг «Нового Мира» потом вокруг «Пионерской Правды», потом «Лит.

Наследства». Пастернака и Заболоцкого не выделять, а там же. Дом сильно уменьшить количественно. Ну а потом клочки мыслей – о книгах, о времени.

14 августа 69. Пиво Воды. Нашла деда сильно встревоженным. Не в 87 лет переносить такие налеты. Вчера к нему явился в гости Франклин Рив с семьей. Он путешествует, он снова в России. И приехал к деду. Они все гуляли в саду, а у ворот стоял высокий фургон. В сад вошла милиция и капитан велел Риву немедля покинуть Переделкино, в последний год запрещенное для иностранцев[335].

24 августа 69, воскресенье. А я прочла Георгия Адамовича. «Комментарии». Помню его в своем отрочестве – в Доме Литераторов, куда мы ходили вместе с Гришей Дрейденом – всегда рядом с омерзительным мне красногубым фатом Георгием Ивановым – потому и он мне казался мерзким. Стихи его мне неизвестны, но книга во многом замечательна. Вот в чем: в понимании стихов. Какие для меня удивительные совпадения в цитатах – когда он о Блоке или о Лермонтове. Правда, я не могу согласиться, что Христос в конце «12» привлечен Блоком всего лишь для литературного эффекта. Блок верил (несколько месяцев, по-видимому) в окрыленность и справедливость революции – вот он и поставил впереди самое крылатое и справедливое – Христа. Это как выстрелы Христовы в 905 г. у Пастернака. Изумительно говорится о Блоке и Лермонтове, о самой их сути – о ритме у Блока, о райском тембре у Лермонтова, которому даже глазки или риторика не мешают. И о Достоевском слова Одена («общество, которое забудет то, что он сказал, недостойно называться человеческим») и слова Набокова – «отечественный Пинкертон с мистическим уклоном» – из которых я поняла, что недаром меня Набоков отталкивает: он попросту Смердяков или Епиходов. А о Блоке у Адамовича – что стихи его ни о чем не рассказывают, а все передают, – замечательно. Вообще о единственности Блока все верно.

Страшная годовщина[336]. Я слушала Кузнецова, а потом Белинкова. Кузнецов прост, нелитературен и оттого приятнее. И это умно – «Простите Россию». Белинков витиеват, воображает себя Герценом всерьез, истеричен – и по его очень образной речи я поняла вдруг, что почему-то радио противопоказана образность[337].

30 августа 69, суббота. Пиво-воды. Новое лицо: Слуцкий[338]. Мы гуляли втроем с ним и с дедом; он стал просить у деда чего-

нибудь для «Дня Поэзии». Потом вдруг обратился и ко мне. Я предложила – «Поэму» Ахматовой, Поэму «целиком» – ну, кроме 5 строф, наконец-то целиком! Ведь это позор, что за границей она уже столько раз напечатана вкривь и вкось, а у нас ни разу верно. Он отнесся с сомнением; «скажут, что она печаталась кусками, что ничего нового». Но «Поэму» нельзя печатать кусками!

7/X 69, вторник. Но самое милое явление была Надежда Августиновна Надеждина[339]. Великомученица. У нее в одну секунду умерла – по-видимому, от большой стирки! – сестра. У нее на руках 90-летняя мать и сумасшедшая Ляля. Живут в Ленинграде в трущобе, сюда она вырывается изредка. Сестра Тамара посылает матери 20 р. Надежда Августиновна работает на всех – а какой был лирический, тонкий талант. Вся жизнь – пытка, если вспомнить гибель мужа, «Пионерскую Правду», историю с Союзом, лагерь.

Разумеется мы помянули Ольгу Всеволодовну. Еще одна черта, о которой я все время почему-то забываю, а Надежда Августиновна в этот раз напомнила: она у Надежды Августиновны взяла, уезжая из лагеря, плащ, белье, деньги, обещая вернуть мгновенно – и *ничего* не вернула.

28 октября 69, вторник. Я сейчас из больницы. В 2 часа 11 м. скончался дед.

Каждый раз, как я возвращалась через проходную, меня спрашивал очередной милиционер: – Ну как сегодня К. И.?

(Когда он там болел на ногах, он каждый день приходил, гуляя, поговорить с милиционерами и вахтерами.)

* * *

Дед, где ты. Я привыкла видеть тебя не часто, но знать, что ты есть.

Я всегда, с детства, причиняла тебе неприятности, вольно или невольно. От меня всегда на тебя шла тревога, а ты любил, чтобы от людей шло веселое, бодрое. Много лет я помогала тебе и твоему дому, но последние годы, заболев, вынуждена была бросить. И опять от меня тебе тревога: туберкулез или рак? Не посадят ли за письмо Шолохову? А в детстве! А потом не там училась. А потом тюрьма и ссылка. А потом не там работала. А потом не так вышла замуж. А потом – так, но Митю убили. А потом тоже никогда от меня тебе никакого проку. *Почти* никогда.

Но все-таки ты немного гордился мной и иногда жалел.

Дед.

5/XI. Сегодня ужасная новость: в Рязани исключили из Союза Ал. Исаича.

Это начало…

Мое решение принято…

22 ноября 69, пятница. *В* среду была в Переделкине – на могиле и в доме.

Очень боялась этой поездки, а оказалось – хорошо.

«Тишина лечит душу».

Могила имеет вид пышно-мусорный. Много венков, лент, цветов, все засохшее, грязноватое, жухлое.

Вот он куда переехал из своей теплой и светлой комнаты, дед.

Недалеко от дома, от своего стола, дивана, лампы. Халата. Абажура с картинками.

Я позвала тихонько:

– Дед.

Постояла, прижавшись головой к деревцам.

Холод погнал меня по глине вниз.

25 ноября 69, вторник. Сегодня была в Переделкине.

Ходила гулять – потом читала и в особой тетрадке конспектировала дедовы письма. 1969.

Во мне растут воспоминания о нем – каким он был в моем детстве.

Могла бы писать, но как же ахматовские записки?

А хотелось бы. Это бы писать – лететь (перечтя статьи его того времени), писать лететь, а не писать кропать.

Вчера впервые вернулась к ахматовским запискам. Впервые после смерти Деда.

Смерть деда.

В Переделкино на дорогах пусто – Дом Творчества закрыт на неделю перед открытием нового корпуса. Гуляя, встретила только Щипачева. Обрадовал меня сообщением: написал поэму о Переделкине и там 16 строк о К. И. Будет напечатана в «Огоньке».

Я сказала, что К. И. любил говорить: надо написать роман о Переделкине. И умолчала, какое он хотел ему дать заглавие: «Разложение».

1 декабря 69, понедельник. Бесконечные разговоры о том, что меня, Копелева и Сарру Эммануиловну будут исключать из Союза. Что ж, большая честь быть причисленной к гениям. Чем это может мне повредить, я не знаю.

5 декабря 69, пятница. Читаю урывками, но помногу – дедовы Дневники.

Предсмертные, затем 1963, 64, 65.

Тяжело. Почему так тяжело читать всякий Дневник? Нужно и тяжело? Не потому ли, что «всякий человек ложь есть?»

Свой я непременно сожгу, если не успею превратить его в искусство (как пытаюсь превращать свой ахматовский). Только оно не лжет. А так – когда записываются мгновенные впечатления – всегда невольная ложь, ошибки.

Если бы Дед проредактировал свой Дневник или хотя бы перечел его! Он бы попросту кое-что выкинул.

Но и в этом виде Дневник вполне выражает его прелестную, добрую, тонкую, артистичную, светлую душу.

27 декабря 69, суббота. Кончается 69 год. Ему осталось всего несколько дней, и я жду новых и новых горь.

* * *

Еще одно огорчение: мне пришлось своими руками уложить в гроб статью «Пять писем С. Маршака». Удушить последний мой шанс на голос в печати.

Две недели назад некая Н. Д. Костанжогло известила меня, что статья «без изменений» идет в набор.

Третьего дня та же Н. Д. сообщила мне, что Б. И. Соловьев требует снять 3 абзаца… I абзац – чепуха, я согласна снять; 2 других – о разгроме редакции в 37–39 г. Я – ни за что.

Неприятнейшие разговоры по телефону с З. С. Паперным, И. С. Маршаком, Е. Н. Конюховой. Ощущение ненависти к Соловьеву, который хочет, чтобы вместо «работа редакции была грубо оборвана» писалось: «ряды его сотрудников поредели»; вместо «книги на 2 десятилетия исчезли с полок» – «на некоторое время»; не допускает перечисления имен погибших; не разрешает сказать, что, когда впервые, после смерти Сталина (в статье Германа) была добрым словом помянута редакция С. Я. воскликнул: «Точно замурованную дверь отворили»[340].

Паперный был равнодушно-доброжелателен; Элик[341] – очень

хотел отстоять; Конюхова – лед, официальность.

Ей я сказала в ответ на ее слова: «Неужели нельзя найти какую-нибудь формулировку помягче? Вместе?» – Можно искать *вместе* формулировки, если у людей общая цель. Но у меня с Б. И. Соловьевым разные цели. Он хочет прикрыть 37 г., затуманить его, а я хочу – открыть поясней. Я и то уже пошла на такие смягчения, что не употребляю слов расстрел, лагерь. Мягче, чем у меня написано, я не могу».

Так погибла и эта статья.

И все это вздор. Погибают люди. Арестована Горбаневская. На волоске Якобсон, которого я полюбила. У Наташи Горбаневской двое детей. У Якобсона больной мальчик[342]. И Наташа Горбаневская и Якобсон настоящие литераторы, таланты. Да хранит их – кто?

Так мы входим в 70-е годы…

7 января 70, четверг. Неумело, но с большой любовью и тактом помогает Фина. В самом деле помогает, не обкрадывая.

17 января 70, среда. 13-го Люша получила выписку из протокола Правления Союза, из которой явствует, что меня в Комиссии по дедову наследию нет.

Для меня это несравненно тяжелее, чем если бы меня исключили из Союза.

Формально подлецы имеют основание: один член семьи (Люша) представлен. Двое необязательны.

Люша протестовать в Комиссии не может: на ее плечах такие драгоценные ноши, что хлопать дверьми она просто не имеет права.

Остальные коллеги (в большинстве своем) не видят в этом «ничего особенного». А даже те, которые испытывают некоторое возмущение и сочувствие, вместо того, чтобы возмущаться громко – обдумывают кто с кем поговорит и как добиться, чтоб меня ввели в Комиссию (хотя нужно совсем не *это*). Один пытается мне объяснить, в какой степени меня ненавидят в Союзе, другой – что я еще отделалась легким ушибом и т. д. А я, легко перенеся гибель хрестоматии, гибель своей ахматовской книги, гибель хрестоматии по детской литературе, гибель предисловия к Мильчику, гибель воспоминаний о С. Я. – не стану переносить плевков, когда они оскорбляют во мне мою любовь к Деду и его доверие ко мне как редактору, как к литератору. Этого чувства не понимает почти никто. Когда я сказала Раисе Давыдовне, что для меня то, что они не включили меня в Комиссию гораздо хуже, чем если бы они исключили меня

из Союза, она ответила «этого я не понимаю». Затем добрые люди говорили с другими добрыми людьми и те тоже не понимали. Потому с особой нежностью отношусь я к тем, которые *поняли*.

– Этого не может быть! – закричал человек с мальчиком на плечах, встретившийся мне на прогулке в Переделкине.

– Фантастично. Невообразимо – сказала одна Фридина приятельница.

– Беспрецедентно. Гнусно. Сводить счеты рядом со смертью – сказал один приятель АА.

И еще одна моя нежная почитательница, слегка напоминающая Тусю.

Я была в эти дни в смятении и потому больна. Не спала. Не ела. Разыгралась аритмия. Не работала. Вчера ездила в Переделкино, на дивный пушистый воздух, и мне стало хуже, а не лучше. Сегодня снова не выспалась, решила лежать – но на душе яснее и тише. Даже совсем, совсем ясно и тихо. Ни на чью помощь, ни на чье возмущение не надо рассчитывать. Люди – это люди «и нам сочувствие дается, как нам дается благодать»[343]. В руках у Союза мощное оружие против меня – его завещание. Они могут на него ссылаться. И на то, что включен в Комиссию тот член семьи, который указан в завещании.

«Лидочка не прописана»…[344]

Я сделаю так: подожду опубликования в газете. Затем пошлю в Союз следующее заявление:

> Уверенная, что попытка отстранить меня от всякого участия в заботах о литературном наследии Корнея Чуковского – есть оскорбление его памяти; убежденная, что сводить счеты с дочерью на могиле отца – есть самая низкая низость, я не имею желания принадлежать к организации, способной на подобную низость, возвращаю свой членский билет и прошу не считать меня более членом Союза Писателей.
>
> *Лидия Чуковская*

> Не желая принадлежать к организации, упорно отстраняющей меня от всякого участия в судьбе литературного наследия моего отца и тем самым нанесла грубое оскорбление его памяти и нарушила его много раз высказываемую волю – прошу не считать меня более членом Союза Писателей.
>
> Билет возвращаю.
>
> *Лидия Чуковская*

Они будут рады? Пусть. Я тоже буду рада. А изданию и переизданию, и деньгам, и Люшиной работе над архивом это не повредит. Напротив. Станет легче и проще – без меня.

* * *

Вторая гнусность этих дней: письмо от Наташи Роскиной.

Т. к. я недавно перечла целую пачку писем деда ко мне о ней[345], то ее письмо – грубое, без обращения, цепкое – пришлось как-то очень кстати.

Случилось то, из-за чего я столько спорила с друзьями, особенно с Львом Зиновьевичем: вокруг Дневников поднялась вонь сплетен. Кто-то пересказал Наташе Роскиной, что там о ней написано. Ничего особо плохого там не написано, но в перевранном виде все равно обидно[346]. К тому же она только что сама написала воспоминания о своей дружбе с АА, совершенно безоблачные. И вдруг оказывается, что облака были… Я не хотела причинять ей или кому-либо боль, но был случай когда одна моя приятельница не послушалась меня, нарушила все условия – и вот результат. Предвиденный мною, тот, которого я и боялась.

Я написала ей письмо довольно слабенькое и неумелое, потому что была совсем не в форме.

Л. З. зачем-то ходил к ней объясняться.

С. Э. [Бабенышева] тоже говорила с ней по телефону.

Она рыдает. Мне не жалко. Она приносит зло (см. К. И., Фрида, Николай Алексеевич[347], я).

7 февраля 70, воскресенье. Идут, тянутся пыточные часы «Нового Мира». Дай Бог силы и света Твардовскому. Туда вводят танки: выгоняют Лакшина, Кондратовича, Марьямова и др., и на место их вводят каких-то подонков. Тут главная низость на мой взгляд та, что не хотят «снять Твардовского», а чтоб он сам ушел.

А в последних номерах – интересная Баранская[348] (тоже, в своем роде, счастливый день Ивана Денисовича), хорош Володин о Каракозове и очень силен Лакшин о Глумове – тоже о нас…

Говорят, начальство придралось к тому, что «Грани» издали отрывок Твардовского «Сын за отца не отвечает»[349]. Думаю, «Грани» – это все тот же Виктор Луи[350].

* * *

Мы получили уже 2 отказа переиздать дедовы книги: «Живой как жизнь» и «Современники».

«Нет бумаги».

9 февраля 70, вторник. Вчера в Переделкине гуляла с Веньямином Александровичем[351]. Какое-то письмо 17-ти; подписи: Исаковский (Герой труда), Каверин и не знаю кто.

Вечером вчера у нас ленинградец, осведомленный. Трое – Бек, Каверин, Можаев идут к Подгорному, утром[352].

Твардовский написал письмо Брежневу и отказался говорить по телефону с Большовым[353].

Все было решено на Бюро секретариата – без него. Он был приглашен на более поздний час и ему объявлено. В Бюро – Воронков, Георгий Марков, еще кто-то, Федин.

Выводят Лакшина, Саца, Кондратовича и еще кого-то. Вводят – Овчаренко, который кричал на секретариате, что Твардовский печатает в «Гранях» свою кулацкую поэму… (Сын за отца не отвечает.)

Слухи: Твардовский не пустит в редакцию никого из новоназначенных. Сам. Он назначен ЦК; решение Союза, мол, для него не указ. Он и обратился в ЦК к Брежневу – пока, мол, не получит ответа – никого не пустит и не уйдет. Смело и умно. Пусть снимают.

По-видимому, в заместители ему метят Косолапова из Гослита.

Вечерние слухи: завтра в «Лит. Газете» будет петитом в хронике об переменах в редколлегии «Нового Мира». И – как компенсация – какая-то статейка против Кочетова. Хитро, хитро!

А что будет со средним составом? Ася Берзер, Инна Борисова? Останутся ли, уйдут ли – и куда?

Я горюю, я сочувствую им, но у меня в памяти – неотступно! – разгром *нашей* редакции. Застенок; пытки; шельмование в газетах за связь с иностранными родственниками; контрреволюционная группа; морально разложившиеся люди; диверсия, подрыв, свили гнездо; увольнения за связь с врагами народа, еженощное ожидание ареста за то, что я была знакома с Шурой… Расстрелы Мити, Сережи, Олейникова, Тэки. Выкорчевать корешки. Искоренить остатки.

Все иначе, потому что в потоках крови, и все то же, потому что в потоках лжи.

12 февраля 70, четверг. Хитро. Вчера вышла «Лит. Газета».

Скучнейший разбор книги Кочетова, как будто это в самом деле книга и ее можно разбирать. Какие-то достоинства, какие-то просчеты и ошибки.

Это – в центре. Петитом, в хронике, заседание бюро секретариата, где, якобы в присутствии Твардовского, произошла смена некоторых членов редколлегии.

И на видном месте – протест Твардовского не против разгрома его журнала, о котором только и говорится в городе, а против напечатания куска его поэмы за границей в «Гранях» (и это еще полбеды!) но далее: «которая будто бы не печатается в СССР». Как же «будто бы» – если он пытался напечатать ее в «Новом Мире» – и ее вынула из номера цензура?

Ведь это ложь.

Вот и выходит, что он протестует не против увольнения из журнала его ближайших сотрудников, а только против печатания за границей.

Говорят, его обманули: когда он писал письмо (4-го) ему обещали напечатать этот кусок в газете. Но что же он – маленький, не знает, с каким жульем имеет дело?

Что ему теперь остается? Запить? Пулю в лоб? Не политиканствуй.

Я презираю «Грани», но первый мой гнев против *наших* негодяев, которые не печатают Солженицына, Твардовского и десятки других. Против «Граней» – гнев № 2. (Впрочем, они – наш же псевдоним).

И сразу чистота моего сочувствия замутилась… Недаром, недаром не показал он нашему другу свое письмо, когда тот попросил («Дома оставил»). Вот они и квиты – непоказыванием писем[354].

20 февраля 70, Переделкино. Фина помогает мне – умно, неумело, любовно, с сердечным благородством и большой добротой. Я обращаюсь по-свински: не учу, а только эксплуатирую. А ее бы учить!

В «Новом Мире» трагикомическая пауза. Редколлегия уже разогнана: Лакшин и Кондратович работают уже в других местах. Новая редколлегия *не* пришла: Косолапов[355] вдруг взволновался, что ему дают изобличенного вора Большова и подонка из подонков Овчаренко. И не идет сменять Твардовского, хотя отставка Твардовского уже принята Секретариатом, а Брежнев не заступился. Твардовский и весь аппарат целыми днями сидят в журнале, ожидая смены. Авторы ходят туда – сначала ходили выражать сочувствие, теперь уже стало немного смешно и выпивают в буфете. Твардовский часами сидит один, ожидая

Косолапова.

24 февраля 70, суббота. С «Новым Миром» кончено. Твардовский, некогда назначенный секретариатом ЦК, требовал решения не только секретариата Союза Писателей, но и ЦК. И до тех пор не уходил, а ежедневно – уже отставленный – являлся на работу. Теперь состоялось уже и решение секретариата ЦК – и в пятницу он в последний раз был в редакции и там состоялась «отвальная».

Сколько людей остались без хлеба (внутренние рецензии) и без единственной возможности напечататься. И вся интеллигентная интеллигенция – без журнала.

5 марта 70, Переделкино. И после отвальной Александр Трифонович все продолжал и продолжал ходить в «Новый Мир» и ждать смены.

Наконец, в понедельник *они* пришли.

А. Т. согласился принять только верховного, сказав про остальных, что он не намерен расширять круг своих знакомств. И сдал ему дела.

7 марта 70. Прекрасно работает Фина. Переписывает сейчас дедовы письма. Кому еще я могла бы это доверить? Беда только в том, что она более всего хочет для меня и менее всего для учения. Я понимаю, что у меня она может научиться большему, чем в Университете – но ведь необходимо «кончить», «иметь диплом».

1 апреля 70, среда. День рождения деда без деда.

Прошел Съезд[356].

И опять загадка – Твардовский. Почему-то и он на Съезде. Ну, пакостное письмо он тогда написал, чтобы спасти свой «Современник»[357]. А это – для чего?

Непонятны мне новомирцы. Я бы хотела демонстрировать поддержку их позиции, но я не могу поддерживать то, чего нет.

5 апреля 70, суббота. Переделкино. Наверное в душе совершается многое – и при том основное – без нашего участия. «Рана заживает изнутри» – так, кажется, у Толстого сказано… Сужу по тому, что я сегодня приехала сюда, запасшись ключами от верха, и впервые была в обеих дедовых комнатах, была у него в кабинете, и на балконе, и трогала коробочки и книги у него на столе, и лампу, и льва, и паровоз, и индейский наряд, и Чудо-дерево. И не плакала. (А вот теперь, когда пишу, плачу).

Я отодвинула камень от его двери – сколько раз я делала это движение ногой! – и вышла на балкон. Он бы уже сидел там на солнышке, держа в руке дощечку, укутанный в плед.

Так все как будто на месте, будто при нем – но не совсем. На столике возле тахты не стоят: термос, кружечки, чашечки. На балконе, в застекленном отсеке, тоже не так, как при нем. Но это мелочи, пожалуй.

Работаю я весьма плохо.

Один камень свалился с плеч – «Новый Мир», сознание, будто я что-то должна сделать в поддержку, взять демонстративно дедову статью и пр. Нет. Нельзя поддерживать позицию людей, у которых нет позиции. Твардовский ходит на Съезд и снимается рядом с Прокофьевым… У дам позиция чисто обывательская. Поддерживать нечего, некого. Лакшин остается талантливым, умным – как и Твардовский – но для них главное не то, что для меня. Дай им Бог здоровья, пусть живут дальше, не теряя ума и таланта.

Да, еще о Дмитрии Сергеевиче:[358] он сказал, что он последователь Федорова[359], что он считает главной задачей человечества: воскрешать людей и времена. Это очень мне близко; да, это главное дело искусства и истории.

Я должна воскресить АА и молодого деда… Хотя бы отчасти. Но у меня нету не только такого таланта, а и такой *воли* как у классика; безделица выбивает меня из рабочего седла. И нету помощников, кроме Фины, которую я люблю с каждым днем все больше, которая хочет помогать и во многом помогает, но многого и не умеет сама.

31/V. Отправлен насильно в сумасшедший дом Жорес Медведев[360].

Я его не видела и не читала. Но знаю, что он действовал во всех своих поступках и писаниях с самым дотошным соблюдением законов.

Цветущий, здоровый, без малейших психических отклонений.

Какое злодейство!

* * *

Перечитываю Дневники, статьи и письма Блока и, как всегда, не могу оторваться. Даже в изуродованном виде (Орлов здорово постарался, выпрямив путь Блока в революции и отрезав предсмертное зрение) – даже в оскопленном виде эта проза пронзает. АА говорила: «из Дневника видно, что Блок не любил

людей». Да, не любил, он любил *избирательно* – и как это близко мне! Он мучился пошлостью, грубостью, хамством, как и обречен мучиться поэт «дитя любви и света»[361]. Он ненавидел буржуа, да что же в самом деле может быть мерзее буржуа? Он совершенно не угадывал будущего – но кто же его предвидел? Когда он понял свою ошибку, он умер.

Вычитала у Блока:

«Волею судьбы (не своей *слабой* силой) я художник, то есть свидетель»[362].

11 июня 70, четверг. Жирмунский – рассуждения о перспективах выхода ахматовских книг. Полон энергии, трудолюбия и соображений. А у меня попросту сердце болит за АА.

Причина остановки, запрещения Лениздатской книги остается тайной. Но Виктор Максимович думает, что причина – не я.

Сообщил, что во Франции напечатана «Поэма» со строфой «Ты спроси у моих современниц…» Чья работа? Кто выдал (т. е. загубил «Поэму» здесь?) Аманда показалась мне симпатичной и выросшей. Я поручила ей прислать мне чернила (здешние портят мои японские ручки) и лекарства.

24 июня 70, среда. Все еще распутываю даты дедовых писем по своим – хоть это бы кончить скорее! Читаю свои письма и кое-что даю Фине перепечатывать для «Обрывков» – книги о себе, до которой вряд ли когда-нибудь дойдет очередь.

№ 1 КИЧ

№ 2 Записки об АА

№ 3 О стихах АА

№ 4 Обрывки

Если хватит жизни – то ведь не хватит глаз.

15 октября 70, четверг. Думаю о *цели* искусства.

Когда-то, в 37 г., после всех крушений и на краю гибели, изведав гибель близких, клевету, смертный страх, мы говорили с Зоей [Задунайской] о том, что новых друзей у нас уже не будет, потому что какие же друзья без знания пережитого друг другом, а *рассказать* о пережитом, «поделиться опытом» – невозможно.

Вот как в «Раковом Корпусе» Костоглотов ничего не может рассказать своей Зое.

Искусство – рассказывает. Никакой фактической информации это не по плечу. Передает опыт лиц и поколений и тем самым связывает человечество воедино – в гораздо большей степени чем

религия, философия, история – искусство.

Для других существуют иные источники познания. Для меня только этот.

20 ноября 70. Виктор Максимович сообщил мне свои очередные соображения об издании АА – что он, мол, не будет предлагать «Реквием» и пр. раздражающее, чтобы дать возможность читателям наслаждаться любовной ахматовской лирикой. Я промолчала. Что ж терзать старика. Но он хочет поступать по логике, логики же у начальников нет. «Реквием» оно ненавидит, а остальному предпочитает Инну Кашежеву[363]. Ахматова в любом виде им не нужна. Подумать только, какой смрад под видом стихов передается по радио – но Ахматова почти никогда.

Бумага необходима для Сартакова[364], не для Ахматовой.

8 декабря 70, среда. Переделкино. В этот мой приезд я испытала новое чувство и тяжкое, и радостное. В тот миг, когда я приехала, едва вошла – постучали четверо. Из кардиологического санатория, хотят осмотреть дом. Я сказала: завтра. Завтра пришли 17 человек и все с пакетами, а в пакетах тапочки! Очень трогательно. Я повела их наверх. В голове ни единой мысли. А говорила час, и они были заинтересованы, я чувствовала. Уж очень кабинет Дедов хорош в своей глубокой уютной рабочей выразительности. (Я бы восстановила на столе и на полках фотографию Деда с Паустовским; фотографии Ахматовой, Пастернака – которые там *стоялы*, но Люша и Марина не хотят.)

Не обошлось без роковых вопросов.

1) Почему крест? (Ведь он был *такой великий* писатель… а могила простая»).

2) Нельзя ли получить фотографию на память? «Я причастен к литературе: был цензором несколько лет».

3) «Хочу вам задать вопрос наедине». – Ладно. – Увела даму в столовую.

4) Правда ли, что К. И. завещал деньги А. И. Солженицыну.

* * *

Умерла Е. С. Булгакова.

Умерла Юдина. Она была настоящим человеком, хотя и невыносимым. Елена Сергеевна же была ненастоящая, жила умом АА и своего мужа, была «дама с большим перцем», крутила романы (от Фадеева до Луговского). Обожала, чтоб у мужчин

складка на брюках. Но одна ее заслуга огромна и – бесспорна: сохранила всего Булгакова. Сама перепечатала все рукописи, переплела их. *Верила* в их будущее, когда не было надежд.

14 декабря 70, понедельник. Москва. Ходят тревожнейшие слухи о новом томе мемуаров Надежды Яковлевны[365]. Сначала мне говорила Э. Г., потом Таня[366], вчера Миша Мейлах. Э. Г. – с чужих слов; Таня читала сама и отзыв такой: «Первый клеветон в Самиздате»; Миша привел фразу, которую читал сам:

«Под конец она окружала себя мальчиками и прокручивала одну и ту же пластинку».

Все это для АА, для ее памяти, чрезвычайно опасно, потому что Над. Як. – большой авторитет. Где, как и кто будет ее опровергать? Она со всеми в ссоре (кроме меня, потому что я, помня ташкентские лжи и двуличия, в Москве и после примирения с АА, твердо решила не общаться с Н. Я., и это решение выполнила).

Наверное там много лжей и неправд и обо всех, и обо мне, но это уж пусть. А вот как с АА быть? не знаю. Но ведь это – наша обязанность. Потом некому будет.

12 января 71, Москва. Вчера вечером мне пришлось поехать к Эмме Григорьевне. Разговор о моих отрывках из Дневника для печати – отрывки мне противны ложью умолчания о «Реквиеме»; и вопрос, что делать с Надеждой Яковлевной, которая пишет какие-то чудовищные враки об АА и ее друзьях. Эмма Григорьевна прочла мне отрывки. Ну и ну! Я еще в Ташкенте поняла. что Надежда Яковлевна хоть и умна, и талантлива, и гонима, но *плохой человек*. Так и есть. Теперь она пишет об АА Бог знает что, а опровергать негде – даже и в Самиздате *не* – потому что она все время меняет варианты, что-то уничтожает, что-то пускает по рукам и пр.

Образчик:

«В последние годы АА бродила в Москве от подруги к подруге. Поселяясь в комнате хозяйки, она быстро отучала ее туда заходить, захлопывая дверь перед ее носом, так что та еле успевала отскакивать».

Что делать, мы не выдумали.

31/1 71. Сейчас позвонила из Ленинграда Шура: скончался после операции В. М. Жирмунский… Ушла еще одна сила: не такая могучая, как Дед, не такая добрая как Фрида, а все же сила и добрая.

И как это худо для нас – для АА! Хуже не придумаешь.

13 февраля, суббота, Переделкино. Еще одного встретила хорошего человека.

Ольга Васильевна[367] уже 2 недели назад назначила в Библиотеке «вечер поэзии» для девятиклассников Чоботовской школы – не зная, какой поэзии, но – галочку поставить. Потом хватала за фалды Акима, Берестова, Инну Лиснянскую… Нет. Наконец, остался 1 день. Я решила сама просить Межирова[368].

За мной зашел Веньямин Александрович, мы гуляли, он читал мне свои «Сны». (Очень хорошо было бы издать сборник: Сны советских писателей). От него я позвонила Межирову. Он отвечал не жестко, напротив, мягко, но твердо: (Господи, как я завидую этому умению): он сказал, что после того, как он читает свои стихи молодежи – они всегда уходят сбитые с толку и удрученные. Тогда я наконец рассердилась. Тогда он согласился, предупредив, что лучше побеседует с ними.

И вот – я отложила отъезд на вечер, попросила Клару Израилевну привезти сыру и конфет, а Фину приехать за мной к 6-ти – и осталась ждать.

Вошла, когда он уже начал. Я сразу поняла, что уровень разговора высочайший, что со времени смерти Деда в стенах Библиотеки разговора на таком уровне не было. Не разговора, а монолога. Лиц «любителей поэзии» я не видала, но по тем вопросам, которые они потом задавали, поняла. что не в коня корм.

Но зато сама я слушала с наслаждением. Даже не мнения (мы не совпадаем во многом), а именно уровень и, кроме того, какую-то изумительную откровенность – спокойную, рискованную, не вызывающую –

Когда я вошла, он объяснял, что недавно умерли два великих поэта: Ахматова и Заболоцкий; что поэт на свете – это редкость; что себя он к ним не причисляет; а есть талантливые люди, пишущие стихи, и их сейчас много. Восторженно отозвался о Твардовском, Я. Смелякове, Корнилове. Потом сказал, что привез им редкость: пластинку Яхонтова[369] «Моцарт и Сальери». Рассказал о Яхонтове. О подозрениях, не Баратынский ли Сальери. Отверг их. И мн. др.

Потом поставил пластинку в проигрыватель, поставленный мной, и выяснилось, что он испорчен. Это уж – Ольга Васильевна в своем репертуаре…

Послали в Дом Творчества (Мой «Аккорд» увы в починке).

Пока он продолжал спокойно и без раздражения (что меня пленило) разговаривать о поэзии вообще. О драгоценности глагольной рифмы, которую отвергают лит. консультанты,

о величии Ахматовой, о невеличии Цветаевой и пр.

Слушали внимательно – но понимали вряд ли.

Наконец – пластинка, Яхонтов и – и – Пушкин.

Яхонтова я когда-то невзлюбила – из-за письма Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне, читаемых вперемешку. Но «Моцарт и Сальери» действительно хорош. Он не играет, а читает, причем не меняет голоса, что прелестно.

По реакции слушателей было слышно, что эти любители слышат «Моцарта и Сальери» в первый раз… Наверное не читали.

Он стал вымогать из них вопросы. Тщетно.

Только такие: «Как вы относитесь к Ахмадулиной», «Как вы относитесь к Друниной». Очень разыгралась Ольга Васильевна и спросила о Юнне Мориц, Голявкине и Конецком. Он отвечал по правде, по своей правде, которая почти всегда была и моей.

– Ахмадулину я не понимаю совсем. Какое-то бесконечное кривляние. Поэтесса для московских салонов.

О Друниной: – Война высекла из нее как искру 4 строки:

> Я только раз ходила в рукопашный
> Раз наяву и тысячу во сне;
> Кто говорит, что на войне не страшно,
> Тот ничего не знает о войне[370].

А дальше уже пошла сплошная проза.

О Юнне Мориц тоже неодобрительно.

Когда все кончилось, дети разошлись, я захотела показать в Библиотеке комнату К. И. И тут Ольга Васильевна в своем репертуаре: оказалось – свет не горит…

Я готова была ее избить. Все в ее распоряжении: деньги, шофер, монтер… И все вечно сломано и запущено.

Я позвала Александра Петровича к нам. Очень он мне понравился. Показала комнаты К. И. Понравилось мне его внимание, сосредоточенность, способность видеть, узнавать, *понимать*. Пили чай. Опять разговор о поэзии, очень близкий; только он совсем отрицает Цветаеву, а я на ½, и он настаивает на Смелякове, а я его не знаю. Затем, конечно, для меня Заболоцкий мал рядом с АА да и вообще не очень-то крупен.

Очень смешно о своей встрече с Аркадием Васильевым:

Арк. Васильев его спросил: – Почему это так: все ваши товарищи со мной не здороваются, а вы здороваетесь.

– Потому что на процессе вы исполняли свою функцию. Ведь это ваша профессия.

Интересно о Деде. Как их обоих пригласили выступать в клубе на Лубянке: их двоих: критика и поэта. В начале 50-х.

В зале генерал в орденах и солдаты, бритые, 17-летние мальчики. Ничего ни про что. Когда Дед заговорил о «Ямбах» они захихикали. Им показалось, что это неприличное слово. Тогда К. И. закричал генералу: «Что вы сюда солдатню нагнали!» (Я так и слышу – только в таких случаях оскорбления искусства он и терял способность выбирать слова и бояться). Потом потребовал, чтобы Межиров читал не свое, а Блока: «Перед судом» и «Под насыпью во рву некошеном…» Что-то как будто и дошло.

Потом еще было важное слово мельком (на которое я еще отвечу, пока не успела).

– Сейчас в интеллигенции вообще явилась мысль *против* «кухаркиных детей» (это в ответ на мои жалобы, что никто из Дома Творчества не хочет выступать в Библиотеке). Ну и поздравляю с этим интеллигенцию. Беда-то ведь не в том, что среди «кухаркиных детей» нет талантов; беда в том, что происходит противоестественный отбор, т. е. из них отбирают бездарных, а не талантливых. Тут-то и дело интеллигенции. Конечно его будут всячески мешать исполнять, но *надо*. Ох, если бы мне побольше сил.

Межиров мельком сказал, что готов говорить с ними о Баратынском и Тютчеве и слушать их стихи… Какой бы это был кружок, мог бы быть! Как исполнить это?

А для маленьких бы театральный.

24/II 71

Непоправимые слова.
Я слушала в тот вечер звездный
И закружилась голова
Как пред открывшейся бездной[371].

Нет, голова не закружилась. Честное слово. Но процитирую все, а потом помечу, *что* правда.

«Это не “Записки” и не “Дневник”. Это великое художественное произведение, со своим ритмом, со своей композицией, вмещающее в себя всё – и героев и время. Со своей идеей. Вы все время ищите истины, а не счастья. В нем ходят валы ритма (sic! совпадение?) и все этому ритму подчинено.) Я трое суток, читая ее, разговоры вел сам с собой. Это великая книга, и если бы я прочел ее лет 30 назад, может быть я был бы другим».

Я сидела, сжимаясь в кресле, как под ударами.

Когда он ушел, я, зачеркнув все эпитеты (на это у меня

хватило ума!) поняла, что он угадал одну вещь, чрезвычайно существенную: ритм. Я часто размышляла над тем, а что я делаю, собственно, переписывая свой Дневник? Ведь я ничего не добавляю в подлиннике, а меняется *все*. Теперь я поняла, он объяснил мне; я делаю вещь, находящуюся вне ритма, – *ритмической*, без чего проза не проза.

Я спросила его, печатать ли отрывки, как я собиралась, и что мне противно печатать 38–41, не упоминая о «Реквиеме». «Не в “Реквиеме” дело – ответил он – а отрывки недопустимы, потому что нарушается ритм».

17/VI 71, четверг. Пиво-Воды. В один из дней до среды был Межиров. Опять было очень интересно, он сидел долго. Какая-то притягательность в нем есть. Хотя лжи не прощу ему… Говорил снова много «реакционного», и я была не находчива в ответах. Все он о том же, об «очереди на Голгофу» когда выгодно, об отречениях даже без санкций и пр. – А Солженицын? – «Ну это другое. Это История». Вообще из вежливости признаются 3–4 человека вне подозрений в либеральной карьерности, а все остальные подписанцы – были карьеристами и вообще все вместе было зубатовщиной[372] и пополнением досье.

Это, конечно, не так.

«На деле гораздо светлей»[373]. Подписывать бросили (к моему огорчению) от полной бесполезности этого занятия; а делали и делают (добро гонимым) множество неизвестных и нетщеславных людей. Да и Солженицына вынесла и несет на своих плечах та же несчастная, вечно под угрозой гибели, интеллигенция: А помощь гонимым! А Хроники[374].

Нет, души в людях еще не погибли.

25 июля (июня?) 71, пятница, Пиво-Воды. Ночью по Би-Би-Си услыхала: в Одессе суд над Раисой Палатник. На самом деле из-за письма ее по поводу желания уехать в Израиль, а повод – распространение Самиздата. «При обыске взяты: стихи Галича, письмо Лидии Чуковской в защиту Солженицына и “Реквием” поэтессы Анны Ахматовой, скончавшейся в 66 году».

Я в хорошей компании, лестно, не спорю. Но А. А. на том свете, Галич, я и Солженицын благополучны, а неведомая Раиса Палатник сидит в тюрьме. За что?

Какая низость, подлость. И как помочь ей?

21 августа 71. Забавно: в среду я ездила к Самойлову, который просил Дневники[375]. А. Н. торопился на футбол, я была там всего час. Самойлов предупредил, что будет читать не спеша,

я не торопила. Обещал в пятницу приехать почитать мне стихи: «но конечно ваше я в то время едва начну». И вот явился с женой и сразу: «Мы оба прочли всё. Это замечательная проза. Мы проглотили ее, а теперь будем потихоньку пить, глоток за глотком».

И всякие слова.

Самойлов читал новую поэму[376] и стихи. Стихи я почему-то плохо улавливала; некоторые хороши. Поэма совершенно нова, самостоятельна, причудлива, зла. В очень неказистом виде, злобно представлен Межиров. Я насчет изображения в «Поэме» не спорила, но потом, за ужином, сказала несколько слов о том, что он поэт замечательный, о его книге. Самойлов вяло согласился, но говорил о нем, как о мелком лгуне, духовном преступнике, ставленнике Кожинова[377]. Я все переводила на поэта, от которого не могу отступиться. У меня в ушах страстный и напряженный голос:

> Длится этот, без прикосновений,
> Умопомрачительный роман![378]

Грустно: между ними чувствуется застарелая, давно накопившаяся злость.

16/IX 71. Пиво-Воды, четверг. Приехал Самойлов, да еще с № 2 и мы у Сарры слушали воспоминания Самойлова и его стихи. Воспоминания необыкновенны; в сущности, от имени этого поколения ничего *не* казенного (в исповеди) еще не писал. Наше уже исповедовалось, а это ихнее «Былое и Думы». Умно, добро, жестоко, правдиво, точно. Слушали об Эренбурге и Слуцком. Сквозь любовь к Слуцкому – насмешка, сквозь осуждение Эренбурга – объективность. И настоящая проза поэта, такая отточенность фраз, формул, абзацев. Настоящее чудо: он пишет в тетрадь прямо набело, как когда-то Житков.

6 ноября 71, суббота, Москва. В «Дне Поэзии» – цикл стихов А. А., подготовленный В. М. Жирмунским и напечатанный Ниной Александровной[379]. Все – кроме одного («Скорость») – хороши; но «De Profundis» изуродованы; напечатано «горы» вместо «весны»; вопреки смыслу, рифме и всем моим убеждениям Виктор Максимович остался непреклонен[380].

13 ноября, суббота. Переделкино (Елабуга). Зато один узел счастливо развязался сам собой: я после долгих колебаний написала Лиде Жуковой просьбу указать, какие рассказы она

считает своими. Она очень благородно ответила, что не помнит, и предоставляет мне право печатать любые под своим единственным именем[381]. Конечно, тут не совсем благородство, а и нежелание стоять рядом с такой оплеванной особой, как я, и незаинтересованность – она не литератор! – но все же.

20 декабря 71, Москва, понедельник. Умер Твардовский.

Он меня не любил, но я любила его стихи – многие.

А внутренний монолог с ним вела всегда.

Да, о Твардовском. С ним все математически точно, по классическому образцу. У Гроссмана начался рак, когда отняли рукопись. У Кушнарова – когда уничтожили детскую секцию. У Фриды когда она хлебнула депутатства. А *он не пережил гибели журнала*. Пастернак погиб из-за истории с Нобелевской премией и «Живаго». Зощенко «не выдержал второго круга»[382].

Воображаю безобразность того, что будет завтра… Если так боялись похорон Деда (с каждым днем узнаю новые подробности) то что же будет завтра… Одна официальная ахинея; о «Новом Мире» ни слова, о Солженицыне – ни слова… «Да и нет не говори, белого и черного не покупай».

А милиция-то, а КГБ!

Когда Твардовский пришел на похороны Эренбурга на Ново Девичье поле – там было оцепление. Его не пускали.

– Вы кто такой, гражданин?

– Я – Твардовский.

– Не знаю. Нельзя.

Твардовский двинул плечом и прошел.

18 января 1972, Москва, понедельник. Год начался ужасами. Если верить приметам будет он страшен.

Впрочем «я и без зайца знал, что будет плохо»[383].

Был 18-часовой обыск у Якира[384]. Говорят, вывозили бумаги грузовиками. Это очень опасно: он человек распущенный, избалованный безнаказанностью, и у него множество недозволенных бумаг (значит, будут погибать люди).

В Москве обыски еще у 8 человек; в Киеве – аресты.

Чудовищный приговор герою Буковскому: 5 лет лагерей строгого режима, из них 2 – тюрьмы, 5 лет ссылки. Клевета в газете. А совершил он подвиг: за время краткого пребывания на воле переправил за границу на Международный конгресс психиатров 6 историй болезни политических, насильно упрятанных в сумасшедшие дома.

21 января 72, Москва. Обыск в Киеве у Виктора Некрасова и Дзюбы.

29 января 72. Вчера вечером был Самойлов. Но ничего обещанного не читал: ни воспоминания, ни письма. Я поздравила его с триумфом (вечер в Союзе); несколько стихотворений он прочел – одно из них, сыновьям о смерти, совершенно совпадает с моим 4-стишием К. И.

А здесь наверно хорошо лежать…

Прекрасный рассказчик: еще одна серия анекдотов о знаменитом парикмахере из ЦДЛ.

* * *

Самойлов мельком сказал, что он написал 13 листов исследования о русской рифме[385].

Он замечательно умен. Вообще «поэзия должна быть глуповата»[386], но поэты несомненно должны быть умны. И умны. А. А., Корнилов, Маяковский, Самойлов поражают превосходством ума. Поражающе умен был Пастернак (хотя и наивен).

10 марта 72 г., пятница. Переделкино. Фина работает с удивительной добротой ко мне, с полной отдачей себя, с самоотверженьем – но – неумело. (Я же и виновата: в вечном спехе не научила ее ни корректуре, ни комментированию.)

7 апреля 72, пятница-суббота, 72. Переделкино. …в одном Колином письме речь идет о «Каракакуле»; было примечание: «Пьеса Л. и Н. Чуковских»; сделали: «название пьесы» – и выходит, будто она Колина.

(«Каракакула» придумывалась нами вместе; писалась, главным образом, мною; Дед дивился чувству композиции); Коля писал стихотворные монологи. Действие происходит в аду; из-за любви к Чертецце – прекрасной дочери Вельзевула – один юный черт покончил с собой… Ставил Леля Арнштам; постановка – подражание театрам Радлова[387], Мейерхольда. Афиши были стихотворные; помню текст одной из них (моей):

К черту Мольеров, Шекспиров, Островских;
Зал задрожит от неистового гула,

Когда увидят пьесу Чуковских
«Каракакула».

До этого я, по Андерсену, сочинила пьесу «Дюймовочка»; ставил Дед; мы все играли; декорации – Анненкова; Дюймовочка – Таня Ткаченко[388], о которой К. И. говорил, что в ней сидят «5 Савиных и 3 Комиссаржевских».

Затем мы вместе с Колей написали еще пьесу «Летающий стол», но она поставлена не была.

В «Каракакуле» юного черта играл Зархи[389]; тогда – курчавый, малорослый мальчонка, упорно произносивший на авансцене:

– Не винуйте никого в моей смерти.

27 апреля 72, четверг, Переделкино. Приезжая сюда, все вечера напролет слушаю радио. (В Москве не слышно ничего.) Вчера кроме насмешек над «гневом народа» в «Лит. Газете», над нечитателями Солженицына, выражающими свое возмущение, – слушала передачу об Орвеле[390] – уже не первую – где меня поразили мысли о языке, совершенно совпадающие с теми, которые высказаны мною в «Спуске», в статье «О безответственности “Литературной газеты”» – т. е. о «слитных формах», о языке лжи. На разных концах земли люди думают одно и то же – как это радостно. «Слитные формы», штампы, дают возможность пустословить, уклоняться от правды.

30/IV 72, Переделкино. Вчера вечером слушала ВВС – только что хотела выключить, ибо там предались музыке Поп – как вдруг на нее наехала «Свобода»: передача об А. И., ответ, не очень умелый, Смелякову, а под конец сообщение, что в СССР не один Солженицын, а еще несколько человек писателей в опасности: Галич, Копелев, я, Окуджава, Максимов, Коржавин… Услыхав, что я в опасности (чушь!) я спокойно уснула.

Какая же опасность – да еще по сравнению с пережитыми мною годами и опасностями реальными, от которых меня спасло чудо!

6 мая 72, суббота, Переделкино. Размышляю о любви.

Нет, к счастью не о теперешней, которой нет. А о прошлой и о чужой. Что это, в самом деле, за странность – если взглянуть «свежими глазами», как требовал когда-то, говоря о рукописи, С. Я.?

Начинается вот с чего:

Ты не со мной, но это не разлука[391].

Виделась с человеком, потом он ушел, но это не разлука, потому что он – со мной. В сознании. В ожидании. В тоске. В ожидании – чего? Объятий? Нисколько. Знаков. Вестей. И вот он опять пришел. О, только бы не помешали! Чему? Какому-то выпытыванию друг друга в друг друге. Прикосновениям? Нет, их и не хочешь, – осознанно или бессознательно – *не* хочешь. Хочешь чего?

Дышать и жить с тобою рядом[392].

И чтоб не уходил. А если уйдет – чтоб писал. Чтоб звонил. Чтобы – вести… О чем? О себе. Обо мне. Не знаю о чем.

Первое же прикосновение всё меняет. Бескорыстие окончено. Духовность почти всегда убита наповал. Люди не успевают опомниться, как оказываются в другом мире, где вся шкала ценностей иная, смещаются понятия добра, зла, долга. Все предыдущее становится каким-то лицемерием, хотя оно им вовсе не было. Каким-то предисловием к чему-то другому, хотя в действительности (в реальной действительности: в памяти) только оно и имеет цену. Там все было неповторимо, единственно; тут все стало стадно и на всё и на всех похоже. Для того на человеческом языке нету слов, все приметы, загадки, совпадения, чудеса; а в *этом* периоде – всё названо, каждое действие; и действующие лица получают наименование: муж, жена, любовник, любовница, поженились, обвенчались, расписались… А уж дальше пошло-поехало: беременность, тошнота, скука, роды, кормление, нянька… Если он попался «порядочный» – он не бежит от этой скуки к новой даме; если «мерзавец» – ну как же не убежать? Бытие обращается в быт, захлестывается бытом; общение между двумя становится немыслимым. Выходят на сцену не души и не умы, а нечто мелкое, вторичное: характеры, привычки воспитания, которые, разумеется, не совпадают. Это – третий период. «Брак». Он ничего не имеет общего ни с первым, ни даже со вторым. Тут начинается новый счет:

И убывающей любови
Звезда восходит для меня.
Но снова ночь. И снова плечи
В истоме жадной целовать[393].

7 мая, воскресенье, Москва. Известие об обысках не то в 10-ти, не то в 14-ти квартирах – в том числе, из близких мне людей, у Толи Якобсона.

Как его спасти?

Затем известие, что меня хочет видеть А. Д. [Сахаров]. Назначили на 9 ч.

* * *

Был Андрей Дмитриевич с женой. Жена, видно, милый добрый деятельный человек, но грубей его в понимании; а он прелестно беспомощен, понимающ, силен и тонок.

Большая честь для меня – и я разумеется немедля исполнила его желание[394] – но я не согласна с языком. А там это «из принципа».

14 июня 72, среда, Москва. Об Иосифе [Бродском] радиослухи. Был в Вене, жил на вилле какого-то американского поэта. Теперь, будто бы, уже в Америке. Ему предоставили фантастическую синекуру: профессор-поэт при университете. Ничего не делать, получать большие деньги и писать – или не писать – стихи…

Итак, все внешнее пока хорошо. Но – по нем ли? Человек он нелепый, неуживчивый: поэт.

Говорить о Советском Союзе якобы отказался: «у меня там родители».

О нем статьи в газетах. (Тамошних.) А здесь, в Гослите, собираются изымать его переводы из 4-х сборников.

Ску-учно!

27 июня 72, вторник, Пиво-Воды. Помаленечку, изредка, читаю том «Неизданный Достоевский»[395].

Кто же и когда напишет необходимейшую работу: Достоевский, Толстой, Герцен.

Без этой работы, мне кажется, ничего нельзя понять и обдумать в единственно интересной части русской истории: истории великой русской интеллигенции.

Герцен и Достоевский во многом совпадали, не зная того. «Миссия России». Оба чувствовали очень резко смешные и пошлые стороны либерализма; но Герцен, несмотря на ерунду с общиной, все же оставался либералом, а Достоевский – нет. Герцен разочаровался в буржуазной революции 1848 г. и оттого ринулся в некоторое славянофильство, но все же удержался над пропастью православия, а Достоевский рухнул туда. Понять

его мысль мне невозможно. «Каждый каждому слуга». «Православная империя». Какой же каждому слуга, если надо бить турок? Какая же православная империя, если Христос сказал «не убий» – а империя это насилие, убийство? Толстой был гораздо последовательнее, утверждая, что если Христос сказал «не убий», то не смеют попы благословлять оружие.

Русская правда по Достоевскому – идея служения всем людям. Потому освободили крестьян с землей, что поступили по «русской правде». Ну а расстреливали крестьян и вешали поляков – тоже по русской правде? И что за эпитет к правде? Правда в эпитетах не нуждается: мне так же чужда русская правда, как комсомольская… Правда – она правда и есть.

Герцен, разочаровавшись в революции, не разочаровался в разуме человеческом, в чувстве чести, он мог бы повторить: «Ты, солнце святое, гори!»[396]. Достоевский же пришел к попам и Победоносцеву[397].

Но совпадали во многом, например в том, что «образованные» должны нести в народ науку.

Как только начинается нечто о религии – я понимать перестаю. Моя душа к религии неспособна. Не говорю уж к церковности. Искусство, честь, достоинство человеческое, справедливость – вот моя религия. Ненависть к насилию, в особенности над мыслью.

Народ? И это мне чуждо. Нравственных людей я встречала чаще в «образованном слое», чем в народе: Туся, Фрида. Людские объединения мне кажутся фальшивыми – все, в особенности семейные; самые прочные единения те, которые основаны на общем труде. В Христианстве меня прельщает подвиг Христа, его отношение к слову, его запреты мучить и убивать – но не принимаю я требования любви; тут натяжка, фальшь; не поджаривай палача и холуя на сковороде – но *любить* Софронова? Почему? Зачем? Любить надо *мало кого* и по велению «избирательного сродства»; к остальным надо быть справедливым – и только. Это maximum.

Я хотела бы дожить до свершения такого чуда в русской культуре: чтобы пришел человек и разобрал, с точки зрения 70-х гг. XX века – пророчества трех великих русских пророков: Герцена, Толстого, Достоевского. В чем каждый из них прав, в чем ошибся? Вся проповедь Толстого выросла из предчувствия фашизма. Герцен и Достоевский чувствовали опасные стороны социализма. Оба веровали в 2 мифа: русский народ, который велик своим идеалом, и в миссионерство России.

Все трое перекликались друг с другом, пересекались, отталкивались, опять пересекались.

А в конце века – здравый, трезвый Чехов, разоблачивший мужика.

Трезвый гений.

В России нет общества и соответственно нет общественного мнения. (Начало возникать на наших глазах в 60-х гг., но его задушили.) В России нет общественной жизни и деятельности: государство слопало всё. Единственное, чем Россия богата, это замечательными людьми. Сколько бы их ни истребляли, родятся новые. Не знаю, больше ли их, чем в каждой другой стране, но в нашей их много.

15 июля 72, суббота, Москва. Lydia Chukovskaya. Going Under. Translated from the russian by Peter M. Weston. Barry and Jenkins. London. 1972[398].

17 июля 72, понедельник, Пиво-Воды. Сегодня чудо – гранки из «Семьи и Школы»[399]. Первый кусок. Оттиски рисунков Маяковского. Все добры и предупредительны. Чудеса! Интересно, когда именно грянет скандал из-за «Going under» и уничтожит эту вещь.

20 августа, 72, воскресенье, вечер. Сейчас вошла Люшенька и сказала: по BBC, сейчас, в 8 ч. вечера, объявили несколько передач о книге Л. Ч. «Спуск под воду», вышедшей в английском переводе.

Всегда я доставляю Люше одни огорчения… До выхода глав в «Семье и Школе» осталось 10 дней… Она так ждала этого выхода! А теперь, она уверена, что не выйдет ничего ни в «Семье и Школе», ни в Детгизе.

25 августа 72, пятница, Пиво-Воды. Три раза BBC передала рецензии на «Спуск» и отрывки из «Спуска».

Отрывков я и слушать не стала. Рецензии на очень низком уровне понимания. Книга моя – о слове; об этом – ни слова. Отрывки выбраны не те. Общая оценка: ниже «Реквиема» и мемуаров Над. Мандельштам. А почему повесть надо сравнивать с «Поэмой» и с мемуарами?

Глупо до чрезвычайности.

Однако, я продолжаю надеяться, что «Семье и Школе» не повредит.

26 сентября 72, понедельник, Москва. Ошеломляющее известие: я только что раскачивалась писать в Лениздат об окончательном расчете за книгу; собиралась у юристки

выяснить, имею ли право требовать обратно мною сделанный текст – как вдруг: ошеломительное известие – книга вышла в Америке!

Как? В каком виде? Значит издательство давало ее читать направо и налево – (об этом слухи ходили) – и вот – пиратство.

Я огорчилась очень: ведь книга здешняя, подцензурная; *там* она будет выглядеть отсталой и ненужной и даже – в смысле примечаний – смешной. *Здесь* она была maximum возможного и рассчитана на массового читателя.

Нелепо и обидно[400].

* * *

Читаю Блока – «Последние дни императорской власти». То есть перечитываю. А вот к стыду своему *впервые* прочла статейку о Мережковском – т. к. Мережковский меня не интересует, я ее всегда пропускала. А она – как смела я ее не знать, когда писала в «Спуске» о судьбе русского художника! – она о том, что у нас художник и швец, и на дуде игрец – и общественность, и политика, и художество! – «Что делать – мы русские».

А у меня – о русском пути и бездонном море нравственности…

8 октября 72 г., воскресенье, Москва. Под откос.

1/X мне позвонила Л. М. Иванова[401] и сообщила, что вернувшись из отпуска узнала дурную весть: печатание моих воспоминаний прекращено. «Редколлегия».

Итак случилось самое плохое – я допустила, чтобы Дед был изображен шутом, т. е. без стихов, а только с лаем на собак.

Шулерство: в № 10 поставлено «окончание» вместо продолжения, – и – всё. И в № 10 уже нет ни карт, ни Коли, а один огрызок английского языка.

Вчера – Люшенькин светлый, свежий голосок по телефону. Я ей не сказала. Она из Крыма едет на Кавказ, вернется 20-го.

3-го (или 4-го?) – словом, в субботу, когда я собиралась на дачу, позвонил Стрехнин[402] и спросил могу ли я придти. Я сказала: могу, вызвала такси, и мы поехали с Финой.

Запишу кратко.

Человек с измученным лицом. Лет 60. Морщины глубокие.

Любезность. Сверхлюбезность. Задушевность. «Вы талант», «Вы мастер» и т. д.

Полицейские вопросы, поставленные прямо – иногда вскользь

как бы между прочим, таковы:

Как «Спуск» попал в Америку

Показывала ли я здесь, предлагала ли кому-нибудь эту повесть?

Почему в повести нет ничего светлого?

Почему неуважительно говорится об ополчении (он, дескать, историк войны, и знает как ополчение помогло Ленинграду).

Почему – антисемитизм насаждался сверху?

Почему ничего светлого? Всё только худое?

Косвенное предложение – если книга в Америке напечатана помимо моей воли – не напишу ли я в «Лит. Газету» возмущенное письмо? («Вы уважаете Твардовского? А помните, когда за границей напечатали его поэму, он протестовал? А ведь он был человек-глыба, на него не надавишь».)

– Неужели Вы не понимаете, что Вашу книгу используют враги.

Я отвечала разбросанно, спеша, захлебываясь, говоря слишком *много* (вечная моя ошибка) и не всегда понятно для уровня моего собеседника – но, в общем, я довольна. Разговор длился часа 2. Стрехнин не велел секретарше никого пускать и выключил телефон. (А магнитофон? Не знаю.) А я торопилась впихнуть в разговор как можно больше матерьяла.

Почему ничего светлого? А на что же было надеяться? Ведь Сталин мог прожить и до 1963-го и до 1973 года. Откуда же нам было знать и надеяться на 53-й?

Ополчение уважаю. («Неужели вы не уважаете тех, кто рванулся в бой в первый день?») Уважаю тех кто пошел, а те, кто послал – преступники.

Антисемитизм шел сверху. Липатов (Либерман) и пр. сверху. Когда Советская власть хотела справиться с антисемитизмом – в 20-е годы – она справилась. А тут его спустили с цепи. Я перечла газеты.

Как «Спуск» попал за границу – не знаю, но рада, что попал. По крайней мере не пропадет.

О врагах вечные байки мне надоели. Почему «издательство Чехова» – враги? Да и чтоб не давать повод врагам хаять нашу страну – не надо преследовать Солженицына, держать в тюрьме Григоренко[403], высылать Бродского и *торговать* евреями (как делал накануне газовых печей Гитлер).

Твардовского почитаю, он был глыба, но более уязвим, чем я – хотел любой ценой спасти журнал. А у меня журнала нет.

«Спуск» никому не предлагала, потому что *до этого все мои вещи отвергались*. (Прочла давно заготовленный перечень.)

Затем сказала об обрыве в «Семье и Школе».

Затем о непечатании книг К. И. и о музее на даче.

Затем ворвалась секретарша и, стоя ко мне спиной, стала ему докладывать нечто. Я простилась. На прощание он трусливо сказал:

– Надеюсь, вы понимаете, наш разговор не для печати?

– Что вы! – ответила я нахально. – Разве «Лит. Газету» заинтересуют такие пустяки.

(А надо было ответить иначе: мы с вами не заговорщики – почему вы боитесь огласки?)

27 июля 73, пятница, Переделкино. Амальрик объявил голодовку[404].

Конгресс психиатров отказался рассматривать заявление о том, что делается в наших психиатрических больницах, чтобы не мешать самому прогрессивному событию в мире – смягчению напряженности, достигнутого Брежневым и Никсоном.

Люблю такие прогрессы!

Горькое письмо Сахарова по этому поводу![405]

11 сентября 73, четверг, дача. 7-го я окончила «Гнев народа». В воскресенье были Андрей Дмитриевич с женой. Оба, когда я читала, плакали. Он как-то заметно отяжелел и постарел, она моложава и энергична. Все время была мне не неприятна, только в передней, одеваясь, рассказав, как провалили в Институте ее сына[406] (замечательный мальчик, пасынок Андрея Дмитриевича) сказала – по-видимому, нам придется уезжать…

Мы очень удивились; Люша высказала свое удивление вслух. Уезжать! Сахарову – уезжать! Не понимаю.

Вчера слышала выступление Брандта, что он считал бы правильным соглашение с СССР даже если бы у власти был Сталин… Но сочувствует «инакомыслящим»! Вот логика. Гитлер заключил соглашение со Сталиным… Значит, пусть миллионы помирают в лагерях, а мы будем соглашаться.

15 сент. 73, суббота, дача. Праздник! Перестали глушить Би-Би-Си, Голос, Немецкую волну. Слышно все, и не только здесь, но и в Ленинграде, и в Москве, всюду. Не знаю, надолго ли.

Однако мой «Гнев» не передан, хотя и дошел до них. Наверное правы оба мои друга; один сказал: «это – искусство для искусства»; другой сегодня прислал доброе и отрицательное письмо (правда, последний вариант он еще не читал) о том, что он ждал пощечины нашей интеллигентной сволочи, которая подписала протесты против Сахарова, а протест слаб у меня;

что для Запада это скучно, потому что Запад и так оповещен об обмане народа, а шофер меня не услышит…[407]

Что ж. Я привыкла работать в пустоте. Никто ничего не слышит – из того, что я говорю.

21 сентября 73, пятница, дача. Моя статья – «Гнев народа» – появилась в «Washington Post». Вчера ночью по голосу Америки я слышала ее совершенно глупый пересказ.

1 ноября 73, воскресенье Москва. Чей-то рассказ об академике Виноградове, к которому приезжал Келдыш[408] с просьбой подписаться под письмом против Сахарова.

– Вы Сахарова знаете?

– Как не знать! Это который с тремя звездочками и изобрел водородную бомбу.

– Да, да, так вот он выступил против разрядки и пр.

– А вы откуда это знаете?

– Да вся западная пресса кричит… И радио…

– Западная? Так они все врут. Вы им не верьте!

И не подписал.

6 ноября 73, вторник, Москва. 17.45, сегодня, по ВВС будут передавать мой «Гнев». Надеюсь, полностью? Нет, вряд ли. Хотелось бы, уподобясь классику [Солженицыну], сесть и послушать сличая с текстом, но именно в это время за мной из любезности заедет шофер (вторник – не мой день) и увезет меня на дачу. Может быть послушает Люша.

* * *

Чтение состоялось. В это время меня вез Ал. Н. по Минскому шоссе. Из сообщения по телефону я поняла, что прочли целиком, только вместо «фамилиё» – фамилия… Пока никто не звонил.

Думаю, Союз мною теперь займется.

27 ноября, вторник, 73, Москва. Сегодня до меня добрела вырезка из «Новой русской мысли» где напечатан «Гнев»[409].

Чудеса!

Вот я и попадаю под суд, т. е. под конвенцию. Напечатано 7 октября, в Америке.

16 апреля 74, вторник, Москва. В воскресенье я была у Самойлова. Не в больнице, на новой квартире.

Но потрясла меня проза, которую мне более часа читал Давид Самойлов. Господи, и этого не слушает никто, и не слышит А. И. [Солженицына]. А это всем надо. Отрывки из военного дневника и размышления о войне и народе. И Толя [Якобсон] этого не слышит…

А следующая глава самая важная.

Поразили меня совпадения его мыслей с некоторыми моими и некоторыми А. И. – об отъездах, например, о национальном вопросе.

28/IV 74, воскресенье, Москва. Страшные (по возможному продолжению) вести из Ленинграда об Ефиме Григорьевиче [Эткинде].

Да и уже хорошо: исключен из Союза; уволен с работы; ВАК собирается лишить его профессорского звания. На дне всего, конечно, А. И.

Бедный, добрый, образованный, мягкий, гибкий, покладистый, ладивший с властью человек. Когда его пригласили стать членом PEN'клуба – отверг, чтоб остаться членом Союза Писателей. Когда его зять уехал в Израиль – всех и дочь свою и всех друзей просил – *не* уезжать. И вот сейчас он «идеологический диверсант».

Продолжаю получать письма по поводу «Гнева»; он очень дошел. (Почти как письмо Шолохову.) Люди ищут у меня заступничества, не понимая моего положения.

19 июня 75. Переделкино. Появился (или позвонил) Друян.

Они издают Ахматову. Сделано очень ловко, – кажется, «Поэму» берут из «Библиотеки Поэта», у Жирмунского. А. А. сама подарила ему текст 63 года, из которого он и исходил (в основном; + мои поправки). Ну вот. И там Эммин отдел прозы. И очевидно ей хочется участвовать в этой книге, (отдел прозы) получив при этом у меня индульгенцию за это легкое предательство. О нет, нет! Это не предательство! Это – во имя А. А. Нет, нет, я ничего не имею против. Я даже Банникову послала опечатки «Бега». Пожалуйста, Эмма Григорьевна, печатайтесь, *раз у Вас самой нет порыва отнять свое имя* из книги. (Как оскорбилась А. А., когда ей предложили после смерти Лозинских переводить Шекспира – что-то, переведенное Михаилом Леонидовичем[410]. «Вы забыли кто я… Над свежей могилой друга я не стану». Я конечно еще не в могиле…). В общем, я пока решила так: уж конечно я Э. Г. благословлю на участие (ей не стыдно! а я только что ее защищала от Н. Я.!), но я не позволю печатать статью Деда. Вот тут я твердо убеждена: он не дал бы. После всего, что сделали со мной. Ко многому он был глух, но не к этому – не к использованию чужого труда. (Сам перестрадал от Еголина и пр. бандитов, ставивших свое имя *на его* кровавым потом добытыми примечаниями к Некрасову). За меня он вступился однажды: см. историю с Житковым[411]. Вовсе не всегда: см. историю с ленинградским Крыловым, когда он даже публично высказался *против. Но в этом случае*, когда он и писал-то *на основе* моих «Записок» и моих писем, и когда все предисловие было *написано в сочетании* с моими примечаниями – тут уж он отказался бы наверняка. И, к счастью, Люша это понимает и хочет *не дать* и уже, втайне от меня, сообщила это издательству (она вчера мне призналась, что Э. Г. с ней вела переговоры… А ведь К. И. писал предисловие не для этой теперешней книги).

18 сентября 74, среда. Сахаров проявил нравственную гениальность, *когда, решив научную задачу,* ощутил ее *вред*. Даже если бы он потом не защищал заключенных, а сделал только это – он был бы нравственный гений, потому что ничего нет труднее, чем остановиться, когда ты достиг *профессиональной удачи*. (Соблазн искусства и науки.) Великий был бы праздник, если бы ему присудили премию мира…

30 марта 75, воскресенье, Москва. Я поняла вот что.

Больше всех поэтов русских я люблю Блока.

Не Ахматову, столь любимую; но это потому, что она – слишком *я*; из-за нее, например, безусловно из-за нее, я не стала

поэтом. Любая моя, мною пережитая мысль, уже высказана ею с такой полнотой и силой, что «тех же щей да пожиже влей» – незачем. Когда я хочу что-нибудь про себя рассказать я могу просто заговорить ее стихами. «И убывающей любови / Звезда восходит для меня…»[412]. Конечно я и как личность гораздо мельче, потому что для нее существует русская история, «белый, белый Духов День»[413] и пр. Но уж во всяком случае, то малое, что во мне есть (пытка – любовь – смерть), русская природа, Петербург – все это ею выражено. Поэтому, сказать: «Ахматова мой любимый поэт» то же, что «я – мой любимый поэт».

Мандельштам великолепен. Но он ни на секунду не становится мною, а я им. Это постороннее великолепие. Значит, тоже не мой любимый. Чужой, чуждый, гениальный. Точка соприкосновения: Петербург.

> Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый…
> Ленинград, я еще не хочу умирать…[414]

Цветаева совсем чужая и чуждая, хотя ее иногдашняя гениальность мною ощутима. Например: «Что нужно кусту от меня?» или: «Смерть Блока» (с излишними четырьмя строками).

Пастернак – вот это для меня Блок, по степени моей любви к ним и ощущению мною их гениальности. Оба они мужчины, стало быть мною они быть не могут. Остается та степень расстояния, непереходимость чуждости, которая нужна для любви. Вот я и *люблю* из 4-х – Пастернака и пятого Блока, или точнее первого, которому А. А. очевидно всю жизнь простить не могла, что он – первый, это раз, и что он не влюбился в нее – это два.

А я сейчас перечитываю, то по III книге (томик, подаренный мне когда-то, когда ехала в ссылку, Дедом), то наизусть, Блока и думаю, что ничего более сильного, страстного, гибельного и гениального в русской литературе XX в. не существует… Только Пастернак приближается:

> Чтоб тайная струя страданья
> Пронзила холод бытия[415].

И «Рождественская Звезда» и «На страстной» – по первозданности, и «Рослый охотник…»[416]

А роскошества Мандельштама – они роскошества и есть, они – не интимны, они гранит, мрамор, красоты (конечно,

я клевещу и лгу; конечно «По улицам Киева Вия…» или «Мы с тобой на кухне посидим…» или «Квартира тиха, как бумага…» – это гениальные вещи).

21 апреля 75, понедельник, Москва. Арестован Твердохлебов[417]. Обыск у Алика Гинзбурга. Арестован в Киеве и выпущен некто Вл. Руденко[418]. Обыск у Турчина[419]. (Это все – Amnisty).

4 июля 75 (кажется). *Дача.* Буду писать сумбурно.

Была у Э. Г. Разговор я провела нарочито мирно. (Э. Г. ведь мне никогда и не была другом, но я ее люблю и помню еще «в жизни»). Я ей сразу сказала: «делайте им, конечно, отдел прозы». Дала индульгенцию. Но К. И. не дам им (объяснила подробно *почему*) и своего текста «Поэмы» – тоже нет. (Они лгут, что все сожгли, а у них 3 экземпляра верстки и, конечно, кто хочет – украл или украдет). Разговор прошел в «дружеской теплой обстановке».

Труднее было с Н. А. Ж. [Ниной Александровной Жирмунской]. Она мне чужая – никто. Произошла «невстреча», говорили только по телефону. Что-то в ее тоне полулебезящее, полусамоуверенное. Она уже вполне, вполне считает себя ахматоведом, знатоком. Сообщила, что Друян просил «Поэму», но она, *конечно,* не даст; (а мне-то что? У Жирмунского текст 63 г. все равно неверный); что, *конечно,* все мое из комментария она к сожалению выкинула (т. е. цитаты из «Записок», а моего там процентов 50 другого) и что просит она разрешить напечатать мой экземпляр 1942 – как первый из существующих (т. е. мою тетрадь, уже украденную и напечатанную Кейсом – без указания на мое имя в надписи[420]). Я ей сказала «– Нет, этого не дам (у нее – фотокопия, которую я имела глупость подарить В. М. Жирмунскому). Там надпись А. А». – Это «для Л. К. Ч.»? – Нет, это «Дарю моему дорогому другу» и т. д. Затем я сказала: – «Она уже напечатана за границей». Тут Н. А. стала запинаться от страха. – «Ну, тогда мы возьмем 44 г.». (Ну тогда грош тебе цена! подумала я). Грош еще и потому, что она просит предисловие у Суркова и еще потому, что готовится уступать стихи А. А.…. В общем: «любой ценой, только бы вышла Ахматова». Нет, извините, не любой, ибо это уже *против* Ахматовой, а не за нее… Это уж: «только бы вышел Жирмунский в угоду Приймы»[421]. Строфу же о Пунине в «Поэме», которую я подарила Виктору Максимовичу – я печатать без ссылки на меня разрешила.

Примерно ко дню рождения А. А. я получила от Юнги[422]

нежданный грандиозный подарок: продолжение «Пролога»!

И от самой себя: нашла блокноты 63 года под названием: «Книга об Ахматовой»! Господи, какие же провалы в памяти. Черновик – но одним очерком – всё, над чем я потом билась в «Несчастье»[423], в главе о лирике. И совсем забыла. Помню только, что когда Толя Якобсон читал мне «Царственное слово»[424] – мне нравилось, но все казалось, что чего-то не хватает – а эта нехватка была уже мною, оказывается, заполнена.

Кончила ахматовские «Записки» до встречи Нового Года в 1961 г.

Суббота, 18 октября 75, дача. С нас не спускает КГБ глаз и уха. Телефон. Письма не доходят. А вчера пришли Люше два письма одновременно: от тетки[425] – она вскрыла, а там письмо от Пантелеева! в теткином конверте! И от Алексея Ивановича – она не вскрыла, там, видно, теткино. Прочитав, перепутали. «Вот как мы живем»[426]. Она пошла на телеграф – разумеется зря.

10 ноября 75 г., понедельник, Москва. У меня как-то была Мария Сергеевна – отдохнувшая, элегантная, помолодевшая – прочла мне свое письмо к Алигер о воспоминаниях Алигер[427] и ответ от Алигер к ней. Письмо Марии Сергеевны очень вежливое, но твердое. Письмо Маргариты Осиповны тоже вежливое, но глупое и не без подлости. Почти ни одного замечания она не приняла. Кончается письмо так: «когда я писала, мне казалось, что за моею спиной стоит А. А.». Ух, великий грех А. А. – пускала к себе – или точнее от бездомности – жила у нечистых… Алигер из группы Льва Левина, Мартынова и прочей нечисти – неподалеку от Книпович – которая сейчас разыгрывает «настоящую интеллигенцию», потому что они и впрямь грамотнее Сомова[428] или Софронова.

А у гроба стали мародеры
И несут почетный караул[429].

Вчера была у меня Ника – человек чистый, любивший А. А. и любимый ею, и знаток в самом деле, не Банникову чета. Как будто бы радость: Слуцкий заказал ей для «Дня Поэзии» печатный лист Ахматовой и об Ахматовой. Так вот набрать *годного для печати* можно бы, но объединясь, например, с Толей Найманом, у него ведь много. Нет; Слуцкий заявляет, что Найман когда-то что-то дурное сказал о нем А. А. и он, Слуцкий, не желает Наймана. Какой бабий подход к работе! У А. А.

на самом деле насчет Слуцкого была точка зрения: «Добрый человек, лекарство привез мне». А о стихах: «Они существовали, пока были запретным плодом, теперь – нет». И спрашивала: «а с “Реквиемом” не будет того же, что со стихами Слуцкого?»

29 декабря 75 г., понедельник, Москва. Вчера вечером у меня были Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна. Попросил разрешения, чтобы и Таничка[430] приехала; я ответила, что в наш дом «она родилась приглашенной».

Сама же я позвала В. Корнилова, который, я знала, хотел увидеться с ними не в общей свалке, в которой был.

Андрею Дмитриевичу все-таки удалось (я принудила вопросами) кое-что рассказать. Не о Вильнюсе, увы, нет[431]. Но не менее ужасно. У него был молодой человек (лет 24) из Клина. Просил фотографию, говорил о религии – религиозен – и просил устроить встречу с корреспондентами. Андрей Дмитриевич подарил фотографию, а от встречи отговаривал. Поехал в метро куда-то на Белорусский; юноша с ним. В метро они продолжали свой разговор (не называя сути). Какой-то тип, шлявшийся за ними, сказал Андрею Дмитриевичу: «Что вы с этим ничтожеством разговариваете». Андрей Дмитриевич ответил: «Не вмешивайтесь, мы сами разберемся». Затем они расстались; молодого человека «агента» выбросили из поезда… Оформили смерть так: попал под поезд.

Заговорили об уголовных судах, я вспомнила дело об убийстве Марины Костоправкиной, неправо осужденных мальчиков, которых спасла Сарра[432]. Андрей Дмитриевич сказал, что у нас в уголовных делах такое же полное неправосудие, как в политических, что на уголовных следствиях всегда применяют пытку, битье, что он знает уже 2 случая, когда на следствии убили баптистов (ну, это не уголовники) – почему-то их тычут шилами. Что труп одного был доставлен в больницу якобы из другой, а на самом деле из тюрьмы.

Да. Мафия за работой.

Я сказала: – Господи, ну вот проснулся бы однажды Л. И. Брежнев утром и сказал себе: зачем собственно преследовать баптистов? Ну зачем? Перестанем-ка.

Андрей Дмитриевич ответил, что по его мнению Л. И. Брежнев никогда, наверное, ни о каких баптистах и не слыхивал, что вообще сейчас в верхах разброд, а КГБ само по себе чинит расправу.

3 января 76 г., Москва, пятница. Итак, мы живем в новом году.

Письмо от А. М. Финкельштейна[433] с добавлениями к Митиной библиографии. Он виделся с Гешей.

Звонок от Геши [Егудина] – не поздравительный конечно! – о том, что он увиделся с А. М. Финкельштейном.

– Как он тебе понравился?

Судить не могу, потому что он молчал, а я говорила 3½ часа…

Я сказала, что я в этого Финкельштейна верю, потому что он явно интересуется не только тем, что может ему пригодиться для реализации. Геша согласился. Потом произнес фразу, которая меня потрясла:

– Я человек не сантиментальный. В мире были только 2 человека, к которым я относился с сентиментальностью: Митя и мой отец. Мой отец был человек замечательный. Я тебе о нем никогда не рассказывал.

– Ты мне и о Мите никогда не рассказывал 3½ часа… Даже полчаса.

– Да.

А дальше выяснилось, что Геша послал мне письмо, которого я не получила. Это уже второе! Пора бы выступить с какой-нибудь корреспонденцией под названием «Без права переписки».

(Сейчас «Голос Америки» передает счет погибших от рук террористов за минувший год. У нас в стране террористов – отдельных – нет, а террор монополизирован… Помню, помню Брунова – юношу, выкинутого из поезда – Москва – Клин – после того, как он побывал у А. Д…) Забыла записать еще один рассказ А. Д., уже о себе, о шапке. Он вышел из дому вместе с Люсей и выйдя, вспомнил, что забыл очки. Люся осталась на углу, а он вернулся. Стоя и дожидаясь, она заметила двух пьяных или непьяных, толкущихся в подворотне, – и два такси-не такси возле дома. Вскоре появился А. Д.; когда он проходил мимо подворотни, один из парней содрал с него шапку, подойдя сзади, а другой сказал: – Садитесь в машину, поедем, догоним его…

А. Д. не сел. Кто они были. Есть правда, воры, спецы по шапкам. Но зачем один хотел бы догонять другого? Кто они были? И неужели А. Д. даже и сейчас не защищен от монополистов террора?)

3 января 76 г., Москва, пятница. Эмма Григорьевна вчера позвонила мне, начав разговор со следующей фразы:

– Вот, Лидочка, вы задавали мне много вопросов, теперь моя очередь.

Меня это огорчило. Во-первых, хотя я действительно задавала ей много вопросов об А. А., она мне – не менее. Отказа не было

с моей стороны никогда. Я вообще между товарищами не люблю счета. Я ответила: – Пожалуйста, Эммочка, спрашивайте.

Оказывается, она получила из Ленинграда верстку – всей книги. Ну и читает не только свой отдел – прозы – но и стихи… И вот по тексту стихов у нее ко мне вопросы… Таким образом, моя текстологическая работа теперь контролируется моим другом Э. Г., которая ко мне же и обращается за помощью…

Забавно.

7 января 76, Москва, среда. Звонит Э. Г., задает мне вопросы по текстам Ахматовой. Я отвечаю. Конечно это хорошо, что в текстах А. А. будет меньше ошибок, чем было бы без нас.

17 февраля, вторник, дача. В последние дни (вот еще в чем старость: совсем не понимаю, сколько когда дней прошло, что было раньше, что позже), – да, впервые в жизни занималась своими стихами! Варианты! Даты! (Какие хочу, какие нужны для развития книги). Строю сборник. Отделы. Забавно… Стихи плохие. Я прочла Тане [Литвиновой] «Отрывки из поэмы» – ей не понравилось. (А Пастернак когда-то сказал: «Это могли написать только Ахматова или я».) Вообще, я еще не видела понимающего человека, которому нравились бы мои стихи. (Пастернак был Пастернак, а не понимающий. Кроме того, ему нравилась «Поэма», а не стихи.) Деду не нравились. С. Я. не нравились. Мне тоже не нравятся. Но мне кажется, что стихи плохи, а книга может быть и хороша. То есть, как документ, как автобиография…

7 марта 76, Москва, воскресенье. Бег времени! Я поехала на Ордынку к А. А. – к Нине. Кажется, не была 10 лет, или была только во дворе, но не в квартире. Кажется, так… Да, а вчера впервые после смерти А. А. вошла в эту квартиру. Накануне – 5-го – там, по рассказу Марии Сергеевны (телефонному, со слов Ники), было человек 100, из них друзей А. А. – человека 3–4. Лестница весьма окрепла и похорошела. В передней дверь изнутри уже другая: какие-то перекладины и почтовый ящик. Холодильник тот же, там же в передней, но на нем не лежит кот. Когда я уже уходила, я попросилась в комнату А. А. «Там сумбур, бедлам, не надо»– сказала Нина. Но я вошла. Сумбур (наверное после вчерашних посиделок), накидано, набросано, но и вообще кроме стен и окна все другое. «От дома того ни щепки / Та вырублена аллея»[434]. Никто не попытался сохранить здесь столик А. А., зеркало, тумбочку, рисунок Модильяни. А как поднялась рука.

Нина. Этого не опишешь. Она лучше, чем была после инсульта, лучше, чем однажды, прочтя 38–41, была у меня. Говорит свободнее. Движения обрели прежнее благородство. Очень благородная большая седина. Говорит все же трудно; междометиями, жестами. Надеждой Яковлевной потрясена (не знаю, читала ли, или по рассказам). Я ей поклялась, что на все отвечу. И не умру, и не ослепну, не окончив книгу против Надежды Яковлевны и дневники об А. А.

В разговоре важное – о смерти А. А.:

– В 6 ч. утра она проснулась и сказала «болит». Я конечно вскочила: позвать сестру? – Нет, показалось, буду спать… Потом утром началось… Последние слова, которые я от нее слышала, такие: «Прошу горячего чаю, терпеть не могу холодный».

– Значит, она еще была в памяти и не думала о конце, раз просила чаю?

– Да! Уже здесь было пятеро – сестры, врачи – готовили уколы, меня уводили, а она просила чаю. Я не думала страшное, и она еще не думала.

Потом сказала:

– Как она вас любила… Вы напишете про это?..

– Про что?

– Когда вы делали эту книгу?

– «Бег времени»?

– Да, да… Как она вас любила.

(Когда я делала «Бег», А. А. обращалась со мной небрежно и плохо).

6 апреля 76, Москва, вторник. Вышла Ахматова в Лениздате. Узнала я от Ники. Через Нику Эмма Гр. прислала мне книгу. Надо радоваться. Научусь постепенно… Книга разумеется богаче «Бега» и даже богаче нашей зарезанной, потому что в настоящее время накопилось уже больше опубликованного – и в стихах, и в прозе.

14 апреля 76, среда, Москва. За эту неделю сделано много. Кончила перечитывать свои общие дневники 1959–63 для ахматовского «фона»; параллельно выписываю всё по истории гибели «Софьи»; и даты моей жизни. Кое-что уничтожаю. (Жизнь моя воистину страшна. Я – неудачница с первого до последнего дня. Ни разу не одолела судьбу).

Имела мужество прочесть Ахматову. Мои тексты воспроизведены аккуратно. Новые – неграмотно (в отделе «Стихи, не вошедшие в сборники»). Введены ранние, которые она отвергала; поздние без дат; перевраны «Что войны, что чума…»

и «Соседка из жалости два квартала…» (взято у Алигер – Раневской). Предисловие Хренкова бандитское.

2/V 76. Книга Лениздата имеет огромный успех. И в общем заслуженный. И я учусь переносить его: ведь это успех А. А., она была бы рада, там «многие ее стихи раскрепостились».

1 сентября 76 г., среда, Переделкино. Сейчас лучшая станция «Немецкая волна». Они усердствуют, но от их невежества можно лопнуть. Вчера – передача о Лениздатской Ахматовой. В книге, какая бы она ни была, 2 события: «Поэма» – целиком и впервые все вместе основные статьи о Пушкине. Этого рецензент не заметил. Заметил, что выброшены религиозные стихи. «Requiem» именуется «Реквиемом» и указано, что он дается лишь в сокращенном виде. Хорош сокращенный вид – из 14 стихотворений даны 3 и без указания, откуда.

18 сентября 76, суббота, дача. С. Э. [Бабенышева] пересказала мне суждение Межирова о моих стихах: «Во многих нету звука». Самойлову, я чувствую, – да он этого и не скрывает – мои стихи не нравятся. Дед избегал их слушать, а выслушав, отзывался неопределенно. С. Я. слушал очень внимательно, потом говорил: Лирическая волна есть, музыка есть, но своего мало и мир узок… А. А. забывала спросить, пишу ли я их; а если я иногда все же читала их ей – брала из них то, что ей было нужно в ее собственном хозяйстве, претворяя мои беспомощные строки в гениальные. Б. Л. один раз написал мне комплимент – по требованию Ольги. Туся всегда относилась к ним порицающе («в них я не слышу вас; в критических статьях вы слышны, а тут – нет») – только незадолго до смерти похвалила кое-что. Шура всегда их не терпела: «ты – не поэт».

И вот я, наконец, все поняла.

Я – не поэт, это правда. Да и не прозаик – обе мои повести бледны. Я – что-то другое, по-видимому, к искусству отношения не имеющее. (*В искусстве* я, может быть, только критик.) Но *я* – это «Не казнь, но мысль, но слово…»; но *я* – это «Записки об…», но *я* – это стихи из дневника. На плохого читателя, т. е. читателя не специалиста, мои стихи всегда имели действие и будут иметь. Если бы сейчас я выпустила книжку стихов в Самиздате – она имела бы успех и распространение среди людей, плохо разбирающихся в поэзии.

2 ноября 76, вторник, Москва. Вчера было странно, грустно и радостно. Лежала я уже в постели, слушала радио – скучищу

и читала увлекательнейшую для меня «Летопись жизни и творчества Герцена 1812–1850». И вдруг слышу по радио просто над ухом «Лидия Корнеевна Чуковская». Оказывается, в Америке вышел «Спуск» и «Голос» передает рецензию из «New York Times». Конечно, название издательства, фамилию переводчика я мгновенно забыла. Дальше я услышала, будто действие происходит в русской части Финляндии. Тут я в бешенстве выключила приемник… Оказывается, их сбивает с толку «финский домик»… Отдышавшись от бешенства, я включила снова. Тут шли похвалы и не очень глупые…

25 ноября 76, четверг, Переделкино. Не спала. Больна.

В 7 ч. получила свою книгу: т. I[435].

Чувства и мысли:

1) Какая тоненькая!

2) Какое хамство: моя фотография и фотография А. А. рядом, нос к носу на обложке! Хамская самореклама, а я ведь об этом ничего не знала, не ведала.

3) Опечаток не видать…

Обложка – стыд и позор. Просто Надежде Яковлевне впору: «нас было двое». Вид у меня наглый, будто А. А. пишет обо мне, а не я о ней.

29/XII 76, среда. Будут повышены вдвое цены не только на такси, но и на все виды транспорта. Повышены цены на *книги*: на мемуары вдвое, на классиков – в четыре раза! Одно хорошо: Ахматова оказывается классик, потому что ее Ленинградский однотомник, выпускаемый еще одним тиражом, будет стоить 8 рублей!

6 января 77 г., четверг, дача. Новости чтения:

Получила от Цивьян[436] статью «Ахматова и музыка». Умная женщина. Пишет о близости «Поэмы» к сонате, (а я о близости к музыкальному театру). Кое-что умно, но все изгажено наукообразным жаргоном. Какое отсутствие слуха – рядом с языком Ахматовой «коммуникации» и пр. За что же она любит Ахматову? Ведь язык Ахматовой запрещает эти безобразия… Однако она знающая и думающая.

* * *

Прочла Адамовича в «Воздушных Путях» об Ахматовой[437]. Умно. Точно. Тепло. Жаль, что он умер. Он прочел бы мой

Дневник.

29 января 77, пятница, Переделкино. Прорабатываю Жирмунского…[438] Статья Суркова не только подла, но и глупа нестерпимо. Пошляк. Фигляр. «За пределами этой книги остались переводы Ахматовой». *Только* переводы? А «Реквием»? А «Черепки» и мн. др. Затем хвастовство, что Ахматова дважды была за границей и не жаловалась там на свою судьбу. Попробовала бы она пожаловаться! Ведь ей предстояло ехать сюда, ведь эмигранткой она стать не собиралась… А насчет «Немного географии» оборвала ведь Н. Струве – и это напечатано – «У вас будет немного географии, а у меня много неприятностей»… У Суркова задача непосильная: оправдать постановление 46 г. и в то же время возвысить Ахматову. Справляется так: до 41 г. – ерунда, интимная лирика; в 41–45 взлет патриотизма (причем кроме «Мужества» цитируются все плохие стихи), а потом опять, мол, к сожалению, интимная… А о постановлении 46-го говорится как-то так, что не поймешь, к кому оно относилось…

(Говорится только о журналах без имен Ахматовой и Зощенки).

Но это конечно вздор.

Прорабатываю комментарий Жирмунского к «Поэме», а ведь надо будет и тексты несколько посравнивать… Уже заметила, что все мои примечания (стоившие мне около 3 месяцев работы) использованы; В. М. Ж. попросил – я дала, потому что наша книга была подписана к печати, а над своей он еще работал… Ну так вот: Горячее поле и пр. А скольких мне стоило ненаписанных страниц это горячее поле.

31 января 77, понедельник, 11 ч. вечер. Читаю (урывками) Жирмунского. В общем если прибавить к этой книге «Реквием» + Сб. Памяти + прозу, получится полная Ахматова.

18 февраля 77, пятница, Переделкино. Письмо от кварта[439]. Переслал статью Глеба Струве о Лениздатском и Банниковском изданиях Ахматовой[440]. Самоуверенно и лживо. О «Сборнике памяти»[441], где собраны стихи А. А., переворачивающие все их представления о ее пути – ни звука. Вот, когда он их напечатает – в своем III томе – тогда они станут событием[442].

24 апреля 1977, Москва, воскресенье. Со второй половины вчерашнего дня и целый день сегодня работала с Люшей над примечаниями. Иногда ее сменяла Фина. Я говорю, что я –

как подследственная: следователи сменяются, а я отвечаю на вопросы. Устаю очень; они же обе работают героически и без устали. Совсем непохожи друг на друга; и функции разные у каждой; но ни без одной из них мне никогда бы не выкарабкаться. Я и благодарна, и раздражена, потому что эта работа, совершенно обязательная, мешает и писать «Дом Поэта», и писать 3-ий том, и читать 1946 – и вообще всему. Надо подналечь и развязаться. А Ленинград? Я очень хочу в Ленинград. Когда же, как же?

Два дня в Переделкине оказались днями прогулов. Но я не жалею: в четверг вдруг пришел Тарковский, а в среду приехали предусмотренные Корниловы. Тарковский мало симпатичен, Володя, как всегда, мил и трогателен, Лара держится хорошо, и я ценю жену поэта, которая в нынешней корниловской ситуации держится с умом, твердостью и достоинством, и не пилит, а ободряет его. Поэты же, как я уже имела много случаев заметить, все необыкновенно умны: и горячий, благородный Корнилов, и осторожный Самойлов, и отъявленный трус и лжец Межиров – и – мой новый знакомец – злоязычный Тарковский.

– Мандельштам? Вот вы браните Над. Як. А он и сам такой был – неприятный, злой. И совсем не боец, какого она из него лепит. Вел себя как все… А последние его стихи я не люблю. Это плод душевного распада, психической болезни. Зачем я должен жить чужой душевной болезнью?.. Вот и у Хлебникова так. Только куски хороши…. Над. Як. была при нем девочкой на побегушках, а теперь строит из себя Бог знает что.

– Цветаева была истерическая, злая. Плохо относилась к людям… А в любви смешная. Я ничего не читал смешнее, чем переписка ее и Бориса Леонидовича. Это переписка двух пятиклассников… Слава Цветаевой идет сейчас вниз, Ахматовой возрастает. Марина верно написала о Брюсове, что он был Герой труда. Она сама была Героем труда, ремесленничала.

(Тут я внутренне возликовала: Цветаева, по-моему, лишь на 15 % вдохновенна, остальное – ремесленная возня со словом.)

– Хорошо писала в 16 году.

Я спросила, как прошел в ЦДЛ вечер А. А. 20-го, в котором он участвовал.

Он с одобрением отозвался о Л. Я. Гинзбург и об Алеше Баталове. (Э. Г. не выступала.) О Вечесловой насмешливо:

– Да, видная женщина, видно и сейчас, что была хороша. Но что-то в ней вульгарное, грубое. Не верится, что она Голову Крестителя несла[443]. В течение вечера дважды переменила драгоценности: сначала что-то золотое в ушах и на шее, потом серебряное. После выступления мне подмигнула; т. е.

вопросительно: хорошо ли, мол, выступила? Ну, я, конечно, кивнул…

24 апреля 77, воскресенье, Москва, продолжение.

Об Ахматовой:

– Читая ее стихи, сразу попадаешь в христианский мир.

Не знаю, что он будет говорить обо мне и моем I томе за глаза, но в глаза он сказал:

– Не только во всей русской литературе, но и во всей мировой, нет воспоминаний такой скромности. Это образец скромности для всех мемуаристов мира.

О встрече между Ахматовой и Цветаевой. Будто Цветаева сказала А. А. в передней, уходя: «Вы оказывается обыкновенная дама».

Тут я произнесла, что *мне* А. А. всегда казалась необыкновенной, ни на кого не похожей.

– Нет, а я как вижу точно таких дам в Севастополе, жен офицеров, недаром ее отец был морской офицер-механик.

– А. А. говорила, что Пастернак делал ей предложение в 25 году. Ну была бы семейка. Вот это, как говорится, парочка, баран да ярочка.

Еще о Цветаевой: – Марина не уважает читателя. А без читателя нет поэта.

Я: – Читатель – зеркало поэта? Братство?

– Нет, больше. Alter ego.

Я вышла его проводить. Он в красной заграничной куртке, с красным портфелем. Я ему сказала, что он похож на кардинала. «Да, – сказал он – я называю эту куртку: спортивный наряд кардинала или кардинал на футболе». И стал говорить не о спортивном кардинале, а о кардинале Вышинском[444], как о великом человеке. «Пока этот человек жив, Польшу скрутить не удастся. Католицизм в Польше сплачивает народ, а Вышинский – великий стратег и дипломат».

* * *

Накануне – т. е. в городе – у меня был истинный великий человек: А. Д. Это было по-моему в понедельник, 18-го. Я работала с Люшей над примечаниями, устала и с разбухшей головой вышла пройтись. Обнаружила новый сквер по моей обычной дороге: от нас к тому тупику, где жил классик[445]. Вернулась: оказывается, звонил А. Д. и спросил, можно ли придти в 7 ч.? Люша и Фина срочно готовились к приему. А. Д. пришел

с букетом тюльпанов. Люся пришла позднее. Я просила Люшу включить магнитофон – конечно, с разрешения А. Д. – а я его расспрошу о текущих делах. Но Люша захлопоталась с чаепитием и под магнитофон А. Д. прочел только 2 документа об отказе в обмене квартиры… Жаль. Люси не было – он говорил один, со свойственной ему медленностью, сидя в кресле, очень красиво, спокойно и свободно.

Сначала о Реме[446]: тот 8 лет без единого замечания водил машину. В 3 дня его лишили прав: врывались в машину и заявляли, что скорость 80 км в час, когда было 40. Теперь таскают в прокуратуру как тунеядца. (Не давая работать.) Последнюю повестку А. Д. скрыл от Рема и пошел к прокурору сам. Заявил, что, как академик, он имеет право на секретаря, и Рем – секретарь его. «Почему не оформлен в группкоме?» – Мы верим друг другу и в официальном оформлении не нуждаемся… Пока утихли.

Спросила о человеке, погибшем после прихода к А. Д. История такова: к А. Д. пришел молодой человек, тридцати лет, шофер из Новосибирска. Яковлев. Начальник заставлял его работать сверхурочно. Он не хотел. Его понизили в должности. Послали грузчиком. Он не вышел на работу. Уволили за прогул. Он приехал посоветоваться с А. Д. Тот дал ему скромный совет: обратиться в ЦК Профсоюза. Яковлев ушел на свидание с матерью; через 2 часа она позвонила, что его нет; на следующий день пришла к А. Д., и они начали вместе звонить по милициям и больницам. Нет такого. Наконец 1/IV она сообщила А. Д., что сын нашелся в морге в Балашихе (куда вовсе не должен был ехать), убитый во время аварии. И что она везет его тело в Харьков, где у нее родные – хоронить. К сожалению А. Д. не знает адреса матери и теперь неизвестно, что это было: все взаправду, вторая история Брунова[447], или наоборот все, с самого начала, розыгрыш. Остается проверить в Харькове, похоронен ли такой-то на каком-нибудь кладбище.

Затем он прочел в магнитофон бумаги 1) Резолюцию райисполкома разрешить обмен, расселение граждан одной коммунальной квартиры по отдельным квартирам 2) чье-то решение – отменить (почему – я не поняла, какое-то крючкотворство насчет прав гражданки Кошкиной) 3) юридический протест (тоже ничего не поняла) 4) и наконец статью ТАСС «Новый фарс господина Сахарова»[448], где объясняется, что у Сахарова и так 30 кв. метров на члена семьи, а он хочет еще… Это у Сахарова-то, у которого нет 1-го метра, чтоб уединиться, работать, который отдал квартиру и полдачи детям и ушел жить на кухню к теще… А на даче внизу

проходная столовая, веранда, кухня и комнатушка для Руфь Григорьевны[449]. Всё. В городе же практически в 2-х комнатной квартире живут то 5, то 7 человек.

Затем я спросила о Тане[450]. И это хуже всего. Танина свекровь оформила ее, как судомойку в своем Институте, на 20 р. в месяц (Тане нужна справка о работе), а та отдавала 20 р. лаборанткам, сама же не делала ничего или писала какие-то рефераты. По такому способу у нас живет вся страна; падчерице же Сахарова так жить *нельзя* (что она обязана была сообразить – она и ее умная мама), и теперь ей будут приписывать совместное государственное хищение, т. е. она попадет в тюрьму.

А. Д. спокоен, лучезарен, прелестен в каждом движении и слове.

Они собираются ехать к морю. От нас ехали на дачу. В передней А. Д. надел рюкзак с продуктами, она взяла сумки – на дачу. (Вообще-то их выручает академическая машина, но этот раз ехали поездом). Таким я его запомню: в берете, с рюкзаком, чуть загорелым, голубоглазым, наивно подставляющим щеку для поцелуя. Да хранит его Бог.

26 августа 77, пятница, дача. Приехав, я во вторник 13 часов подряд с небольшими перерывами читала Ахматову «О Пушкине». Послесловие Эммы Григорьевны неудачно, она не говорит главного 1) что Ахматова примеряла свою судьбу на пушкинскую и потому была так проницательна и 2) что она все дальше отходила от наукообразия и кончила «неистовыми речами» и юмором – своим, ахматовским. Отвага мысли, проницательность, юмор, *свобода. Заявление о моральности Пушкина и всей, рожденной им, русской литературы.* (По морде Терцу.) И рядом: «Он бросил Онегина к ногам Татьяны, а князя к ногам, pardonnez-moi[451], к хвосту русалочки». Это уж совсем устная ахматовская речь, 1000 верст от Цявловского и Тименчика…[452] Этого Эмма не поняла или не имела возможность сказать.

Но примечания к работам Ахматовой сделала виртуозно, а они очень важны. О, как у меня разболелись глаза (я читала сквозь лампу) и как хорошо, что это позади… Сама же Ахматова оказалась еще лучше, чем я помнила. Еще крупнее, мощнее. «Каменный гость», VIII гл. «Онегина», «Гибель Пушкина» – шедевры. Да и в «Александрине» она мастерски ведет следствие. И как ненавидит врагов Пушкина. И как я ей за это благодарна. Святая ненависть. (А чем Терц лучше Полетики, Араповой, Нессельроде и пр.? Я его верно назвала секундантом г-на

Дантеса. А нашла бы для него еще более звонкое определение.)

(Чуть читаю Аманду[453]. Школьно. Однако главное, что поручила ей Ахматова, она, видимо, выполнила: разоблачить ложь Георгия Иванова, Маковского, Струве[454] и пр.)

13 сентября 77, вторник, Переделкино. Главное: один вечер (воскресенье) у меня был Андрей Дмитриевич. Я достала ему нужную книгу и хотела отвезти, но он сказал, что приедет сам. (Книга его деда, И. Н. Сахарова, «Против смертной казни» – сборник статей.) И вот он у меня, впервые один, без Люси. Люша устроила чай, мы сидели вместе втроем. Но иногда и вдвоем. Я вглядывалась, вслушивалась. Он изнурен, постарел. Ни слова жалобы. Затем каждый его рассказ был еще один ужас. Уезжает Турчин, которому уже 4 года не дают работать. Убиты, как он узнал, еще 2 баптиста. Еще одного облили водой голого и вывели на мороз. (За отказ от воинской повинности.) Я рассказала ему свои сомнения, нужна ли, допустима ли смертная казнь? Что делать с убийцами, с насильниками, с террористами? Он убежден, что смертная казнь подлежит отмене и только один раз в задумчивости сказал: «Может быть, она оправдана бывает только относительно таких людей как Сталин, Гитлер, Берия». И потом начал что-то объяснять, почему наши расстреляли Берия, я не очень поняла: «вот он мог бы разоблачить Сталина по-настоящему – накануне войны были Сталинские резолюции о массовых расстрелах». Так я поняла…

18 сентября 1977, Москва. …вечером съездила к Марии Сергеевне, посидела с ней. Она сказала, что ей звонила Маша Тарасенкова[455] и напрашивалась придти разузнать о Цветаевой. М. С. ее отвадила, а мне рассказала нечто важное. Она пришла в Чистополе в тамошнюю столовую. Пила там чай (т. е. кипяток). И вдруг вошел Мур. Она спросила:

– Где мама?

– Марина Ивановна умерла.

– Как? Что вы говорите, Мур!

– Марина Ивановна повесилась.

– Мур!!!

– Марина Ивановна не хотела стоять поперек моей жизни.

* * *

Помню, А. А. в Ташкенте очень возмущалась Евгенией Владимировной Пастернак, которая (не знаю, с чьих слов)

утверждала, что в гибели Марины Ивановны виноват Мур. «Большой грех» говорила А. А. о Евгении Владимировне и всячески подкармливала Мура, пристраивала его к Толстым на кормежку и пр. Все это надо было делать во имя Марины Ивановны, но я-то верю, что виноват – Мур. Потому что у меня в Чистопольских записях о Цветаевой есть, помнится, такой разговор:

М. И. – Вот, вы ходите гулять со своими детьми, водите их в Музей (Краеведческий). Разве вы не понимаете, что все кончено.

Я. – Кончено или нет, а я отвечаю за двоих детей – значит, мобилизована.

М. И. – А моему сыну без меня было бы лучше.

Мария Сергеевна рассказала еще нечто, со слов кого-то, кто ездил в Елабугу и расспрашивал хозяев избы, где жила Марина Ивановна. Они рассказали: М. И. на керосинке жарила рыбу, в фартуке. У нее с сыном был какой-то бурный разговор по-французски. Хозяева это слышали из соседней комнаты, но не понимали ни слова. Мур вышел, хлопнув дверью. Когда он вернулся – мать висела в фартуке.

* * *

М. С. познакомилась с Цветаевой в Голицыне. Та жила не в Доме Творчества, а в какой-то избе. Но приходила в Дом Творчества. Однажды М. С. услышала в коридоре легкий звон. Оказывается это Цветаева шла, звеня браслетами. Она ходила в корсете, шурша крахмальными юбками и звеня браслетами… Я ее такой себе не представляю. В Чистополе она была одета в мешковину и выглядела без возраста.

27 октября 77, четверг. Когда стал известен срок – 20-е[456] – я бросила всё и принялась впервые перечитывать II том «Записок» подряд и целиком, а Люша и Фина – доделывать ссылки и заклеивать грязные места.

Прочитала я все за 2 или за 3 переделкинские мои пятидневки.

Книга плохая. I том построен самой жизнью: 38 – война. II случаен по времени: 52–62 это не эра, это промежуток между надеждой и еще не полным отчаяньем. В I ничего не приходилось фальсифицировать, во II еще много живых людей и приходится многое выбрасывать или смягчать. В I Ахматова только велика – в тоске и горе, в Левиной гибели, в нищете – а во II она бывает мелковата в своих претензиях к Б. Л., в своем отрицании его

гонимости, в сосредоточенности на своих обидах (она прочла эмигрантские лжи о себе). В I мне никого не приходилось разоблачать – здесь я написала о подлости Ольги, о подлости Успенского. Это необходимо, но тяжело[457].

* * *

Угнетена я очень. Чем? Поняла.

Тем, очевидно, что называется реакцией, общественным распадом, движением вспять.

Кроме «общего» меня убило «частное», которое есть одно и то же. «Ежедневные обряды разудалых похорон» (откуда?)[458]. После Толиного отъезда никто из *моих* людей не уезжал: ну уехали Янкелевичи, уехал Дар, уехал (на днях) Турчин, собирается в отъезд Ходорович… Из них я была отчасти и очень издали дружна с Даром – а остальные? они мне никто. Но отъезды, как историческое явление, как гибель России, как ослабление каждого из нас – ужасны.

* * *

Через 2 часа должен придти ко мне А. Д. и еще я позвала Володю. Я, когда кончала книгу, все время испытывала стыд, что не звоню А. Д., что как-то в чем-то оставила его. Хотя и не было у меня уверенности, как всегда, что это ему нужно. И вот, чуть подняла голову, еще с дачи позвонила, что хочу придти. А у них ремонт и Руфь Григорьевна больна. Он предложил сам придти сегодня в 7 ч. 30 м. Я пригласила бородача[459]. Люша на даче – все устраивает на завтрашний день[460]. А мы с Финой – здесь.

Но и до этого я дважды видела А. Д., была у него. Теперь уж не восстановишь. Попробую. Первый раз (во вторник) было совсем пусто: он, Руфь Григорьевна и я. Руфь Григорьевна явно подорвана отъездом Люси и внуков. Разговор о Виталии – муж двоюродной сестры А. Д., Маши[461]. В 40 лет повесился на собачьем ремешке в подъезде у какой-то дамы, которая не пустила его на ночь. Женат вторично, по 2 ребенка у каждой жены. Я его видала как-то: молодой мужчина, 40 лет, спортивного вида, красивый. Был вместе с А. Д. на дне рождения у С. В. Каллистратовой[462], проводил его, расстался с ним бодрый, веселый (собака в вещевом мешке за плечами) и повесился в подъезде дамы, после бурного объяснения. А. Д.

говорит, что он был душевно болен, т. е. склонен к самоубийству: в молодости пробовал и около года назад… В тот мой приход А. Д. дал мне свою статью о смертной казни, приготовленную для выступления в Копенгагене в начале декабря. Я поблагодарила за честь, что прочла одна из первых. «Первая» сказал он.

Затем я была у них в субботу – по-видимому 15-го. Накануне по телефону он сказал мне, что с утра вместе с Руфь Григорьевной едет в Жуковку на машине за вещами. Вернется в 4 ч., а меня просит придти в 6. Я приехала (с Колей, в такси). Он мне открыл: «Ну как, говорю, съездили, успели вернуться и отдохнуть?» – Успел не съездить. Мне искалечили машину. Извинился и ушел в кабинет к каким-то внезапно нагрянувшим американцам. А я в кухню к Р. Г. Оказалось: их приятель на ночь взял машину к себе. Утром спустился – она во дворе стояла – замки заклепаны какой-то особой нерастворимой смолой. Один замок он все же отпер и поехал за А. Д. и Р. Г. Поднялся, выпил кофе, взял инструменты. Они спустились вниз. Видят, из радиатора вытекают последние капли. Машину изувечили вторично.

Не имея возможности упечь А. Д. в тюрьму, боясь выслать, ему отравляют жизнь уголовными методами.

Я передала ему лист со своими мыслями о его речи против смертной казни.

Я не уверена в его правоте *всемирной*. А у нас ее конечно нельзя пускать в ход, потому что решение в слишком равнодушных, тупых, невежественных руках… Ну, а как быть с террористами, я не знаю.

* * *

Только что ушли А. Д. и мой дорогой бородач, потрясенный, умиленный, как и я. Никогда он не обманывает моих ожиданий. Я рассчитывала на его душевный слух, на его чуткость, и я не обманулась. Я не просила его проводить А. Д. до дому – он вызвался сам. (Хотя А. Д. и утверждал, что никогда не видит за собою слежки. Я думаю, что за ним следят не с помощью шпиков, а пускают в ход аппаратуру.)

Он сидел 3½ часа; пил чай; грыз сухарики; ел сыр и яблочный пирог – и – говорил. Он в действительности совсем не молчалив – он медленен и все другие (особенно Люся) его обгоняют и перебивают. Говорил он спокойно, даже я сказала бы, с какой-то странной безмятежностью (быть может, она же – обреченность?)

Содержание его речей было ужасно. Откуда он берет в себе силы терпеть?

1) Его пасынок, Алеша, на V курсе Пединститута им. Ленина. Последний курс. За все время, что он учится – никаких отметок, кроме пятерок. И вдруг – по теории военного дела – двойка. Это значит, что его отчислят от Института и упекут в армию солдатом. А. Д. ходил к ректору. Сказал ему, что этот случай рассматривает, как способ давления на него, А. Д. Тот ответил: «– Вы меня не шантажируйте». А. Д. считает, что у Алеши один выход – отъезд.

2) Накануне истории с машиной он объездил 4 посольства, созвонившись; его встречали (на улице?) очень учтиво. В ту же ночь ему искалечили машину. Через день он обошел еще 4 посольства – передал свое письмо к парламентам. (Я не спросила, о чем.)

2а) Самое может быть показательное для времени. Об этом я очень кратко и мельком услышала по радио, хотя об этом они должны были бы кричать… Днем, в квартиру в Новогирееве, где Люся и А. Д. прописаны и временно живет одна дама, пришли в ее отсутствие КГБисты, взломали дверь, разбросали и растоптали вещи из шкафов, открыли все чемоданы, перерезали бечевки, которыми были связаны кипы книг и ушли, оставив дверь открытой… Дама застала весь этот погром, вернувшись вечером. Вместо того, чтобы позвонить сразу А. Д. – он бы явился с фотокорреспондентами! – она ночью все привела в порядок и позвонила утром. А какая была бы фотография – на весь мир!

3) Срок Люсиного пребывания в Италии кончается 4 ноября. Уже 2 недели назад она опустила в ящик советского посольства свою просьбу о продлении, подкрепленную справкой хирурга: необходимы еще 1½ месяца для лечения. Ответа нет. По телефону сообщили, будто они такого заявления не получали. Она подала вторично. Ответа нет. Может статься, 4-го ее вытурят.

(Но я этого не думаю. Она мощная дама. И недаром – недаром – на этот раз не проронила там ни словечка за все 2 месяца… Тут какое-то джентльменское соглашение.)

4) Он послал большие деньги двум несчастным матерям в Т. Ему вернули деньги с пометкой: «адресат не найден».

5) Мы говорили о смертной казни. Я сказала, что сомневаюсь в правильности полного отказа. Что надо ведь помнить и о жертвах. Люди, готовые взорвать самолет с 85 пассажирами – разве это люди? Затем я всегда помню лица тех двоих существ, которые делали у меня обыск в ночь с 1 на 2 августа 37 г. Какие лица – белые блины, с белыми глазами, руки с грязными ногтями, галстуки веревочкой под грязными воротничками, лица и глаза

пустые, лица убийц, нелюди. Он ответил: «А их наверное убедили, что вы и ваш муж нелюдь. Они просто несчастные темные люди». И рассказал о своем личном телохранителе, который был к нему приставлен в дни его академических достижений. «Он был в охране Кремля, потом попал в Органы и охранял меня. Человек как человек, все его интересы семейные и пр. совершенно обычные». Я сказала: – Ну что ж, может быть охранник – и не расстрельщик. «Нет, работы тогда было много, они все обязаны были и в расстрелах участвовать». И дальше стал говорить, что большинство убийц совершают убийства случайно и один раз, такая минута подошла – пьян, камень в руке, драка – а второй раз он не убил бы.

Ну а бандиты-рецидивисты? Убийцы? Или групповое изнасилование? Или убийство Марины Костоправкиной после насилия?

Мне этот вопрос неясен.

6) Сообщил, что брат его (52 лет) помещен в больницу Ганушкина, что он действительно болен и давно уже. Не женат, живет в коммунальной квартире. Страдает манией преследования: хотят убить его или А. Д.

7) Еще веселый разговор. Я ругнула будущую Олимпиаду. «Съедутся пошляки со всего мира. Думать тошно. Я куда-нибудь уеду». – Вас уедут до этого, – спокойно сказал А. Д. – Вы живете в центре; ни вас, ни меня в центре не оставят.

8) Еще он рассказал, сколько молодых людей погибли от халатности начальства, от неумения и неразберихи на летних учебных маневрах, где был Алеша… Думаю о матерях. У них даже того утешения нет, что пал смертью храбрых, защищая Москву.

7 января 78, Москва, суббота. Читаю Ходасевича. Все яснее мне, что только писатель в состоянии быть критиком писателя. Только художник. Профессия: «критик и литературовед» вздор. Белинский был художник. К. И. тоже. Тынянов тоже (см. «Кюхля») и только потому шкловитянство не прикончило его, и средь его статей встречаются ценные. Ходасевич о Державине – *так* мог написать только художник: время, люди, портреты людей, рост поэта.

15 января, воскресенье, Москва, 1978. Кончила читать Ходасевича о Державине. До последней строки изумлялась прелести и силе русского языка и великому вкусу и мастерству Ходасевича: с каким мастерством, без всякой стилизации, использует он все богатства и все слои этого языка: где надо – пышность, где надо – аскетизм, где надо – юмор. Где надо –

XVIII век, где надо – XIX. Это книга, из которой можно не только узнавать Державина, но по которой следует учиться воссоздавать время, эпоху, средствами языка.

* * *

Не помню уж когда (кажется в прошедший вторник) был у меня Кома. Он прочел мой II том, а это мне крайне важно. Оказывается, Поликарпов звонил Ивинской и встречался с ней; Б. Л. ей велел всё делать вместе с Комой; и первое письмо было написано Комой и Алей Эфрон – вместе с Ивинской; а второе уж невесть кем, наверное одной Ольгой Всеволодовной[463]. Кома сказал также, что II том – другая книга; I – Записки об А. А., а II – о времени, о ней, о себе, о многих. Увы! это так.

17 марта 78, пятница, Переделкино. Сумбур вместо записи.

5-го была на Ордынке – днем. Никакой А. А. не почувствовала. Бессвязные отношения между ничем друг с другом несвязанными людьми. При этом все за годы разлуки с нею изменились. Старое старится, молодое растет. «Мальчики» Ардовы отнюдь не мальчики уже, а немолодые отцы бегающих кругом девочек. Эмма Григорьевна – старуха, приобретшая несвойственную ей величавость. Она хороша, но ее вечное «себе на уме» – тоже выросло. Миша Ардов в каком-то глупом одеянии, указывающем на его принадлежность к православию – а зачем на это указывать? Век не пойму. За отдельным столом – стареющая молодежь, пьющая и болтающая. Я поначалу за «главным столом» – усадила рядом Нику и выпытывала у нее сведения об Марии Сергеевне – Ника, конечно, как всегда, на самом благородном и труженическом посту. Очень мила и красива Нина, старая, но по-прежнему встряхивающая прямодушно стриженой – уже седой – головой. Напротив меня Рейн; по случаю своей знаменитости (Аксенов напечатал его в «Некрополе» [«Метрополе». – *Е. Ч.*], а Иосиф по радио сообщил, что считает себя учеником поэта Евгения Рейна) он ведет себя более сдержано, чем обычно, не навязчив, молчалив и не липнет. Зато Рита Райт вцепилась в меня когтями – сидя напротив – и стала рассказывать о своей поездке в Швецию и о своей дорогой Лилечке. «Это кто?» – спросила я вполне искренне не поняв. «Моя дорогая Лиля Юрьевна» ответила Рита Яковлевна, которая отлично знает (от меня и впрямую), что Л. Ю. Брик я терпеть не могла всю жизнь. На этом месте я быстро смылась в соседнюю комнату (бывшую Виктора Ефимовича) где сидели Эмма Григорьевна, Толя, Юля Живова. Я прихватила туда Нику. Э. Г. была величава, но мила. Толя умен. Говорили о 3-м выпуске «Встреч с прошлым», т. е. о блокнотах А. А. Толя опять повторял,

что в ЦГАЛИ Пуниными было продано не более 70 % архива.

Боря [Ардов] привел такси (как бывало). Я поехала домой вместе с Люб. Дав. Большинцовой. Я не знаю, какова она в самом деле, мне неприятна ее раскрашенная парижская старость, но она мила мне памятью о Ленинграде, о Стениче.

Какие разные люди были вокруг А. А.! Сколько – случайных. Но все эти случайности неслучайны. Это был двор – кто-то принадлежал к духовному двору – обслуживал ее духовно – а кто-то и к бытовому. Ведь она с детства дала зарок сама ни в каких обстоятельствах бытом не заниматься – и выдерживала его твердо. А между тем нужен был и хлеб, и кров, и одежка, и машина. Отсюда множество связей – бытовых. Жила она в чужих домах, и друзья ее (часто случайных) хозяев становились «знакомыми Ахматовой» – и вправе писать о ней мемуары. За бытовые услуги она также расплачивалась автографами, как за любые другие. Так совершенно правомерны увы! в ее биографии – Шток и Алигер, Западов и даже Никулин[464].

13 августа 78, суббота, Москва. Радость моя – Сережа[465]. Откуда берутся такие мальчики? Он говорит: «очередя». Он «не знает ничего ни о чем», но *всё* понимает. Им был бы счастлив Дед. (Он сам занимается английским! Создан специально для Деда.) Ни разу меня не обманул ни в едином слове. Он медленно думает, веско и точно говорит. Приезжает работать в каждый свой свободный день. Сейчас делает самое для меня важное: чистит костровую площадку. (Вартан Тигранович[466], разумеется, досок не дал; пока еще можно работать без досок.) Сережа сказал: «Я вам буду всегда говорить правду о прочитанном – что мне понравилось, что нет». Конечно! Если бы его учить, он через год нагнал бы (в литературе, во всем) – интеллигентов. В нем есть и природная сметка, положительность, хитрость, осторожность. Конечно, вечером на станции, в темноте, к нему уже пристали хулиганы. «Дай прикурить». – Не курящий. «А ты что здесь делаешь? Ты здешний?» – Нет, из Москвы. Халтурю тут в одном музее, прирабатываю. «Устрой халтуру и нам». – Да нет, ребята, музей государственный (!?), денег мало платят. Тогда они залезли к нему в сумку и вытащили – спасибо, спасибо судьбе! – «Спутники» Пановой… Отняли.

Теперь надо, чтобы он до темноты уезжал.

На 99 % я верю, что это – простое хулиганство. Но 1 % – КГБ, слежка и обыск.

* * *

Самое главное: прочла том писем Блока к жене. Предисловие Орлова читать не стала, но примечания, надо отдать ему честь, сделаны им *богато и толково*. Хотя, разумеется, очень ловко эта книга поддерживает основную ложь о Блоке: т. е., что он принял революцию восторженно (это и в Дневнике, и в любых письмах, и в этих), а что он умер от того, что понял свое заблуждение – об этом молчок. И мы молчим, хоть и знаем: «Когда он понял, что эта революция бумажная – он – умер», – как написал К. И.; и, как написал сам Блок: «ни одной минуты без насилия полицейского государства нет и живешь со сцепленными зубами»[467]… Да, но от многого заново падает сердце. Письма к невесте неинтересны как «Стихи о Прекрасной Даме». Но дальше идет Блок II и III книги, «Розы и креста», гениальной прозы. Этой вертихвостке, полуинтеллигентной актрисульке с запросами и исканиями и любовными интрижками – ее нелюбви к Блоку – мы обязаны стихами «Приближается звук…»; «За горами, лесами…»; «Чудотворную руку твою…»; «Но час настал…» и т. д. – и – и – письмами; некоторые из них (напр. от 12 ноября 1912 г.[468]) это уже гениальная проза и ключ ко всем оснеженным колоннам, Кармен, гибели. Подпись – не Твой, не Саша, не А., а: Александр Блок. Без обращения: не Бу, не зайец, не маленькая, не Люба. Это Блок, это судьба, вершина, гений, гибель, Лермонтов.

15 февраля 79, четверг, Переделкино, вечер. …страшный разговор с А. Д. Сахаровым о науке. Сказал, что в Германии до войны точные науки – физика, например, – были в расцвете. Гитлер уничтожил ее, а часть ее спаслась в Америку. Я спросила, восстановилась ли в Германии наука теперь. – Нет, – ответил он – есть традиции, которые невосстановимы. – А как в Англии? – спросила я. «Там науку губит бедность. Сейчас 80 % точных наук живет в Америке».

28 апреля 79 г., суббота, Москва, утро. Отравлена я книгой Буковского. «И возвращается ветер». Огромный литературный дар – да, да, несмотря на «пару недель» и пр. – огромный. Каждый эпизод – законченная новелла. Книга построена четко, потому что мысль четкая, острая, острейшая, работающая. Виден человек-герой. Поразительное богатство духовных сил, мужество небывалое. Чувство чести. Но… но… но… Я так увидела эту среду демократов, для которых, как для воров – тюрьма дом родной, которые ничего, кроме тюрьмы и КГБ, не знают и знать не хотят, у которых нет русской культуры – и вообще никакой культуры – за душой. Они переписывали Мандельштама, Ахматову,

Пастернака – потому что те – анти. Буковский в чудовищных условиях изучил английский язык – но ни слова ни об одной английской книге. О Солженицыне кажется и не понимает, зато СМОГ'ов[469], Тарсиса и Окуджаву берет всерьез. Он – профессиональный революционер, с ног до головы – без бомб – но профессиональный. *Только* политика – и это при несомненном художественном даре. Сомневаюсь, чтобы он стал заниматься биологией. Думаю, просто сопьется.

Понимает очень много – и Россию, и Запад. Меня, по-видимому, за что-то не терпит, потому что ни о «Софье», ни о письме Шолохову, ни о «Гневе народа» ни звука.

А я его люблю. Это книга необходимая для всех. Она как бритва.

7 июня 79, четверг, Переделкино. Что еще? Люша была 4/VI в Доме Ученых на чьем-то докладе, называвшемся «Круг чтения Ахматовой»[470]. Докладчик иногда цитировал – раза 2 – воспоминания Алигер и Ильиной, но сплошь, не называя моего имени, цитировал мои «Записки» т. I и сб. Памяти. Судя по некоторым цитатам, он читал и *ненапечатанное* (Это мы исследуем). Ахматова об Анне Карениной, Ахматова о Пушкине-человеке, Ахматова в Загорске, Ахматова о «Шинели», Ахматова о том, как ставить Шекспира и т. д. Когда докладчик кончил, но часть публики еще была в зале, Люша спросила докладчика, почему он не назвал ни разу имени мемуаристки. «Положение сложное», – ответил тот. Люша наступала, он увертывался. Люша спросила: А как вы думаете, Ахматовой понравилось бы такое обращение с ее друзьями?» – Думаю, да, – ответил он.

Кое-кто из публики стал убеждать Люшу, что она неправа, что мысли Ахматовой – национальное достояние и их, дескать, надо хранить. Вот *я*-то их и сохранила. Я весь свой Дневник предоставила В. М. Жирмунскому и Деду; В. М. Жирмунский брал горстями и ссылался на меня, а после его смерти цензура все это национальное достояние с помощью его жены Нины Александровны и его и моего друга Ефима Григорьевича – выкинула… Теперь же все 90-летие Ахматовой пройдет по моим «Запискам», их разворуют до нитки – и *никто не вступится*. Люша почему-то думает, что она их пугнула. Нисколько они не испугаются! Ахматова сейчас ихний предмет спекуляции. Что мои «Записки» есть моя проза – об этом они искренне не знают… А выход из положения (формальный) найдут: найдут какую-нибудь Алигер, которой, дескать, Ахматова тоже все это говорила. Это же самое. Вот и всё.

7 июля суббота. Переделкино. Забыла записать. Андрей Дмитриевич и Люся рассказали, как к ним приехали советоваться: «Максим Шостакович и ваш Женя [Чуковский], – о каких-то воспоминаниях Дмитрия Дмитриевича, которые записал Соломон Волков и издал на Западе – так вот, мол, писать им протест или нет. Я им сказал: не пишите, это уронит ваш авторитет, и всю жизнь вас будет мучить совесть.

6 ноября 79, вторник, Москва. Анекдоты:

– Что такое Малый Театр?

– Это Большой Театр, вернувшийся в Москву после гастролей в США. (См. невозвращенцы – история Годунова[471] и др.).

О фигуристах Протопопове и Белоусовой[472]:

– Лед тронулся…

28 декабря79, пятница, Переделкино. А угнетена я более всего – 100-летием Сталина и нами. На его (а не на Митину!) могилу возлагают люди венки. В Грузии тысячи людей чествовали в Гори *его*, а не Яшвили и Табидзе…[473] Подлая статья в «Правде» – черт с ней – но где же мы-то? Из нас никто не сказал ни слова, а внуки и подавно молчат… Говорят, что народный культ Сталина – это форма протеста против современного безобразия. Неправда. На самом деле так: цифры (20 млн погибших… 66 млн… 6 млн) воображению не дают ничего. Мертвая формула: «массовые нарушения социалистической законности» – тоже ничего. Народу не дали *эмоционально пережить* совершившееся; то, что не напечатан «Реквием», не вышла «Софья», никому не ведом ГУЛАГ – вот почему «внуки» опять «ничего не знают», а чернь вопит: «при Сталине цены падали».

Ни в слове, ни в живописи, ни в кино ГУЛАГ остался невоплощенным; погибшие – погибли, а судьбы их умерщвлены пустой риторикой XX съезда.

23 января 80, четверг. Переделкино. Во вторник мы мирно работали с Финой, собираясь начать укладываться. Звонок. Голос Клары: «Л. К., мне позвонили, что арестован А. Д.». Я продолжаю править какие-то примечания – еще не дошло до головы. Начинаю звонить на Чкаловскую. Там не гудки, а бурчание. Иногда занято. Иногда безответные гудки. Иногда утробное бурчание.

Звоню В. Корнилову и прошу заехать за мной. Устраиваю себе замену в Переделкино. Володя приходит. На кухне по Люшиному приемнику слышим Указ Верховного Совета о лишении А. Д. всех званий и премий. Непонятно, лишен ли он звания Академика.

Не хотим вызывать такси по телефону, ибо понимаем и свою обреченность – во всяком случае на слежку. Фина приводит что-то киношное. Мы едем. Вспоминаем, как 6 лет назад – да, 6 лет! шли дворами после ареста Ал. Ис.

Володя нервен, но спокоен. Я помешала ему кончить книгу, вытащила его из книги.

Высаживаемся неподалеку от дома. Володя переводит меня через сугроб. В парадной пусто. Володя говорит, что неподалеку от дверей дежурит машина.

Мы поднялись. Руфь Григорьевна и Лиза[474] бросились мне на шею. Они только что вернулись с аэродрома. Ах, не с Шереметьевского, как сказано было по радио. Значит не за границу! Оказывается – в Горький.

Тут начали приходить корреспонденты, англо-американские. Кто кто я не знала, только знаю, что под конец пришел Антони Остен от газеты. Все они 1) спешили 2) плохо понимали по-русски. Лиза и Руфь Григорьевна рассказывали им, а мы растолковали («Прокуратор?» – Нет, прокурор и т. д.). Я столько раз выслушала и растолковала, что могу записать с полной точностью.

Во время повторяемого рассказа, входили люди (радио и перезвон по телефонам) – Арина Гинзбург, Леонард Терновский и еще какие-то, знающие меня, но которых я не знаю. Меня беспокоило отсутствие Копелевых – я боялась, не то же ли самое и с ними… Арину я видела в последний раз 6 лет назад, после увода А. И. Через 10 дней едет в США. Каждую неделю говорит по телефону с Аликом (через посольство). Очень деловита: составила список продуктов и лекарств, нужных для отправки в Нижний. Очень изменилась – я бы не узнала ее – заострилось лицо. Из интересных вещей сказала: «Теперь Алик все требует «скорее! Не 31-го, а 29-го». Т. е. они там, значит, полагают, что все наши отношения с США могут прерваться.

Часа через 1½ пришла, – ворвалась – Мария Гавриловна Подъяпольская[475], которую остановили на улице и держали в милиции.

Но к делу. Итак:

Во вторник, как всегда, А. Д. вызвал академическую машину и поехал в ФИАН. Близ Ленинского проспекта раздался свисток. Шофер остановил машину (Вариант «Круга»). А. Д-чу предложили перейти в другую, со спущенными шторами. Отвезли в Прокуратуру (кажется, не главную). Прокурор предъявил ему Указ Верховного Совета о снятии с него всех званий – т. е., кажется, всех, кроме академического: Трижды Героя Соц. Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий – за подрывную

деятельность. Предложил А. Д-чу подписать бумагу о сдаче соответствующих документов. А. Д. отказался. Ему разрешили позвонить Люсе и сказать, чтобы она была готова к отъезду через 2 часа. После этого телефон отключили. Лиза помчалась к телефонам-автоматам – оказалось, что они и поблизости выключены. Тогда она побежала дальше и все-таки дозвонилась к корреспонденту Би-Би-Си и сказала «Сахаров арестован» (А может быть это было уже когда она вернулась с аэродрома?).

Ровно в 5 ч. за Люсей явились ГБ. Очень вежливые. Она приготовила 2 сумки нужнейших вещей. С нею поехала Руфь Григорьевна и Лиза. Их вывели не с парадного входа, а во двор, через подвал, с черного, и во дворе было полно ГБ. Их ждал микроавтобус, с ними сели гебешники, очень вежливые. Помчались – перед ними пожарная машина, сзади – красный крест; сирены воют, все движение останавливается. «Нас везут, как Брежнева», – сказала Люся. Привезли в Домодедово. Там к ним вышел (?) А. Д., который очень обрадовался, увидев Люсю («Расцвел» сказала Р. Г., и корреспонденты с недоумением взглянули друг на друга.) Был подан маленький самолет – человек на 50 – А. Д. и Люся взошли по трапу – и он мгновенно поднялся. ТУ 134. А. Д. успел им сказать, что их высылают в Горький.

Корреспонденты все это строчили в блокноты. Корреспондент, в какой-то особой кепке, держался очень важно. Кепку не снял, переспрашивал. Со мной и Володей не поздоровался, говорил только с Р. Г. и Лизой. Когда же Р. Г. сказала ему: «Это Л. К. Чуковская», – он сразу расшаркался «О! А!» и сунул мне в руку карточку. Я ему сказала: Вы поздно здороваетесь.

Пошли в кухню. Пили пустой чай – за тем же столом, над которым уже не светились глаза и голос А. Д. Арина и еще кто-то торопились провожать Твердохлебова, который сегодня уезжает. Вопросы профессионалов уезжающих: – Он летит на Вену? – Нет, поездом в Чоп.

Изредка мы проверяли, не включился ли телефон. Изредка слушали радио. Там сообщалось о высылке Сахарова, о лишении его всех званий. Это заграница. Об ОСВ[476] не поминают даже; зато кажется Олимпиада полетит к чертям собачьим. Один раз включили наш телевизор и там кто-то честил А. Д., как изменника.

Уже когда мы собирались уходить – даже уже на лестницу вышли – нам навстречу из лифта новая гурьба: сообщение, будто А. Д. в Вене, а Люся арестована. Вот тут Р. Г. помертвела. Но тут же ворвались новые корреспонденты с известием, что это

ошибка.

Мы ушли.

* * *

Вчера статья в «Известиях», что Сахаров – продажный изменник.

Да, еще мелочь, даже две: 1) 21-ое – 75 лет Кровавого Воскресенья 2) оказывается, накануне вечером Люсе позвонил Владимов[477] и предупредил, что готовятся против А. Д. выступления. Видимо он связан с газетами.

* * *

Вечером по радио все полно Сахаровым. Но в 11 часов начали сахаровские чтения, излагали его биографию, перипетия с моим «Гневом народа».

В 12 ч. – по «Голосу» – Григоренко в письме тоже помянул слова из моего «Гнева».

* * *

Сегодня друзья дали мне знать, что от Люси телеграмма и что она дважды прозвонилась. Сведения: 1) квартира из 4-х комнат, в одной комнате живет какая-то (!) женщина 2) не арест – оба гуляют по городу 3) Люсе разрешено ездить в Москву, ему – нет 4) к ним едет Руфь Григорьевна не то с Лизой не то с Наташей и везет продукты (старуха поразительна) 5) насчет работы для А. Д. еще ничего неизвестно.

20 февраля 80, среда, Переделкино. В воскресенье Фина отвезла меня к Руфь Григорьевне; туда только что вернулась из Горького Наташа Гессе[478]. На кухне: Наташа, Р. Г., я. Р. Г. на глазах опала, руки дрожат, ей уже все невмоготу. Наташа рассказывает – очень толково, но со свойственной ей и Люсе лихостью – ужасные вести.

14-го вечером Люся приехала туда вместе с Юрием Шихановичем[479]. Она везла большие тюки (постельное белье) и, кроме того, продукты к своему дню рождения. Доехала благополучно. У входа в квартиру милиционеры велели Шихановичу идти в милицию. Он пошел. Его повели в отделение

напротив. Люся же стала кулаками и ногами стучать в свои двери и, когда ей открыла Наташа, ворвалась с криками – дрыхните вы тут! Андрюшка, вставай, Юрку увели в милицию. А. Д. встал, наскоро оделся и пошел вместе с Люсей в милицию. Наташа же осталась дома, и минут через 15 увидела из окна, как Шихановича усадили в машину и увезли. С Люсей же и А. Д. случилось вот что. Она пришла в милицию требовать, чтобы Ю. Шихановича пустили к ним. Им отвечали: «ничего не знаем», а за дверью они слышали голос Шихановича, отвечающий на вопросы. Люся кинулась к этим дверям, – ей загородили дорогу. Шагнул туда и А. Д. Тогда их обоих ударили по коленям («специальный тюремный удар – сбить с ног», – пояснила мне Р. Г.) и оба они полетели на пол… Люся ударилась виском и глазом. Затем они встали, им сказали «идите домой», и они пошли. Через 3 часа пришла телеграмма от Шихановича, которого просто отвезли из милиции на аэродром и отправили в Москву.

С отвращением и горечью слушала я эту повесть. Конечно, надо было идти в милицию выручать Шихановича. Конечно, надо было. Но ломиться в комнату, куда не пускают, ломиться *физически*… Сахаров из-за нее был брошен на пол. Это поругание святыни. Этого я простить не могу – не только им, но и ей. Это – повторение Омска[480].

Она не понимает, что главное ее дело – беречь А. Д. Она его не бережет. Иерархия ценностей утрачена.

5 марта 80, среда, Москва. В понедельник (кажется) была у Люси, которая приехала и собиралась пробыть «по делам» до воскресенья. Были Копелевы. При мне Р. Д. спросила у Люси, не нужны ли А. Д. какие-нибудь иностранные книги, вынула бумагу, но Люся заявила: «Никакие книги ему не нужны. У него все есть. Ему нужен только журнал; я звонила в Академию, и там мне обещали к моему отъезду подобрать все номера».

На этом Копелевы ушли, а я осталась. Расспрашивала о работе А. Д. Она сказала, что он работает часа 4 в день. Была со мной очень ласкова. Я обещала постараться достать сухой шоколадный торт, который любит А. Д., и банное мыло. Мы условились, что я приду к ней в субботу, накануне ее отъезда в Горький.

Я расспросила ее, как дело было в милиции. Я с жалостью на нее смотрела – осунувшуюся, постаревшую; на лбу, выше виска, синяк. Она рассказала – рассказ не вполне совпадал с давешним (Наташи Гессе). «Когда увели Юрку, я разбудила Андрея и, не ожидая, пока он оденется, пошла в милицию. Говорю: хочу видеть начальника. Мне отвечают: начальник занят,

подождите. Я спокойно села в приемной ждать. Минут через 10 пришел Андрей. И тоже сел ждать. Вдруг нам сказали, чтобы мы покинули помещение. А мы не уходим. Тогда нас стали выталкивать и один из них ударил меня по глазам. Нас вытолкали в коридор, а как мы оказались на полу – я не поняла».

16 марта 80, воскресенье, Москва. Настоящим открытием, созданием нового жанра, было «Солнечное вещество» (об этой новизне сказано Маршаком в предисловии к «Солнечному веществу» в «Годе XVII» Горького). Скажу без скромности: «Солнечное вещество» без меня и без С. Я. он написать не мог бы; жанр создавался нами втроем (С. Я. ставил задачу; Митя писал; я перестраивала и даже переписывала). «Солнечное вещество» отдельной книжкой вышло в 36 г. Френкель же пишет только об издании 59 года, с предисловием Ландау[481]. О «Лучах Икс», об «Изобретателях радиотелеграфа»[482] не пишет совсем.

Сейчас следовало бы издать в Детгизе томик из трех вещей «Солнечное…», «Лучи икс», «Изобретатели…» Но я не стану добиваться. Я могла бы, например, предложить это Изе[483] – с ним они вступили бы в контакт; но Изя не поручится мне за текст, он глух – и тогда лучше пусть *не*.

Следовало бы найти где-нибудь в Ленинградском архиве последний текст «Изобретателей радиотелеграфа» – текст, напечатанный в журнале «Костер» – не окончательный, там было лучше. Может быть кто-нибудь из рабочих спас хоть один экземпляр книги? Как было с «Вавичем»?[484]

Что ж, в конце концов, когда-нибудь, «правда восторжествует». Всё, что нужно, написано: см. мой архив + напечатанную статью «О книгах забытых и незамеченных»[485].

28 марта 80, пятница, Переделкино. 26-го я опять почти не работала, к 7 часам – в Университет на вечер Марии Сергеевны.

Вечер ведет Малиновская, жена Гелескула[486]. Поразительно говорили двое – совсем по-разному, но удивительно богато, точно, литературно: Гелескул и Юлия Нейман. Гелескул сказал, что М. С. Петровых – классик. Это правда. Определение очень точное: классик это не тот поэт, которого судим мы, а тот, который судит нас. М. С. Петровых – одна из вершин русской поэзии XX века: по силе, красоте, чистоте и самобытности голос ее равен любому из лучших. Ее лучшие стихи – совершенны. Неравенство ее с великими только в том, что мир ее *уже*: например, в ее мир не входила история. Ахматовой она

родственна не любовной темой, а основным русским языком, на котором пишут обе. Глубина – та же; объем содержания меньше у Петровых, чем у Ахматовой, но гораздо глубже и сильнее, чем у раскидистой, истеричной и слабой в своей нарочитой русскости – Цветаевой. У Петровых, как и у А. А., абсолютный вкус к тому же.

23 апреля 80, среда, дача. Еще боль: объявлено об эмиграции из страны писателей Вл. Войновича, Вас. Аксенова и критика Льва Копелева. Потом разъяснено, что Копелев просит о временной поездке к Бёллю, Аксенов тоже – на время и пр. чепуха. Совершенно ясно, что всех троих лишат гражданства, чуть они переедут границу. В Аксенова я не верю, Копелев мне безразличен – а Войнович – потеря для русской литературы. Худо. Он подлинный мастер. Сейчас перечитываю (в книге) «Претендента на престол» и убеждаюсь в мастерстве (а также в том, как умело он использовал сценарий моего и Володиного исключения из Союза: истерику Лесючевского, особую злобность дам и пр.) Лично для меня его отъезд не потеря, потому что общались мы мало и как-то формально. А все-таки сердце щемит: потеря, утрата. И Люша очень огорчена, она с ним дружила. Кроме того, я уверена, что ему в Европе или в Америке делать нечего.

Был у меня В. Корнилов; он постарел, мрачен, угрюм, но на *свои* беды (болезнь, неудачи в работе, безденежье) не жалуется. Хорошо сказал об отъездах: «Чувство такое, что драма кончилась, начинается театральный разъезд».

26 июня 80, среда, Москва. 4-го, кажется, июня объявлено по радио, что я – вкупе с одним кубинцем и одним мароканцем – получила премию Свободы, только что учрежденную французским PENом.

Так. Это, наверное, чтобы заткнуть рот мне – подстроено – чтобы я не могла публично, письмом в «Русскую Мысль», протестовать против гнусно изувеченного французского издания «Записок»[487]. (На которое, между прочим, наляпаны рекламы книг Медведева, Лакшина, Эткинда и Богуславской). Первые три – враги Ал. Ис. Очень приятно. Я написала яростное письмо кварту. И вежливое – Никите Алексеевичу[488]. Цель обоих писем – не допустить переводов с французского на другие языки; вообще никаких выборок и фестонов; жду русского полного издания 2 тома, и поскорее бы – II издания первого. Никакие похвалы в газетах и премии за французское безобразие меня не утешат.

Третьего дня вечером – звонок от кварта. Я говорила с излишней сердечностью, которой он не заслуживает. Он 1) ничего во мне не понимает 2) уклончив 3) по-видимому, лжив. Уверяет, что о французском издании «ничего не знал». Обязан был знать. Я ему еще раз вдолбила: никаких адаптированных иностранных изданий, пока не выйдет русское полное. Рассказала о своей болезни. Он – всякие нежности – потом по-дурацки: «Может быть вы сами сделаете промежуточно-полный текст для иностранцев». Это я-то, при моей слепоте, задолженности (III том, Митя, Н. Я., Цветаева) – это я-то буду делать нечто промежуточное! Господи, значит он не понимает ровно ничего.

Но зато послал 5 бутылочек волшебных капель.

– А как 2 том?

– Движется.

– Видели ли вы хоть что-нибудь?

– Нет еще.

Ничего себе движется… Мы совершили невозможное: восстановили после утраты 2-й том, а они палец о палец не ударяют…[489] На все денежные и договорные вопросы в письмах – никакого ответа. Зато «привет от Оси, он у нас гостит, и мы вас вспоминаем очень нежно».

Бродский. Который заявил публично, по радио, что посадили его иррационально и выпустили «тоже иррационально».

Нет, нет, нет… С квартом надо расстаться. Он еще чего доброго поссорит меня с А. И.

13 июля 80, вторник, Москва. Вчера день начался счастливо – письмом от Андрея Дмитриевича. Я и не ждала. Я знаю, что он писать не любит, кроме того не рассчитывала, что дойдет мое письмо, уж совершенно хулиганское. Пишет, между прочим, что надежд у него больше нет никаких, но что если нет надежд, надо перенести их в более идеальную плоскость. Это конечно так, и это мой старый способ. Окончился день интересно: позвонила и пришла Люся, которую я не видела уже в 2 ее приезда. Сидела часов 5. Очень огорчается, что сломала зуб. Прочитала свое письмо, на этот раз довольно толковое, об опасности для жизни Андрея Дмитриевича: вернувшись внезапно в свою квартиру (за сигаретами; с почты, куда их вызвали якобы для разговора с Нью-Йорком) она застала двух мерзавцев: один обыскивал стол Андрея Дмитриевича, другой шарил в постели. Оба бежали через комнату «хозяйки», где оказалось открытым окно. Люся позвала охраняющего их милиционера, показала следы сапог; он встревожился и побежал в отделение доложить, но вернулся весьма спокойный с ответом: «нас это не касается». Она делает

из этого верный вывод – что жизнь Андрея Дмитриевича в опасности, потому что милицейский пост не охраняет его – и милиции неизвестно, кто и когда лезет в дом. Если Андрея Дмитриевича задушат подушкой, милиция в ответе не будет.

Подарила мне номер американского журнала с фотографией Андрея Дмитриевича и ее, с его статьей, с портретами Тани Великановой и других.

* * *

Кстати, шофер такси, который вез меня из Переделкина, говорил, что в Москву согнали со всего Советского Союза 56 тысяч милиционеров – по случаю олимпиады.

Называют ее: «Тетя Липа».

…удивляться надо не тогда, когда человек, находясь в бесчеловечных руках, сдается, а когда выдерживает… Восхищаться надо Орловым, Великановой.

Вот кто мне гнусен – это академики. *Ни один* самовольно не рискнул поехать к А. Д. Вот где подлость. Их оправдывают: «за ними институты… лаборатории…». Да ведь за каждым человеком что-нибудь заветное стоит, чем он рискует. За каждым литератором – любимая ненаписанная книга… Раиса Давыдовна вещает (ей сейчас надо оправдывать припадок Коминого карьеризма), что Капица потому не защищал А. Д., что побоялся потерять лабораторию. Ложь. Он жаждет, чтобы оба его сына были не члены-корреспонденты, а полные академики. Вот и всё. И я думаю, что если корить человека его падением грех, потому что все мы, случается, падаем – то возводить падение в идеал – стыдно и вредно. Мерки-то нравственные должны оставаться незыблемыми.

Женя Пастернак сказал мне: «Вы ведете себя по-другому, чем все, потому что вы уже из этого государственного устройства *выпали*». Меня вытолкнули коленом и выталкивали всю жизнь – я уж не говорю о Митиной гибели, о своей тюрьме в 19 лет, о ссылке и пр. – но выталкивали из каждого издательства, с которым я соприкасалась. Из редакции Маршака – первую (чем спасли при погроме). Из «Нового Мира». Из «Пионерки». Это – как редактора. А как автора? Из Детгиза. Из «Советского Писателя». Из Союза. Из семьи К. И. Из Митиной семьи.

И еще откуда – поглядим.

2 августа 80, суббота, Москва. Умер Высоцкий. Говорят: вшит

антабус, а он выпил. Умер от сердечного приступа. «Враги» сообщили, что на похоронах было 500 тысяч человек! Слава певца. Поэт он и вправду замечательный, хотя Галич сильнее, т. е. определеннее. Актер хорош – я видела его в «Преступлении и Наказании», он вышел ко мне во дворик вместе с Любимовым в свидригайловском гриме.

Да, о Высоцком. По «Голосу» выступил его друг, художник Шемякин – он в Париже, с ним связались по телефону. Всхлипы, чуть не рыдания. Плохая предсмертная записочка в стихах – ну это пусть. Но уровень бескультурья – чудовищный. «Володька – космическое явление». Если он Володька, то он не явление, а собутыльник. Если он явление, то он Высоцкий. Омерзительный стиль «Континента» – Вадик, Галка, Володька, Вика. Никакого чувства ни собственного, ни чужого достоинства, ни достоинства русского искусства.

26 октября 80, вторник, Москва. Сегодня – сейчас – счастливое известие, которому я еще не в силах обрадоваться: вышла по-русски моя книга! Второй том Ахматовой. Мне позвонила об этом Люша из Переделкина, куда, по-видимому, ей позвонил кварт. Подробности узнаю, когда она оттуда приедет.

А обрадоваться не могу. У сердца так же нет сил на радость, как и на горе.

> Да что! Давно уж сердце вынуто.
> Так много отдано поклонов,
> Так много жадных взоров кинуто
> В пустынные глаза вагонов[490].

Столько я ждала этого известия – и вот оно, наконец, пришло – после истории с типографией, после французского издания, премии, Василия Крылова и Юрия Лермонтова – устала я от всего этого позора[491]. И вот она вышла – русская книга. Моя, Финина, Люшина. В сущности сейчас самый счастливый – и в своем роде единственный – счастливый период: когда я ее открою, наверное обнаружу какую-нибудь пакость. А пока – пока надо радоваться. Мне – нечем. Органа для радости нет. Единственное, что чувствую: некий камень спал с моих плеч.

30 ноября 80, воскресенье, Москва. Во вторник, приехав за мной в Переделкино, Фина сказала с порога: Дома вас ждет книга…

Итак, у меня в руках 2-й том. Толстый, глянцевитый,

красивый. Я его, конечно, не читаю, но куда ни ткнусь – опечаток и искажений не нахожу. Ни в стихах, ни в «За сценой», ни в тексте.

14 апреля 81, вторник, Москва. Получила огромное письмо от Ал. Ив. Вот это настоящий читатель, потому что настоящий писатель[492]. Похвал много, но и каждое замечание *точно*. И, как всегда, он удивительно правдив: не любит «Софью», не любит «Спуск», и так и пишет. Когда-то С. Я., которому я подарила свои записи разговоров с Тамарой Григорьевной, сказал: «Лида, вот это ваш настоящий жанр». Ал. Ив. пишет собственно то же: «Вы как Герцен; не “Кто виноват”, а “Былое и Думы”». Ну, насчет *не* «Кто виноват» и *не* «Сорока-Воровка», а «Былое и Думы» и статьи в «Колоколе» – это я весь свой век твержу о Герцене. У себя же сама я больше всего люблю стихи и «Спуск»… И ведь по жанру «Спуск», сделанный на основе дневников, очень близок к «Запискам об А. А».

14 апреля 81, вторник, Москва. Думаю о стихах Блока: на них сбылась молитва –

> О если б без слова
> Сказаться душой было можно[493].

Почему: «Других поэтов мы просто любим, в Блока мы были влюблены?» – сказано у К. И.[494] Не только из-за его ослепительной личности. Он, читая стихи, сказывался душою без слов, хотя и произносил слова; и когда мы сами читали «Как небо, встала надо мною…», или «Упоительно встать в ранний час…», или «О доблестях, о подвигах, о славе…» или «Приближается звук…» – мы чувствовали только душу, сказавшуюся без слов; «структурный анализ» в данном случае особенно глуп. Даже Пушкин работает словом, даже Ахматова; этот – одним движением души.

17 шюля 81, суббота, Москва. Вчера по радио: лишен гражданства Войнович. Естественно и жданно.

Интересное интервью с Ростроповичем. (Напечатано в «Русской Мысли»). Опять объясняет причины своего отъезда и пр. Но меня поразила фраза: «советская музыкальная школа – лучшая в мире». Могу ручаться, что и школа художественного перевода советская – лучшая в мире; и детская книга советская – в страшнейшие 30-ые годы – была лучшая в мире. Парадоксально, но так. Хорошо бы разобраться в причинах; Архипелаг ГУЛАГ

в действии – а балет, музыка, детская книга, переводы – лучшие в мире. И литература была сильная и не прерывалась ни на минуту, *вопреки* всему. В чем тут дело, какое тут соотношение, каков закон? Во всяком случае, честь и слава трудовой интеллигенции нашей.

У всех 3-х современных толстых эмигрантских журналов один и тот же недостаток (при разнице в пристрастиях и ненавистях): полное игнорирование Сов. Союза и России, т. е. всего здешнего, кроме верующих и диссидентов. А где же культура здешняя? Сейчас ей может быть труднее, чем даже тогда – тогда еще были дореволюционные люди – но вот беру на выбор: 2 тома Цветаевой; 2 тома «Лит. Наследства» о Блоке; «Избранное» Самойлова; Дневник и «Записные Книжки» Пантелеева; выставка Ярославского портрета; выставка книг издательства «Academia».

Надо, чтобы туда поступали обзоры – литературные и общекультурные – отсюда, чтобы они из здешних мерок узнавали who's – who[495] и что тут прорастает сквозь тлен. Они же прилагают мерки одна другой хуже (и уже: только политические или религиозные), и получается чепуха в безвоздушном пространстве.

8 сентября 81, вторник, Переделкино. Прочла 2-й том Цветаевой. Многое перечла. «Мать и музыка», «Пленный Дух» – великолепно. О Волошине – растянуто, скучно. О Бальмонте – не верю, что он великий поэт. Он плохой поэт. Впервые прочла «Поэты с историей и без истории» – там страницы о Пастернаке гениальны.

25 сентября, пятница 81, Переделкино. Читаю подряд стихи Цветаевой. Это немыслимо. Целые пуды ахинеи, чепухи. И вдруг – гениальное стихотворение. Вот эти 25 из тысяч и издать бы. Правда и лучшие – не без ахинеи внутри.

24 ноября 81, среда, Переделкино. Я подумала о Дедовой литературной судьбе – почему его никто не знает на Западе. Потому что он был настоящий русский западник в литературе. Он перевел Киплинга, Уайльда, Уитмена, Синга, Твэна. Но им это неинтересно – не переводить же своих обратно с русского? Он был великий – да, великий, уникальный – русский критик. Но они не знают тех, о ком он писал – Некрасова, Чехова, Короленко, Блока и т. д., да и шел ведь он от нашего языка, да и в переводе рыдания Некрасова не звучат… «Живой как Жизнь», «От 2 до 5» – его шедевры – непереводимы. Значит, Запад может интересоваться только его гражданскими

подвигами – но наши эмигранты о бесчисленных спасенных им людях ничего знать не хотят, у них свои игры.

19 июня 82, суббота, Москва. Да, а вчера вечером Люша дала мне прочесть кусок из Мемуаров Шварца о Маршаке, Житкове, Олейникове и др., напечатанный в «Русской Мысли» с пристойной «врезкой» перед текстом.

Меня это очень взволновало. Наверное от этого я не спала. Матвеевская, 2 – сколько я ходила туда с Ваней и без Вани – возле Бориса Степановича коньячок, возле Софьи Павловны – самовар; и Куса[496] я любила, и кота; это все из моей жизни… Очень удался ему Олейников, неплох Маршак, хороши Капица и Приваловы. Да и Борис Степанович вышел и его ссора с С. Я. Но Борис Степанович не совсем, ключа к нему Шварц не нашел – отчасти потому, что никто из нас не знал и не знает его настоящей биографии. Я знаю одно: она не та, какую он нам рассказывал. Он говорил, – и так всюду теперь изображается – что во время Октябрьской революции был в Англии: Временное Правительство, дескать, послало его туда принимать пароходные моторы. Так-то так, но Дед подарил мне открытку от Бориса Степановича *из Петрограда* в Москву от октября или ноября 17 г… Думаю, и в Одессе он скрывался не только от белых. И в Ленинград, голодный и безработный, приехал он неспроста таковым…

25 июля 82, воскресенье, Москва. Радостью был Петя Пастернак[497], пришедший говорить по телефону. Я попросила передвинуть на костровой площадке сдвинутую кем-то кошку. Я видела его грудным, потом 5-летним, потом 8-летним (очень маленького роста) и теперь 23, кажется. Глядя на него – легкий, складный, невысокий, с поразительной кожей лица, глядя на его улыбку – добрую, сияющую – я подумала, что он ведь не знает сам, какое это чудо: 23 года и сияние лица. Он только потом удивится, что он таким был. Черноволос в Алену, а лепка лица – Пастерначья, только не так сильно выдаются челюсти. Прекрасное человеческое существо.

23 октября 1982 г., суббота, Москва. Уже три дня как выпал снег и лежит, не тает. А еще в прошлое воскресенье было лето. Люша ездила в Переделкино и восхищалась теплом и кленами.

Обычно снег ложится после Дедового дня, т. е. после 28-го[498]. Значит и этот много раз растает еще. Эти дни – Дедов крестный путь. «За что мне такие мучения, я всем хотел добра». Да, он *всем* хотел добра (это один из его недостатков) и сам был

«дитя добра и света»[499]. Были ли у него недостатки? О, да. Первый его недостаток – М. Б. и послушание ей, не дававшее счастья и ей, потому что она чувствовала неполноту, неискренность. Но он позволил ей исказить свою жизнь и все наши жизни и лишить его семьи: жил он неуютно, неухоженно (при ней), неудобно, неустроенно – в смысле быта, одежды, еды, общения с людьми… Была ли я ему хорошей дочерью? Обожающей – да, хорошей – нет. Т. е. я всегда шла не той дорогой, которую он желал для меня. Он не хотел, чтоб я училась в Институте Истории Искусств – и потому, что учиться вообще надо самой (как он) и потому, что формалисты были враги его. (Но он не понимал, что я ни минуты не на их стороне, а училась там не зря: встретила Тамару Григорьевну, Шуру – определившую мою судьбу.) Затем – моя ссылка. Ну это уж была совсем не моя дорога, это его возмущало, но став на нее и поняв, что она не моя, я уж не могла вести себя иначе, чем вела… Затем моя работа у С. Я. в редакции тоже казалась ему изменнической, потому что С. Я. нередко вел себя относительно него весьма и весьма гадко. Но если бы не Маршак, я осталась бы литературной неумейкой – он продолжил то обучение литературе, которым так щедро обогатил меня в детстве сам же К. И. Их литературные вкусы во многом совпадали. Только К. И. кроме фольклора, Пушкина, Шекспира и Некрасова любил и Мандельштама, и Ахматову, а С. Я. – нет… Затем, и Пастернака.

Когда К. И. остался без М. Б. я не умела устроить ему дом… Правда, когда я пыталась, он сопротивлялся, но это и значит, что я не умела. Он очень верил в мое «дарование», но до такой степени не понимал его, что советовал мне писать стихи для детей – к чему я неспособна вполне… «Софью» не полюбил… Стихи мои – тоже. Очень высоко оценил письмо Шолохову и очень мною в это время гордился. Ценил и мои «Былое и Думы», и «Лабораторию редактора». Всегда жаждал, чтоб я печаталась. И увидев «Софью», напечатанную по-русски и, кажется, один перевод, сказал: «Увидишь, у тебя будет целая полка переводов». Ахматову мою тоже ценил.

2 ноября 82, вторник, Москва. И вдруг звонок: – Вы слышали радио? Люся просила предупредить – если услышите, не пугайтесь, всё уже хорошо… И у нее осада уже снята…». (Оказывается, она приехала во вторник – уже из Ленинграда – ее впускали в квартиру, выпускали из, но у дверей, как некогда при старушке, стояли милиционеры, и к ней никого не пускали). Ну я решила в воскресенье днем непременно съездить к ней. А насчет А. Д. сильно глушили, и я только в 1 ночи услыхала,

что его усыпили каким-то наркозом и отняли сумку, в которой он постоянно все носит с собой – 12 кг – потому что из дому гебешники все крадут.

Я совсем не могла спать.

В воскресенье почти не работала, потому что в 8 ч. давно обещала быть у Корниловых, и надо было быть. Работала часа полтора, а потом Фина привела машину, и я поехала к Люсе. Фину с собой не взяла, только сговорилась, что в 8 она снова заедет. Никакой милиции. Мне открыла Люся – провела в пустую (2-ую) комнату, а в 1-й в это время корреспонденты, и она дает интервью. Аппаратура, шнуры – одновременно все записывают на магнитофон. Я не могла снять пальто – в квартире не топят, накурено и открыта фрамуга. Зябну. Слышу как переводчик переводит Люсины слова на английский язык (там были американцы). Люся говорит отчетливо, раздельно, толково. Начала я не слышала, но тут было и о группе, и о диссидентах, и о заключенных. На вопрос о причине роспуска группы она ответила очень хорошо: «Мы самораспустились не от страха, а потому, что условия для нашей работы стали невозможны. Не надо мнимостей. Теперь все спрашивают, почему московская группа себя распустила. Нас осталось три человека; а в Мадриде 35 государств не могут защитить Хельсинский документ».

Наконец они собрали аппаратуру и ушли. Я совсем застыла. Времени осталось ½ часа – до Фины. Я расспрашивала Люсю. Она очень возбуждена, быстра, седа, голос резкий и громкий.

Что же случилось в Горьком? Она и А. Д. на своей машине поехали на вокзал покупать Люсе билет в Москву. Она вышла – он остался на сидении рядом с местом водителя, а на месте водителя стояла огромная тяжелая сумка: 900 страниц его мемуаров (!); фотоаппарат; радио; очки; документы ценные – например, письмо Короленко к его отцу (или деду?). Он все это всегда берет с собой, потому что дома все крадут или ломают – вплоть до фонарика, вплоть до очков… К машине подошел человек и что-то спросил у А. Д. Тот несколько опустил стекло, не расслышав. И дальше помнит только, как начал валиться на бок… Потерял сознание. Очнулся – сумки нету, а на руках стёкла и кровь – мерзавец не отворил дверцу, а разбил кулаком стекло.

Я расспрашивала Люсю. Она была очень возбуждена. Рассказала, что они сразу отправились в ближайшее отделение милиции (у вокзала) и заявили об ограблении. Начальник был явно смущен. Обещал распорядиться, чтобы им срочно починили стекло и дал свою машину, чтобы довезти их до дому.

Я спросила, в каком состоянии А. Д. «Андрюша ведь у меня

Ванька-Встанька. В этот вечер он не работал больше (а обыкновенно садится вторично в 9 ч.) и для успокоения смотрел телевизор. А на следующий день смотрел кино».

Меня поразило, что обморок не сказался на сердце – если только в самом деле не сказался.

Скоро пришла какая-то женщина с малоприятным лицом. А я ушла – мы условились с Финой встретиться внизу у подъезда.

Думаю, что вся гнусность относительно А. Д. – это вызов Мадридскому совещанию. Глядите, мол, как мы расправляемся со знаменитостями! Своя рука владыка! Что хотим, то и заворотим.

А т. Виталию Федорчуку[500] наверно хочется стяжать лавры Ежова и Берия. Но как он не боится их судьбы! Не примеривает ее к себе! Смельчак.

7 октября [ноября], *82, воскресенье. Москва.* Плохо сплю от стыда.

Когда вернулась я сюда из Переделкина, услышала в час ночи по «Голосу Америки», что в четверг Сахаров был вызван в прокуратуру – в Горьком – и там ему «сделано предупреждение». «Прекратите ваши публичные заявления».

Это большое несчастье. Никаких интересных заявлений он давно уже не делал. Но все-таки иногда. Два последних были: о голодовке Щаранского[501] и потом о краже его рукописей. Делались они – могли делаться – благодаря Люсиным приездам в Москву. Если он не согласится прекратить – они либо запретят Люсе ездить в Москву (что будет плохо, потому что она все-таки возит отсюда еду, академический паек, книги, сведения), либо задержат ее в Москве и перестанут пускать в Горький. Это будет убийственно.

В последнее время у меня не было позывов писать никакие письма. Диктовки не было. А теперь письмо, со всеми абзацами, пробелами и пр. так и рвется из меня – «просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь»[502].

Но я не даю им ложиться. Душу их.

Почему? Время не то. «Все тонет в фарисействе»[503].

«В 1847 г. Тарас Шевченко был за участие в… обществе приговорен к отдаче в солдаты. Когда царь Николай I увидел это решение, он приписал к резолюции: “с запрещением писать и рисовать”.

Почему именно писать и рисовать, а не плясать и петь?

Потому что он был великий поэт и замечательный художник.

Сахаров сослан в Горький, где лишен возможности продолжать научную работу и общественную деятельность.

Почему?

Потому что он великий ученый и великий общественный деятель.

Умно, нравственно – и, главное, на пользу стране и миру».

Хорошо бы… да нет, не следует.

23 декабря 1982, Переделкино, четверг. В последний приезд мой в город мне отравляла существование мысль, что я не иду к Люсе, хотя именно *в данном случае* это было необходимо, после всего пережитого ею. Очень мучилась, пока не могла ей дать знать, в чем дело. Потом удалось написать и объяснить, потом от нее пришла приехавшая ей в помощь Н. В. [Гессе], и все о ней рассказала. (Я слышала клочки по радио: что ее обыскали в поезде и отняли воззвание А. Д. к 60-летию со дня основания СССР – освободить политзаключенных), но я сразу поняла, что тут дело пострашнее. Да, страшно. Когда поезд остановился в Москве, в ее купе вошли мужчина и женщина; предъявили документы; спутниц сделали понятыми. Люся сразу отдала сумку, думая, что отделается этим. Там, в сумке, *восстановленные воспоминания* и всякие документы; а кассеты с наговоренными воспоминаниями она везла где-то отдельно. Но отняли всё… Господи! Отняли у него и у нас его великую жизнь… Ухнула она в эту ненасытную прорву: как роман Гроссмана, как Митина диссертация, как… многое, многое. Я видела протокол. Очень аккуратно перечислены адреса и имена «понятых» (случайные ли они? Одна как-то из соседнего с А. Д. дома), и каждый лист описан: первая фраза и последняя. Да, это вам не 37 год, все в аккурате, всё «по закону». Обыск длился 3 часа 20 минут. Он кончился, все ушли, а поезд оказался где-то далеко, на подъездных путях. Пути и воздушные мосты. И никого. Люся с тяжестями в руках там блуждала. 3 дня назад был у нее сердечный приступ и тут начался снова. Если бы встретился хоть один человек, она попросила бы вызвать скорую. Но людей не было, а был нитроглицерин, и она кое-как доволоклась до Москвы.

Дома у ее дверей стояли мильтоны двое или трое суток.

Но кардиограмма «удовлетворительная». Т. е. нет инфаркта, не более того.

Да, Люся послала телеграмму о случившемся А. Д. Он прислал ответ: «Удар сокрушительный. Стараюсь быть спокойным»…

21 мая 83, суббота, Москва. С жадностью перечла Ходасевича, кое-что перечла, кое-что впервые. Некоторые статьи слабоваты – о Чехове, о Тютчеве. Но о Доме Искусств – прекрасно,

и вспомнилось мне столь многое, детское. Как мы с Колей там жили в Библиотеке Елисеевых. На потолке лилии. Книги по алфавиту, так что Тургенев рядом с «Тайнами женской уборной». Вспомнила я Волынского (неприятного) у керосинки на кухне, противного рыжего Чудовского, Султанову-Леткову и ее толстого сына Юрия, вспомнила комнату Серапионов, Леву Лунца, Ник. Никитина, который меня сконфузил, сказав, что у меня голос великой трагической актрисы. (Мне 13). Колина скарлатина. Рассказы о пружинках. Стужа – на улице и в комнате. Голод. М. Б. выхаживала дома Бобу, а к нам изредка заезжал К. И. Выхаживала Колю – я. У него до 40° бывало.

(В это время ночная наша поездка с К. И. в крематорий.)

И Порхов, который описывает Ходасевич, это тоже ведь – мое детство, или, точнее, отрочество.

Мы тоже ехали туда с КИ на Беде[504], и с нами тоже были беды.

В чем прелесть прозы Ходасевича? В том, что она написана еще на подлинном, не колеблющемся, не зыбком, а устойчивом русском языке. Без «вроде бы», «поменять» и пр.

23 мая, понедельник, Москва, 83. Вчера Люша читала мне отрывки из книги Чапского[505] – перевод с французского на русский, при этом французский перевод неизвестно с чего: с рукописи? с книги ли? во всяком случае, с польского. Переводчица (на русский) неопытная – не знаю, насколько точно. Там есть об АА, обо мне, об Ал. Толстом. В общем, много верного, но встречаются и неточности. Некоторые объяснимы датой написания: 1947, сразу после 1946, он за нас боялся. Некоторые – непонятны. Например, я, будто бы, прихожу к нему в гостиницу, незнакомая, назвав себя так: «я – друг Алексея Толстого»… Между тем, я пришла потому, что накануне – за несколько дней – он был у АА; она лежала; мы (не помню кто) сидели кругом; пришел Чапский и пригласил всех к себе – ну, скажем, на вторник.

АА наклонила голову; все поблагодарили. Я несколько дней (дня 2) не была у АА. Но в назначенный вечер явилась к Чапскому. Опоздала минут на 30, потому что весь день пробыла в Старом городе. Вошла – ахнула: стол накрыт, хозяин ждет – и – и – никого… Но он сразу снял мою неловкость. Мы сидели на балконе, и он читал дивные польские стихи.

Сейчас ему 87 лет…

12 июня, пятница, Москва. Приехав в город я взяла в руки «Мастерство Некрасова», 1953 года, вспомнила все его муки над этой книгой – а вот на книге этой замечательная Дедова

надпись:

Великое святое слово *Дочь*[506].

Раздумалась я, была ли ему хорошей дочерью.

Нет. Любила его с самого раннего детства более всех людей на свете, но дочерью была плохой. (Хозяйственная, бытовая неумелость; болезни; поглощенность литературным трудом – всё это нас разъединяло.) Был ли он хороший отец – мне?

В детстве – да. Оттого я так и любила его. В Куоккале он любил меня больше, чем мальчиков. Потом он чувствовал мою литературную призванность, но решительно не понимал, в чем она. Учил переводить (ненавижу!), советовал писать стихи для детей, к чему я совершенно неспособна. Догадывался, что я хочу писать нечто «свое», но это «свое» – стихи, «Софья», «Спуск», было мрачным и кроме того – непечатаемым, а он осуществление видел в печатании. «Шолохову» и «Не казнь, но мысль» очень радовался, потому что гремело… Заботиться обо мне не умел решительно, потому что не понимал, что я всю жизнь больна – tbc, базедова, сердце. Иногда помогал деньгами. (В 37–38 – регулярно). Разделяло нас совершенно разное отношение к людям – он любил общаться – для отдыха и развлечения – с людьми талантливо-легкими: Паперный, Наташа Ильина. Дружб не понимал и не знал, а я вся была в дружбах. Дорогой *Пип*. Я тебя люблю.

31 августа, среда, понедельник. Деду, столь отъявленному Западнику, на Западе не повезло. Профессорье – вроде Г. П. Струве – ненавидят его за художественность, за талантливость и за то, что он «работал с большевиками». Вторая – послевоенная – знает уже только детские книги. Третья же не знает ровно ничего (хотя он для них писал последние годы, хотя многих выручал деньгами и кровом, хотя, скажем, во время преследований Инициативной группы держал «Хронику текущих событий» у себя в кабинете – Господи! да что говорить); знает как Максимов[507]: «Чуковский был лауреат ленинской премии». Поэтому Пастернакам в смысле защиты со стороны Запада будет гораздо легче. Они, конечно, и Пастернака не знают (иностранцы), но хоть слышали имя, хоть видели фильм «Доктор Живаго». А о Чуковском – ноль. В истории литературы царят «структуралисты» – эти тоже не благоволят к К. И., не соображая, что если кто и разбирался в материи стиха и прозы, в поэтическом языке, то именно он – он, проникавший в творящую душу художника *через изучение* его языка, он,

боготворивший *язык* (а для них язык художника это нечто мертвое, пустое, подлежащее щелканью на счетах).

Но зато – здесь. Какие удивительные запасы и проявления любви! Вчера, например, при мне позвонили Люшеньке четверо незнакомых студентов («с вами говорит незнакомый студент»), которые просятся в воскресенье ремонтировать дом.

Переделкино, 13 сентября 83 г. Люша переделала массу хозяйственных дел, выправила дела с трубами и котлами, вычистила кастрюли, сварила мне всю еду на два дня. В четверг приедет.

Сегодня мы с нею – это уже второй раз, и по ее инициативе – занялись магнитофоном. В прошлый раз я надиктовала ей мой выправленный рассказ о поездке с Дедом в Петербург, в Пале Рояль и Тенишевский зал[508]. Сегодня она попросила меня начитать мои стихи. Старые, из книжки, я читала по ее выбору, новые – по моему. Не кончили ни то, ни другое. Это нежданный подарок мне – то, что Люше понравились некоторые мои стихи. В детстве и юности, да и позже, она их от себя отталкивала. (Как, впрочем, почти все люди). Из новых ей не понравились: Марии Сергеевне Петровых («стилизация»), а «придет по снегу человек»[509] – она заподозрила, что это А. И. Между тем, это не А. И., а Икс, неизвестно кто, кто должен явиться. Но все регалии – дом, валенки, верность – конечно, подсказывают читателю А. И.

10 ноября 83, четверг, Переделкино. Я схватилась за письмо Ефима Григорьевича. Нет, сначала за свою книжку[510]. Маленькая, портативная, она удобна будет для перевозки. Я изучила ее. Боже мой, как же я, проклятая, за эти 14 лет забыла Деда. Как хорошо, что у меня хватило ума написать ее в 71 году – теперь, в 83-м, это было бы поздно. «Одна нога здесь – другая там!», «Пополам перепиливание» – это всё я забыла! Прочла с интересом, с болью за свою теперешнее беспамятство и с некоторым удовольствием: написано не худо, гораздо живее и стройнее, чем запоздалая книга о Мите. Но конечно, если бы я писала о Деде не для Детгиза, а для Чалидзе[511], я могла бы написать и о людях, которых он спасал – и спас, и о тех, которых он спасал – и не спас. Я составила бы, наконец, их список. А тут я изображаю хлопоты его о больных, о нарочно проваленных на экзаменах – всего лишь. Если бы я писала для *там*, я написала бы, как иду к Горькому на Кронверкский в 19 году с письмом от К. И. в защиту арестованного учителя – и учитель спасен, он на свободе; как он хлопотал о возвращении из ссылки

брата В. Б. Шкловского; как он в 26–27 г. спас из ссылки меня, и чуть позднее – Катю Боронину; как он хлопотал за Гуревича, зама Орджоникидзе, а потом за семью его; как хлопотал за Митю; как спас (вместе с С. Я.) А. И. Любарскую; как после XX съезда уторапливал реабилитации людей, которые были выпущены, но не реабилитированы, а потому без работы и без крова: ускорил реабилитацию Кати Борониной, Сутугиной, Ел. Мих. Тагер и мн. мн. др. Но нет этого в моей книжке, она писалась для *здесь*. Зато там помещен очерк Е. Г. Эткинда «Отец и дочь». Зачем? Там ровно ничего не надо – разве что рассказать историю этой книги – как выкинули мои воспоминания, после огромных похвал, из сборника Детгиза, потом оборвали на полуслове печатанье в журнале; сняли цензора; объявили выговор редактору. Нет, об этом ни звука; зато Е. Г. усердно причесывает К. И. под вкусы современной эмиграции (как бы оправдывая его – он де Горького проник и пр.); перетолковывает – с большой опасностью для нас – Дедовы сказки. О деле Бродского и К. И. сказано как-то двусмысленно. Обо мне рекламно, т. е. для меня ненавистно: «королевская осанка» и «героиня». Все неуместно, все некстати.

Мои книги? В общественном мнении, я, как литератор, ничто. Наверное так оно и есть. «Софья» не понята – ее принимают за положительную героиню. «Спуск» не нравится людям хорошего вкуса: «слишком много природы и сантиментально». «Записки» нравятся, но не как проза, а как «ценное свидетельство об АА» (что ж, оно, наверное, так и есть). Стихи не нравятся никому. «Процесс исключения» только для «демократов», да и то нет, потому что, даже *ценя* мой путь (не позволяю умалчивать о погибших) – они на этот путь (гибельный для них и для их работы) становиться не желают. «Прочерк» – неудача во всех отношениях. «Открытое слово» – уже забыто.

Не напрасно ли прожито
Столько лет в этой местности?
Кто же все таки, кто же ты,
Отзовись из безвестности[512].

Я – литератор, и этого с меня довольно. Мое прославленное мужество не существует.

1 февраля 84, среда Переделкино. Была я у Ан. Ив. Цветаевой. За мной заехал Эттингер[513], почему-то вместе с женой, и мы поехали. Маленькая старушка, шустрая; в комнате некоторый хаос, осыпающаяся елка. Анастасия Ивановна убегает на кухню,

приносит то чай, то варенье. Склероз чуется не в том, что она говорит, а в непрерывности говорения. Монолог. Зачем она меня позвала, зачем хотела, чтобы присутствовал Эттингер; осталось непонятным. Я ей преподнесла «Предсмертие» и фотокопию прошения Марины Ивановны в Литфонд. Она мне – свои «Воспоминания», толщенные, тираж 200 000, 3-ье издание, редакторша Маэль Фейнберг. Сделала вид – или в самом деле забыла? – что мое «Предсмертье» ей не известно: ей читал покойный Тагер[514] и уже тогда ей оно не понравилось. Сильно ругала Вику Швейцер[515], которая весьма грубо обругала заграницей ее книгу – за сервилизм и пр. Мельком неодобрительно об Але и Муре. Монологи бесперерывные, из нас никто не сказал ни слова – будто мы приехали, чтоб выпить чаю с вареньем. По телефону советы друзьям, болеющим гриппом: она верит только в гомеопатию. Она вегетарианка. Она усиленно-православная. Сходства с Мариной Ивановной – никакого, ни в чем, разве что в настойчивости – но не бурной, а тихой. В монологах цитаты на иностранных языках. И еще: «Горький негодяй, я его терпеть не могу, а в свою книгу вставила лестную главу о нем, потому что он спас одного моего друга».

Эттингеры поймали такси и отвезли меня домой.

Дома, сквозь работу – прочла я главу ее «Воспоминаний» о Горьком и о Елабуге – Чистополе. Пишет она литературно, иногда даже хорошо – но растянуто, болтливо и *не* правдиво. (Потому и 3 издания). Все углы сглажены. О своей 15-летней ссылке – ни слова. О том, куда делись в 39 году Эфрон и Аля – ни звука. В смерти Марины Ивановны виноваты не бедность, не безработица, не гонимость, – вообще не власть – а только Мур, сказавший ей «Кого-нибудь из нас двоих вынесут отсюда ногами вперед». Она ушла в смерть, чтобы заслонить дорогу в смерть ему. (Как будто он *в самом деле* хотел самоубиться). Это был ее материнский подвиг. В ней была огромная жизненная сила, «Цветаевы от бедности не умирают». Это только людям, привыкшим к комфорту подмосковных дач, Чистополь был страшен, а Марине Ивановне нет «она привыкла ютиться в предместьях Праги и Парижа».

Так что ей мои воспоминания – поперек горла. Потому наверное она не звонит мне (слава Богу).

В предместьях Праги и Парижа наверное есть водопровод и электричество. Есть на чем варить еду. Есть чем зарабатывать деньги. Есть где печататься – хоть изредка.

В Москве и *под* Москвой (Голицыно, Болшево) Цветаева жила в нужде, в тесноте – но Дом Творчества! Обеды из Дома Творчества! Переводы! А в Чистополе: «Какая ужасная улица!»

«Я не могу тут жить!»

Конечно, роль Мура в ее самоубийстве велика. Грубость, холод, непонимание в ответ на любовь. Но не из-за его дурацких слов это случилось. В эвакуацию она приехала уже полумертвая (отчасти из-за того же Мура, который всегда терзал ее). Ее – см. Блока – «слопала матушка *Россия*, как чушка своего поросенка»[516]. КГБ. *Война*. Нищета.

Кроме того, первоисточник весьма ненадежен. Оказывается, слова Мура известны Анастасии Ивановне со слов Саши Соколовского[517] – а тот ведь патологический лгун. Он мог и придумать. Раз. Во вторых – если Мур произнес эти слова, то ведь их никто не слышал (по-французски) – зачем он пойдет к Саше, которому 13 лет[518], их *рассказывать*? Самому на себя доносить? А Саше 13 лет, и знакомы они 10 дней. Такое можно о себе открыть разве что на исповеди или, рыдая, на плече у сестры.

Затем в книге – большой поклеп на Конст. Георг. Паустовского и на Эренбурга. Помню, как Паустовский мне и К. И. рассказывал с возмущением о сброшенном в Тарусе камне и о том, что он его попробует достать и поставить (у К. И. в Дневнике – запись[519]). Вообще Константин Георгиевич был горячий поклонник Цветаевой, как и Татьяна Алексеевна. Эренбург тоже – худо ли, хорошо ли, но он первый стал здесь «пробивать» Цветаеву. И вот теперь в книге Анастасии Ивановны написано, что отдали распоряжение сбросить камень – по просьбе Али (?) – члены Цветаевской Комиссии по наследству – Эренбург и Паустовский. А сделали это в действительности местные власти; если же Союз Писателей – то только какой-нибудь президиум, но никак не Эренбург и Паустовский.

14 ноября [декабря] *84, пятница, Переделкино*. Читая Слонима о Цветаевой, я, конечно, поглядела немного и ее стихи. Крик ненависти; крик любви. Никаких полутонов и никакой *тайны*. Одна *пронзительность*. При этом мощная, но не от силы, а от истерии. Ведь истерики необычайно *сильны*, но это не сила твердости и покоя – как у А. А. – а сила истерического толчка. И потом – *центр где*? Нравственный центр? О чем она так исступленно кричит? «Судорог и перебоев / Хватит?»[520] Да, хватит.

Я читала когда-то Тамаре Григорьевне «Попытку ревности». Мне нравилось, ей нет. Я спросила: «Синтаксис не нравится». – «Синтаксис, но не стиха, а души».

25 апреля 85, четверг, Переделкино. По радио – рассказы

Шаламова. Я их не слушаю, выключаю, и не могу отдать себе отчета в том, почему не люблю их. Когда-то Фридочка подарила мне их в машинописи – целую книгу. Я прочла рассказов 5 – и бросила, и кому-то отдала. А ведь все, что он пишет, *правда*. И художнического умения не лишен. А – чего-то нет. Чего? Чувства меры? Способности обращать ужас и хаос в *гармонию*?

5 июля 85, среда, Москва. Пока я лежала без всякого дела и почти без зрения, я попросила Люшу прокрутить мне магнитофонную запись вечера в Некрасовской Библиотеке, где месяцы назад – кажется в феврале или марте – Леонович[521] читал стихи. При встречах он молчалив, сдержан (во всяком случае, с нами), а на трибуне смел и очень громко. Читает драматически. Ведет себя вызывающе. Вступление: «Пользуясь свободой устной речи, прочту те мои стихи, которые *вырубили* из моей книги».

Сначала грузинские переводы. Виртуозно и задушевно. Потом, наконец, свои (Грузины обязательны, потому что книга выходит в Тбилиси). Душевно, сильно, очень драматично. И очень противоречит цензуре, очень. Тут и Шаламов, и Ольга Степановна, умершая в тундре[522], и «Гвоздями в меня вколачивали страх»[523] (и как били Шаламова!), и сходка мертвых поэтов под Новый Год, а потом поэма о Твардовском. Ну конечно Александр Трифонович тут не подлинный, а *легендарный* (Твардовская легенда все растет), но взят он очень смело: т. е. рядом с доблестью показана и его верноподданность. Цитируется

> Мне правда партии велела…[524]

партии, которая вовсе не та, в какую А. Т. вступал. (Та, та, у этой партии никогда не было правды.) Вот, великая страна родит обильно. Откуда он? Живой, талантливый, смелый? И как сделать так, чтоб он не сломал себе шею?

> Духовенство России
> Исторически чисто[525].

* * *

Думаю я о религии.
Легенда о Христе – великая легенда. Рождена она

невозможностью для человека понять и принять мысль о смертности всего живого. Нужен образ воскресшего. Он воскрес – и ты надейся на свое и общее воскресение. Эта надежда украшает и осмысляет жизнь, и утешает людей уже 2000 лет. Но нравственности из нее не выведешь никак. Все евангелисты, апостолы и пророки и сам Христос изрекают нечто совершенно противоречивое. То ли «не мир, но меч», то ли «ударили по одной щеке – подставь другую»; то ли выгнал из храма фарисеев и книжников и ни с того ни с сего осудил смоковницу, то ли простил разбойника и непотребную девку и возлюби ближнего, как самого себя. «Возлюби!» Любовь – чудо, подарок, по команде не любят. Человечество 2000 лет исповедует Христа, а кровь с каждым годом льется не ручьями, не реками, а уже морями и океанами, хлещет, люди дошли до Хиросимы, до Сталина, Берии, Ежова, Молотова, Гитлера, Эйхмана, Геббельса. Вообще

> От чего тебя упас
> Золотой иконостас?[526]

Никого ни от чего.

Нравственность. Из чего она растет? А. И. объяснял мне, что без религии нравственность построить нельзя. Нет, из религии она не выводима, не построяема.

Искусство? Искусство также не учит нравственности, как и религия. *Талант* и *гений* соединимы с любым злобным действием, бесчестным поступком, бесчеловечьем. Шостакович гений плюс *что угодно*: плюс трусость, например. Достоевский гений + человеконенавистничество, антисемитство, позор рулетки. Твардовский? Вместе с большим талантом – мелкая мстительность, злобность, презрение к людям; женоненавистник и бабник в одном лице; невоспитанность, грубость, партийная цекистская спесь.

А какими нравственно доблестными бывают люди!

«Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила», – сказал Пастернак – не указав увы! какая сила, и откуда она берется. Но он попадает где-то возле.

Вкус это где-то возле чести.

Нравственность, рожденная честью, *красива*. Бесчестный поступок уродлив.

Поступая против чести человек тем самым поступает против совести.

Где честь и совесть, там и *слово* (Нравственность человека в большой степени определяется его отношением к слову.

Толстой). Нравственный человек не станет жить по поговорке:

«Брань на вороту не виснет».

А откуда она все-таки берется – нравственность?

17 марта 86, понедельник, Москва. В пятницу вечером, перед моим отъездом, в 7 ч. – звонок. (Это на даче). Женщина. «Я к Вам от Евг. Ал. Евтушенко». Передает несвязный рассыпающийся мятый бумажный пакет. Оказывается, Солсбери[527] прислал с Евтушенкой для меня глазные капли. Спасибо! Евтушенко трогателен, ибо прилетел в пятницу утром, звонил Люше и пр. – и вот доставил в тот же день. Но увы! Капли дополнены подарком: т. е. книгой стихов Евтушенко! Надпись сбивчивая, спьяну или после бессонной ночи. Стихи – я прочла одно – очень плохие.

Однако я сочла нужным благодарить за заботу. Вчера дозвонилась.

Диалог интересный. Я благодарила. Он – мне:

– Я прочел об АА ваши книги. Это прекрасно и т. д. Веришь каждому слову.

В ответ на похвалы я все-таки сообщила ему, что АА не любила эстрадных выступлений. Процитировала рампу, lime light, позорное пламя и пр.[528]

Он возразил – АА не права, для некоторых стихов эстрада необходима. Маяковский, Пастернак и пр.

Спорить я не стала.

На этом бы и кончить – ан нет. Дальше – удивительное.

Он: – Знаете, кто написал лучшие стихи на смерть АА? Те двое, которые никогда не видели ее живою. Смеляков и я. Лучше всех – я! Увидел ее в гробу, в морге, и написал. Вы читали?

– Нет, к сожалению, глаза, слепота и пр.

Он: – Они всюду есть, и в моем трехтомнике тоже. Пусть вам найдут[529].

– Хорошо.

– Сейчас я расскажу вам, как я разговаривал с нею по телефону. Я впервые прочитал ее стихи в конце 50-х, в «Лит. Газете». Я пришел в восторг и позвонил ей. Вот что она сказала мне: «Евгений Александрович, я бесконечно тронута, что вы, вы, о ком скучают сейчас все красивейшие девушки Москвы, а может быть и мира; что вы, потрясающий своей поэзией стадионы – нашли минуту оторваться от творчества, чтобы позвонить мне, всеми забытой старухе».

Я не сомневаюсь в точности этого рассказа. Но кто же он? Я думала, он по крайней мере *умен*, а он, оказывается, не понял, что получил по морде, он думает – она всерьез.

3 июня 86. Чернобыль. Слухи: все московские больницы переполнены больными *оттуда*. *Здешних* больных некому лечить и оперировать. Считается, что жизнь сокращена более чем ста тысячам человек. Говорят, тамошние сторожа и пожарные когда-то получили необходимые скафандры и пр., но распродали их местным рыбакам. К аварии подготовлен не был никто. Несчастных гасителей на полдороге с места пожара выносили на руках мертвыми или полумертвыми. В Киеве всем беременным женщинам предписано делать аборты – чуть ли и на восьмом месяце.

Иностранцы не имеют более права привозить с собою счетчики Гейгера.

Слухи о том, какие фрукты и овощи на здешнем рынке облучены, а какие – нет; безопасно ли здешнее молоко – никто не знает.

В наших газетах появляются статьи о катастрофе. (Замолчать ее не удалось). В стиле Алексина[530] изображается, как *прежде всех* кинулись спасать станцию и людей – коммунисты. Патока, ложь, привычное слащавое искажение истины.

Многие поняли: и войны-то теперь не требуется, чтобы уничтожить – убить отравой – любой народ или всё человечество. Местные (или чужеземные) террористы взрывают 2–3 электростанции и – конец.

Ответ на статью Карякина – «Не опоздать!»[531] Опоздали.

10 июня 86, Москва, вторник. Прочла статью Тамары Шилейко о Вл. Шилейко[532]. Существенно; бездарно; материала груда; не без подлости. (Относительно меня: украдены 2 цитаты из моего I тома, процитированные Жирмунским. Соединены. Характеризует она их так: «Сведения из третьих рук». Почему – не из уст АА?). Во всяком случае статья очень содержательная, как свалка материала, которым воспользуется будущий биограф или творец. Два человека – Шилейко, погруженный в клинопись и АА – в свои стихи, оба туберкулезные, поженились. Годы 1918–21; есть вообще нечего; а тут еще ни он, ни она *не желают* заниматься *бытом*. АА только что из дома Гумилевых, где всё делала за нее свекровь (не говоря уж о камеристке, няньке, горничной). Ну вот их брак *уже по одной этой* причине оказался немыслим.

Она написала «Черный сон». «Стала жесткой и припадочной». Еще бы! А он просто умер от tbc в 30-м году. Вторая жена, вероятно, не писала стихов, но выходить его было уже поздно[533].

8 июля 86, вторник. Еще Москва, день. Слухи о Чернобыле:

С уезжающих из Киева берут подписку в том, что они ничего никому не расскажут.

Сначала – и то, дней через 5–7 – вывезли школьников, и только потом – детские сады. Затем вернули старших школьников: нужны рабочие руки. Облученные подростки называют себя «смертниками» и потому – раз мы всё равно умрем! – безобразничают.

После катастрофы – в Киев стали подавать лишние 42 поезда в сутки. Беженцам все равно не хватало мест. Старики и взрослые молили уезжающих взять с собою детей и подавали их в окна вагонов.

Затронуты сильным облучением: Киев, Гомель, Припять и мн. др. Все скрывается. Населению стали указывать, как себя вести – слишком поздно. Разнобой. То вода безопасна, то опасна. Не ешьте этого – нет, того. Не пускайте детей на улицы. Люди сидят в квартирах с заклеенными окнами. Жара. Всюду нужны рабочие руки, а потому отпуска отменены. Слух: в течении пяти лет весь Киев вымрет.

Когда начался пожар – охрана оказалась совершенно необученной. Вызвали пожарных, обыкновенную пожарную часть, в обыкновенной одежде. *Все* погибли. (У нас пишут *двое.)* Вызвали военную часть, тоже не объяснив. Опять – гибель.

До сих пор не умеют погасить пожар. Два реактора погибли, третий тлеет. Если взорвется четвертый – это будет взрыв атомной бомбы. Тем не менее, население не эвакуируется.

Судя по западным передачам – они ровно ничего не знают толком. «Катастрофа в Чернобыле». И только. А это не в Чернобыле, это две республики и несколько поколений.

Говорят, когда начался пожар, киевские власти просили Москву разрешения отменить велогонки. Нет! А сейчас в Москве проводится нечто вроде олимпиады: «Игры доброй воли». Да уж, сейчас как раз самое время играть. Медали! Злодейская воля в действии.

15 июля вторник Москва. А я сейчас читаю «Сталинград Василия Гроссмана»[534]. Очень *важная* книга. Видно время; виден Семен Израилевич; главный герой – не очень, но письма замечательны.

1 августа 1986, Переделкино, пятница. По радио – пересказ какой-то американской книги (Стоун?) «Мы погибаем от развлечений». Книга умная. Хотелось бы прочесть. Автор пишет, что в результате изобилия информации, американцы

дезинформированы, потому что телевизор *показывает* им *всё*, они теряют масштабы, они все знают *поверхностно* (он прав: см. «шоу» об Ахматовой, Цветаевой и пр.), т. е. ни о чем ничего.

Им нужно учиться *читать*.

17 февраля 87, вторник, Москва. Дома! Люше звонил Игорь Иванович Виноградов, она с ним встретилась по его просьбе. Он теперь заведует прозой при Залыгине в «Новом Мире». Он попросил отрывки из «Записок об АА», чтоб попробовать напечатать в журнале. Я отказалась… Эта книга при сокращении, при отборе, при отрывках – теряет *всё*. Тут нужна календарная монотонность, кажущаяся непосредственность, кажущаяся наспех, случайность, «что попало». «Записки» дам (кому?) *только* целиком…

29 августа 88, Москва, понедельник. Звонил из Ленинграда Лурье. «Просто так». Приятные новости: он нашел и воспоминания о Горьком, и заплаты к «Полуоткрытой двери» (т. е. места, восстановленные Алексеем Ивановичем после цензуры)[535], и мн. др. интереснейшее. Собирается публиковать в № 12 «Невы» какие-то записи (?) Алексея Ивановича о Солженицыне и отрывок из какого-то моего письма к Алексею Ивановичу по поводу А. И.[536] Сказал, что моих писем к Алексею Ивановичу – сотни![537]

21 сентября Москва 88. Прочла в «Новом Мире» Чудакову «Без гнева и пристрастия»[538] – статью, насквозь пропахшую ОПОЯЗом – так, идет сейчас битва за напечатание «Вавича», а она – людям, которые не имели возможности его прочитать – заранее говорит: «Неудача романа Бориса Житкова “Виктор Вавич” объясняется так-то…» и дальше не помню что – кажется распад формы романа и т. д.

Вообще я поняла, что никакой «литературный процесс» меня не интересует и никогда не интересовал. Меня интересует художник, как мастер и человек. Ну, я дочь своего отца. Меня интересует Пастернак, а не «Центрифуга», Маяковский, а не футуристы, Пушкин, а не «Арзамас», Ахматова, а не акмеизм, Блок, а не символизм.

4 октября [ноября] *88, пятница, Переделкино*. Слышала по радио, как Андрей Дмитриевич во весь голос осудил Горбачева за соединение обоих мест: главы партии и главы государства… А все мои мечты о санатории в Америке лопнули: он летит всего на 5 дней! (Я позвонила, подошла Люся. – Да почему же так

ненадолго? В Америку! «Он хочет вернуться через 5 дней потому, что теперь он Член Президиума АН, а там будут обсуждать очень важный водный проект – Андрейка хочет протестовать. Выбирая его, они думали, что он будет только красоваться почетно, а он собирается работать».)

Бедный, дорогой, *великий* Сахаров.

16 ноября 88, среда, Переделкино. С большой радостью слушаю по радио Америки отчет о триумфальной поездке и выступлениях Андрея Дмитриевича. Слушаю не только отчеты, а *его* голос. Говорит с запинкой, но очень логично и *просто*, без газетных штампов. Когда слышу, хочется слышать еще и еще – этот голос, эту картавость, эти мысли с запинкой… А мысли таковы: Запад должен поддержать перестройку, потому что гибель перестройки – это гибель всего, но надо любить ее не слепо, а трезво. И дальше идет серьезнейшая критика: слияние власти Советской и Партийной ведет к диктатуре; хозрасчет без права свободной конкуренции приведет к новому вмешательству государства в экономику; Горбачев пытается ввести демократию не демократическими методами… Говорил конечно и о наших политзаключенных, которые сидят по тюрьмам, и о вреде новых указов: запрете демонстраций, законе о печати и пр., что скоро рухнет нам на головы…

7 января 89 г. Суббота, Москва. Читала и другую Лидию: Гинзбург. В «Неве». Записная книжка. Многое умно и метко, кое-что замечательно. Портит же для меня эти записи приверженность автора к Вите, Грише, Осе[539] и прямо-таки бесит симпатия к Л. Ю. Брик. Сидит вокруг нее мужской гарем, ей скучно, и они готовы, чтобы красотка, упаси Бог, не скучала, создать ЛЕФ… Гадко, мелко.

О К. И. сквозь зубы. Он дескать сам лучше своих писаний. «Он чрезвычайно умен, хитер и обаятелен»… Он потому и был обаятелен, что был талантливый писатель; а они его не терпели именно за талант. В статьях Ося и Гриша были бездарны, как пни. Что касается хитрости… то нет, Дед был простодушен. У него были пороки худшие, чем хитрость (он был *слабый* человек), но хитрости как раз и не было. Он был органически демократичен, органически добр и мощно талантлив. Его пороки? Легкомыслие; отстранение от себя всего, что мешало литературе (порок ли это, впрочем), легковерие.

Лидия Яковлевна чудесно передает слова Ахматовой, жаль, что мало.

В «Лит. Газете» целая полоса записей Миши Ардова. Точные.

Хорошие. Видна она, и виден он: он интересуется не поэзией и не литературой, а остротами и религией.

14 января [февраля] *89, понедельник, Москва.* А самое главное – когда я вернулась с дачи – на диктофоне (туда складывают Фина и Люша письма ко мне) лежало письмо – от – Чапского… Я не поверила своим глазам – буквально. Я этого человека видела дважды: один раз у АА и один раз когда он пригласил семерых гостей к себе в гостиницу – все (в том числе и АА) обещали, но не пришли, а я одна пришла[540]. АА потом меня за волосья оттаскала, объясняя, как это опрометчиво. «*Поляк*… был у нас в лагере… теперь в армии Андерса, а дальше невесть кто…»

Мы провели вечер двое, сначала сидя за столом накрытым на 8 приборов (очень скромно, никакого вина, – бутерброды, чай), потом перешли на балкон – теплая, благоуханная ночь – он читал мне стихи по-польски – трагические – о Варшаве. Он был очаровательно умен, тонок, всепонимающ. Никаких *значительных* слов он мне не говорил, даже провожать не пошел – я ушла рано, в 10.30 – в полную тьму, и он не вышел со мною (Теперь думаю: из-за шпиков?).

Потом его брошка, присланная с Паустовским. Я была уверена – для Ахматовой.

Потом я прочла в книге «Земля бесчеловечья» его слова о нашей встрече, о моей *одухотворенности*[541]. Кое-что фактическое переврано – то ли запамятовал, то ли боялся чего-то за меня, АА и записал неточно.

И вот теперь – письмо. О том вечере. Не по почте. Написано чернилами, но не его рукой, очень аккуратно и не совсем по-русски. Продиктовал. (Ему около 90). Подпись его – больная, нескладная. Хочу послать ему свои книги (Он пишет горячо, что никогда не расстается с «Опустелым домом»). Письмо потрясающее. Не без ошибок: он помнит, как я ему рассказала о своих друзьях, погибших в финскую войну. В финскую войну у *меня* никто не погиб… Может быть, он имеет в виду 37-й?

Вообще все это волшебно и странно. Думаю он запомнил *меня*, потому что сам *читал мне* стихи, которые некому тогда было читать.

23 января [февраля]*, среда, Переделкино 89.* Сильных городских впечатления два: письмо от Надеждиной (это после моего-то!) и с приложением рукописи! Первое. Второе: многие уже получили февральский № «Нового Мира» с моими стихами[542], а я еще нет. Позвонил Павлик Катаев: «Прочел ваши

стихи. Это истинная поэзия». Конечно, вкусу Павлика я не имею основания верить, но ведь вот это стихотворение нравилось и не признающим моих стихов – Володе Корнилову, Липкину… Затем, уже накануне моего отъезда сюда – т. е. вчера, под вечер – слабый голос из какого-то давнего далека: Макашин[543]. Вот это и было для меня, (как всё давнее!) событием. Никогда я с ним дружна не была, виделась только в «Лит. Наследстве», он променял меня на тупицу Ланского, он ученый – страсть! подвижник! – но не *литератор*, а вот поди ж ты, как дрогнуло сердце! Наверное потому, что тогда я уже была тяжело раненая, но *живая*, и еще потому, может быть, что тогда подружилась с Я. З. Черняком (который умер за полшага до правды)… Почему бы ни было, но дрогнуло сердце.

Он: – Я прочел ваши стихи. Вам удалось в краткой форме (!) представить всю эпоху. И я так вспомнил вас и нашу работу…

Я поблагодарила, и он стал рассказывать о себе. «Сдал на днях последний Герценовский том. Знаете, там удивительная находка: письма отца к разным лицам о Шушке. Непонятно, почему Александр Иванович написал об отце так сухо, а тот души в нем не чаял, письма нежнейшие, он им, его судьбою, дышал».

Итак, Сергей Александрович один долг своей жизни выполнил. Сказал и о Щедрине – тоже кончил. Сказал: «Вы его кажется не очень любите, он действительно труден, это русский Эзоп». – Я не не люблю, я плохо знаю. «Я вам пришлю свою книгу». – «А хотите, Сергей Александрович, я вам пришлю свои повести, они только что вышли?» – «Конечно, я буду рад вашему автографу» – «Сергей Александрович, у вас моих автографов груды!» – не удержалась я от попрека, но в шутку, и он это понял. Опять о Герцене «Я хотел бы написать биографию Герцена на основе новонайденных материалов, но я ведь не писатель, а тут нужен писательский дар… И очень мешают «Былое и Думы»… – Нет, я знаю как могут они не мешать – сказала я, вспомнив свой план: писать по письмам… (Я не сказала, что мешает, главным образом, статья Ленина «Памяти Герцена», где путь его извращен… Но спасибо Владимиру Ильичу за статью, иначе Усатый вообще его не допустил бы. Гений Герцена ему противопоказан)… А на прощанье Сергей Александрович сказал: «Жаль, что Ваши стихи такие мрачные. Все так – но нельзя же, чтобы впереди была одна черная дыра. Пусть хоть утопию, но надо видеть впереди хорошее»…

Может быть он верующий? Я хотела бы тоже поверить. А без веры – что же впереди, кроме черной ямы?

16 марта, четверг, Переделкино, 89. Читала Гордина о деле

Бродского[544]. Вообще написано хорошо; большое удовольствие – читать в печати о Лернере, что он мошенник и бандит; кое-что пригодится и для примечаний, хотя у меня в 100 раз больше документов и фактов и дат, чем у него[545].

24 августа, 1989, Переделкино. Самое главное за это время: незнакомая ленинградка прислала мне вырезку из «Ленинградской Правды», где описано место погребения несчастных расстрелянных в середине 30-х годов… Левашово. Близь Парголова. (Я забыла по какой это железной дороге). Очень может быть – судя по датам – что и Митино тело закопали *там*… Хотя: «она не здесь, она во мне», – как сказал Герцен, побывав на могиле Натальи Александровны, – он не там, он во мне – а все таки я счастлива узнать, где закопаны его родинки.

19 апреля 90, четверг, дача. Гришу Галича (Войтенко) суд не утвердил, как сына Галича, потому что формально он не был признан, т. е. отец не усыновил его, и он «незаконный»… Наследство получает «законная дочь» (от Нюшки!)[546]. В «Лит. Газете» выступила Грекова в защиту Гриши и еще кто-то. Молодцы. Я тоже подписалась бы, ведь вся история и его жизнь у Бабенышевых у меня была на глазах. Галич поступил по-негодяйски[547].

17 мая 1990, четверг, Переделкино. Ночью думала о перестройке. Думала о том, что первая стадия ее была одухотворенная. Люди поняли свои грехи, свои вины, увидели горы трупов, похороненных и не похороненных, услышали их стоны, мечтали покаяться, узнать всю правду, начать новую жизнь. Горбачев вернул Сахарова – это событие стало символом *новой* жизни, новой нравственности, потому что вся общественная мысль Сахарова была образцом поступков, диктуемых нравственностью.

Затем наступил второй период, *политический*. Общественная мысль А. Д. Сахарова исходила из понимания политики, как одного из проявлений нравственности. *Оттого* он бывал всегда и *политически* точен. Требование прекратить войну в Афганистане было столь же гуманно, сколь и политически мудро. Война изнурила Афганистан, убила множество их и наших людей, наших воинов – развратила.

Он умер. В силу вступила политика, основанная на политике, не на гуманности.

19 июля 1990, четверг, дача. Народ ненавидит Горбачева

и перестройку, не понимая, что это итог, результат 70-ти лет. Всякое дело разваливается – никто не хочет работать (редакционные нравы упали, а ведь и 30 лет назад были куда как хороши! Кроме нашей редакции). Наша теперешняя беда – отсюда бегут. В особенности интеллигенция. На долгое время или чаще навсегда…

27/X 90, суббота, город. А вчера в Москве был воздвигнут памятник «жертвам тоталитаризма» (плохое название). Надежда Григорьевна[548], Люша и Маша Слоним *веселой* ордой шли на этот митинг. И я острила и смеялась, провожая их, хотя ведь это похороны… Но и радость. Люша, вернувшись, сказала, что хорошо говорили Якунин, Разгон, Карякин, Станкевич, что камень освящали, что всё было очень достойно. (Камень из Соловков.)

2 мая 91 г, четверг. Сейчас звонил Львов-Анохин – «что вы думаете о воспоминаниях Ильиной» – я, в общем и целом, хвалила – потом почему-то разговор перешел на Бабанову. Когда-то, века назад, мы были с Гешей, в один из его приездов в Москву, на спектакле «Собака на сене» – с Бабановой. Помню, нас обоих поразил тогда голос и ум Бабановой и перевод Лозинского. Сейчас Львов-Анохин рассказал мне, какой она была. Оказывается ее выпроводил из своего театра Мейерхольд потому что она имела больший успех, чем Зинаида Райх. Когда же Мейерхольда арестовали и стали поносить в газетах – первая, к кому НКВД послало своих молодцов за антимейерхольдовскими письмами была Бабанова. Она сказала (наверное посланцами были «театральные деятели»): – «Я считаю Мейерхольда великим режиссером и его ученицей». (Отказ, подобный отказу Пастернака от подписи под письмом против Бухарина, но еще сильнее)… Во время космополитской компании режиссер театра, в котором она работала, зная, что она 30 лет в ссоре с Юдифью Глезер (еврейкой), находясь в уборной Бабановой, отпустил какую-то шуточку по поводу «жидовки Глезер» – Бабанова сказала: «Покиньте мою уборную и более никогда не смейте переступать ее порог»… Оказывается, была записана на пластинку какая-то сцена в ее исполнении. Когда пластинка попала на Запад, американцы слушали эту пластинку, не зная ни слова по-русски, и восхищались – голосом…

9/V 91, четверг. Ника в последний раз повествовала о своем детском знакомстве с семьею Молотова. Бывала у них в доме и там видела Сталина. (У них на даче в Мисхоре, а она дружила

со Светланой Молотовой когда им обеим было 9 лет, и они учились в Московской школе 25.)

Никин папа был скрипачом в Большом Театре… Девочки дружили недолго – Светлана начала задирать нос. Арестовали ее няню – к ней приставили КГБешную бонну, которая была груба с Никой. Однажды рано утром, когда все спали Ника встала и ушла – пешком по шоссе из Мисхора в Алупку, где снимали комнату ее родители… Потом Ольга – забыла отчество, Жемчужина[549] – извинялась перед Никиной мамой и Ника еще раза 2 была у них в городе. Но вообще они раздружились – класс разделился на группы – аристократы вроде дочерей Молотова и Орджоникидзе и еще чьих-то, и подлизы к ним – и демократы, держащиеся отдельно. Училась Светлана хорошо по многим предметам, но не по всем. Ее тянули на золотую медаль – причем, как Нике объяснила после одна учительница – требовалось, чтобы она *одна* получила золотую, а остальных весьма золотых нарочно проваливали.

К Светлане Молотовой был приставлен охранник. – «дядя Лапин(?)». Он всегда сидел против дверей их класса. Сопровождал ее в школу и из школы на машине… В той же школе училась дочь Сталина, но – старше. (Он ведь первый в нашем веке назвал дочь Светланой, остальные потянулись за ним).

Настал космополитизм – и на глазах у Светланы Молотовой арестовали ее мать…

Молотов бывал дома редко, но дома – человек как человек.

21/XII 92, понедельник.

Думаю про судьбу русской интеллигенции. Россия без нее погибает, гибнет, погибнет. Сначала корабль философов – вывезена порция. Потом расстрелы и лагеря. 1937 г. Теперь – лет 7–8 – отъезды не под страхом ареста как в 70-е – начало 80-х – а просто потому, что там лучше.

В 37-м обращали интеллигенцию в рабов или расстреливали. В 80-х–90-х она уезжает сама.

Вот выстроит Федоров свою школу, а там некому будет учить[550]. Преступно.

12 мая 94 г., среда. Люша достала мне статью Астафьева[551]. Впечатление сильное и весьма двойственное. Он талантлив, зол и реакционен. Сильно написана лошадь – замученная кляча, одна подкова на 4 ноги, сил нет – лошадь вдруг выпрягается, в бешенстве ломает телегу, бежит в поле и умирает… Это то, что сейчас происходит у нас, и наше будущее. «Народ осатанеет и соседка кинется убивать соседку за то, что у той пенсия на 15 р.

больше».

В этом диагнозе, в этом предчувствии, он, я боюсь, прав.

Но существуют 2 гадости в этой статье и одна на мой взгляд неправильная мысль (религиозная, из Библии).

Одна гадость: выходка против Сахарова, который будто бы создавая водородную бомбу, создал, дескать, смертоносное оружие; не покаялся, и умер героем… Тут же к счастью помещен ответ – опровержение, достойно и умно написанный – С. Ковалев, Альтшуллер и др.[552]

Другая гадость – плевок в мучеников 37 года. «За ними приходили, Здравствуйте, вы арестованы». А они *мямлили* в ответ: «Я не виноват».

Этакая мерзость. И никто не ответил. Ему бы самому если бы отбили почки – что бы он мямлил?

А ложная мысль по-моему та, что 3 последующие поколения отвечают за всё (за приватизацию, за войну и пр.). Я думаю, что отвечает человек только за свой собственный грех, а не «за грехи отцов». Другое дело, что за эти грехи дети и внуки тяжело расплачиваются, но они не повинны ни в коллективизации, ни в войне.

11 декабря 94, воскресенье. Кончила читать переписку Горького – с Лениным, с Лунцем, с К. И. – потом с Ягодой. Очень страшно читать как живой и прекрасный человек становится мертвым и примыкает к палачам. А может быть, он под конец прозрел? Мы ничего не знаем о его конце.

Приложение. Объяснения предыдущего

(написано в 1966 году при перечитывании своих дневников)

2/VII 39. В этот день ко мне впервые после тюрьмы пришел Михаил Моисеевич Майслер, незадолго до того выпущенный из тюрьмы не без моего участия.

Михаил Моисеевич несколько лет заведовал нашей редакцией. Он был нам не совсем свой, немного посторонний – потому что не литератор, не журналист, над рукописями не работал – но мы все любили его! Это был человек скромный, правдивый и чистый. Литературу и нашу работу он уважал до чрезвычайности и у него хватало такта не вмешиваться и не учить нас искусству, которому учил нас Маршак. Но, не вмешиваясь в специальное литературное дело, он искренне жил успехами и неудачами редакции, книгами, авторами, всегда старался оберечь нашу работу от бюрократических помех, а для нас достать путевку в санаторий, талоны в столовую. Он видел, что работаем мы не по-служебному, что редакция – дело нашей жизни, которому мы отдаемся вполне и старался объяснить это высшему начальству.

Это был молодой человек, лет 30-ти, очень черный, очень глазастый, по происхождению – польский еврей; в прошлом – комсомолец-подпольщик, бежавший из Польши в Советский Союз, принявший советское гражданство и вступивший в партию.

Он всегда умел, не гнушаясь черной работы и не заботясь высоким чином, помочь нам в тяжелые авральные дни составления плана или срочной сдачи рукописей, бегая самолично в библиотеку за справками или на вокзал к Стреле, чтобы отправить с проводником дополнения к плану… Он понимал, что кресло заведующего не делает из него знатока литературы – но один раз смущенно признался, что больше всего на свете любит Мицкевича и как-то целый день читал нам его по подлиннику.

Однажды он накричал на меня, но крик этот был далеко не начальственный.

Убили Кирова. Все чувствовали, что на город надвигается грозная туча – и особенно темными были в ту зиму ленинградские зимние дни, и какое-то особенно острое чувство небезопасности владело всеми. Словно идешь по пустой улице

ночью и все время оглядываешься: чьи-то шаги за спиной. Но при этом все мы были еще молоды и легкомысленны, а я к тому же очень несдержанна.

Не помню, на какой стадии разгрома, после выселения дворян или до, после ареста нашей близкой приятельницы, Р. Р. Васильевой[553], или до – в нашу тихую комнату утром вошел Михаил Моисеевич и с озабоченным видом роздал нам новые длиннейшие анкеты.

Вчитавшись в вопросы на первой странице, я сказала:

– Какие подробности – о тетушках, бабушках! Наверное, начальство при помощи новых анкет желает выяснить, не мы ли убили Кирова…

Михаил Моисеевич глянул на меня сердито из-под очков черными блестящими глазами, ничего не сказал и вышел.

Это было утром. А в конце редакционного дня, то есть, когда давно уже наступил вечер, он, увидев что я одна, внезапно вошел в тихую комнату, захлопнул за собой дверь на французский замок, сел напротив меня и сказал:

– Вы понимаете, что Вы говорите?

– Вы это о чем?

– Вы слышите себя? Вы понимаете, кому и что и когда вы говорите?

– Да вы про что это, Михаил Моисеевич?

Он напомнил мне мою утреннюю фразу об анкетах.

– Михаил Моисеевич, ведь это была шутка!

– Не время шутить.

– Да ведь кругом были все свои!

– Да? Вы думаете? А вы понимаете, что в редакции есть люди, которые слушают каждое слово – особенно ваше слово, вы-то уж давно на примете! и особенно теперь… Не можете ли вы несколько помолчать, ну, например, не острить хотя бы?

Говорил он резко – но я вдруг к моему удивлению увидела, что в его больших черных глазах стоят слезы. Чтобы скрыть их, он поднялся, рывком отвернул замок, рывком распахнул дверь и вышел.

Непосредственно после убийства Кирова гроза миновала редакцию – если не считать ареста Р. Васильевой, близкого нам человека, и требования со стороны начальства к ее редакторам, А. Любарской и З. Задунайской, чтобы они прекратили с ней переписываться. Но весною 1937 года была уволена я (что меня, как впоследствии оказалось, спасло от более серьезной кары), осенью – арестованы Шура (А. И. Любарская), Туся (Т. Г. Габбе), изгнаны за связь с «врагами народа» Зоя, Рахиль Ароновна Брауде (наш секретарь), Анна Абрамовна Освенская (младший редактор)

и несколько человек детских писателей. Ареста С. Я. ждали со дня на день. Все мы вместе назывались «контр-революционная группа Маршака, вредительствовавшая в детской литературе», нас поносили в газетах и на собраниях – в издательстве и в Союзе.

Обсуждали наши преступления разумеется и на закрытом партийном собрании в издательстве. Так как члены парторганизации – такие как профессиональный доносчик и провокатор Г. Мишкевич, сбитый с толку и потерявшийся человек Л. Криволапов[554], темный, невежественный Н. Комолкин, проныра и тупица Д. Чевычелов – сами были организаторами уничтожения редакции, они, естественно, не пожалели на этом собрании красок, чтобы изобразить наши черные дела.

Михаил Моисеевич Майслер поднялся со своего места и сказал:

– Это неправда. Эти люди не вредители. Я близко наблюдал их работу в течение нескольких лет. Это самоотверженные, честные и талантливые люди. А вредители те, кто уничтожил этот коллектив.

У Михаила Моисеевича было двое детей и все-таки он встал и произнес эти слова.

Его мгновенно исключили из партии и арестовали тоже очень быстро – кажется, дня через четыре – по обвинению в шпионаже.

Впоследствии, оглянувшись назад, я поняла систему: если человек заступался за кого-нибудь письменно – ну, скажем писал письмо Сталину или прокурору, объясняя, что такой-то не виноват; если он хлопотал за друга, объяснялся с прокурорами и пр. – его за это как правило не преследовали. Но стоило человеку открыть рот в защиту другого публично – беспартийных выгоняли с работы, а членов партии – исключали и сажали. Тогда эта система не была мне ясна, я поняла ее, оглянувшись.

Михаила Моисеевича исключили и посадили. На допросах он не сдавался и благодаря своему упорству досидел до осени 38 года, когда убрали Ежова. У Майслера сменился следователь. Из него перестали лепить шпиона. По-видимому, решено было его освободить – но для этого все-таки необходимо было опровергнуть доносы, извлеченные в свое время из издательства. Внезапно я получила повестку: явиться в Большой Дом. Явилась. Мне предъявили груду – целую груду! – написанных на машинке листов с описанием антисоветских действий Михаила Моисеевича. Следователь положил передо мною чистые листы и велел писать всё, что я знаю, по поводу чужих показаний. Писала я часа четыре; следователь зевал, говорил по телефону, уходил в буфет, ковырял в зубах… Я писала и писала. Обвинений

было множество и до чрезвычайности глупых; помню, например, такое: «Майслер на Первомайской демонстрации обучал своего десятилетнего сына издевательски петь Интернационал».

Я кончила свою писанину только к вечеру. Выйдя на улицу, я поняла, что в кабинете следователя забыла свою красивую беличью муфту…

Вот почему, когда Михаил Моисеевич пришел ко мне, он обещал купить мне новую. (И впоследствии исполнил свое обещание).

«Такой хитрый, что ничего не натворил» – это фраза следователя, сказанная одному из арестованных, товарищей Михаила Моисеевича по камере. Тот, на допросе, все никак не мог понять, в чем его обвиняют. «Что же я такое натворил?» – спросил он наконец у следователя. «Ты, негодяй, такой хитрый – ответил ему следователь, – что ничего не натворил».

«Как самому сделать контрика» – это книжка-картинка для дошкольников, которую Михаил Моисеевич придумал, сидя в тюрьме на Шпалерной – наподобие тех, которые издавал Детгиз: Как самому сделать буер, Как самому сделать планер, модель самолета и т. д… «Берут человека, его бьют – говорил Михаил Моисеевич – это на первой картинке; на второй – человек стоит; на третьей – валится; на четвертой – подписывает показания: контрик готов. Книжка для вырезывания».

Кроме страшных тюремных анекдотов, Мих. Моис. принес мне первую из тюрьмы живую весть о Мите. Арестованный позднее, чем Митя, он всех о нем расспрашивал. И ему рассказали, что в соседней камере сидит профессор, который берется читать лекции на любую тему каждый вечер и читает очень интересно: по астрономии, по физике, и по истории может… Один раз вечером его вызвали так: «Бронштейн, с вещами!» – он обмотал вокруг шеи полотенце (других вещей у него не было) и вышел. И больше в ту камеру не вернулся…

(Теперь я знаю, что случилось это в феврале 1938 года; 18-го его судила Военная Коллегия под председательством Ульриха, и в тот же день он был расстрелян). Таким образом, когда дошла до меня эта первая весть о нем, его давно уже не было на свете.

А Михаил Моисеевич тоже недолго прожил на свете. В 1941 году, командуя под Ленинградом, он первый поднялся в атаку, пробежал несколько шагов вперед по полю и подорвался на мине.

Его военная доблесть равнялась гражданской. В 1937 году подняться на партийном собрании и сказать в защиту преследуемых и гонимых то, что сказал он – было не менее опасно, чем в 1941 под немецкими пулями кинуться первым

в атаку.

Он был настоящий герой, человек чести и мужества – Михаил Моисеевич Майслер.

30/X 39. Мирон Павлович Левин был одним из самых молодых сотрудников нашей редакции. Когда мы познакомились с ним – году, наверное, в 1935-м – ему было 19, мне 29. Подружились мы на Маяковском: мне было поручено составить однотомник для юношества, и я взяла себе в помощь Мирона Павловича, который его страстно любил. Мы вместе отбирали стихи, писали примечания, ездили в Москву к Брикам и Асееву..

Ему было 19, но все называли его по имени и отчеству – полууважительно, полунасмешливо. В нем было редкое сочетание отроческого и зрелого, взрослого. В самом деле, для 19 лет он был необыкновенно взросл. В суждениях о литературе, о людях, о стихах. Взросл и умен… Первым кумиром его был Маяковский, вторым Ираклий Андроников. Мирон Павлович сам был необыкновенно артистичен и музыкален и лучше чем кто-нибудь мог оценить великолепие Ираклия. Они стали играть в такую игру: М. П. слуга, раб Ираклия. Он каждое утро являлся к Ираклию, чтобы – в ответ на 3 хлопка – подавать воду для бритья. Затем целыми днями он носил следом за Учителем его тяжелый портфель. Три хлопка – и Мирон, вытянувшись, подавал портфель владыке.

Года через 1½ после нашего знакомства М. П. заболел, он, по-видимому, заразился tbc от своей младшей сестры, 16-летней девушки (вся семья жила в одной комнате). Он начал тяжело кашлять и не шел к врачу. Мать просила меня пойти с ним: «Вас он послушается». С большими трудностями я записала его к знаменитому тогда профессору Чернолуцкому. Мирон скрылся в кабинете, я сидела в приемной. Потом меня позвали. Профессор нашел, что в легких чисто – «но – добавил он – ранние стадии tbc просматривает только рентген. Вот на всякий случай». И протянул Мирону листок.

Когда мы вышли на улицу Мирон заявил, что ему некогда ходить на рентген для очистки совести профессора, на моих глазах разорвал листок и пустил его, поддувая.

– Интересному брюнету не удалось умереть от чахотки! – сказал он.

И я не настаивала. По глупости и невежеству я считала это простой формальностью.

А он кашлял все тяжелее, все глубже, все глуше. Мать звонила мне, что повышена t°, а он к врачу не идет. Умоляла меня: «Вас он послушается».

Я записала его в поликлинику к знакомому врачу на 2 августа 37 г. на 9 ч. утра. В ночь с 1 на 2 у меня был обыск. Утром с мыслью о Митиной гибели, что я должна решить, что делать и не понимая, что делать, я поехала к врачу. Мирон уже ждал меня. Я сказала ему, что случилось. Мы сидели рядом в белом коридоре, крутя номерки. Мирона быстро вызвали к врачу. Он вышел оттуда с двумя направлениями в руках – на рентген и на кровь. А я вошла в кабинет.

– Мальчик безнадежен – сказал мне врач.

– Что? – спросила я.

– Безнадежен – повторил врач. – Ну, конечно, он проживет еще год-два, туберкулезники очень живучи. Но – каверны в обоих легких.

В эту минуту в кабинет зашел Мирон.

– Записались? – сказал врач. – Ну вот и отлично. Со снимком на руках придете ко мне.

Мы вышли на улицу. М. П. расспрашивал меня о подробностях обыска. Предложил, что он поедет в Киев предупредить М. П. Я не позволила. Я смотрела на него как на привидение, говорившее со мной из гроба. Я была ошеломлена своей виной перед ним – ведь меня он действительно слушался, и я могла тогда заставить его пойти на рентген. Я не могла собрать мыслей, после минувшей ночи все качалось. Но пустить его в Киев я не смела: он был, думала я, у них на примете, да и как он поедет, когда он болен – нужно доставать путевку, лечить.

– Нет, – сказала я. – Вы не поедете. (А если бы он поехал, Митя был бы спасен).

Писатели – С. Я. Маршак, В. Б. Шкловский, К. И. Ч., И. Андроников – очень любили его, как ярко, явно одаренного юношу и энергично пытались спасти. Он не был еще членом литературной организации – тем не менее, С. Я. Маршак в Ленинграде а Шкловский в Москве, тратя собственные деньги и хлопоча в Литфонде, доставали ему путевку – сначала под Ленинградом, потом в Крыму.

В Крыму я навещала его дважды – весною 38 г., убежав из Ленинграда сначала в Киев, потом в Ялту, тогда он был загорелый, здоровый, казалось, совершенно поправившийся, и осенью 39-го – в Долосах, в санатории смертников: больных туберкулезом горла.

В 39 году передо мной был новый человек. Не потому только, что умирающий. Мирон Левин, каким я его знала раньше, любил Маяковского, был пламенным, яростным комсомольцем. Один из моих друзей в его присутствии сказал однажды нечто

критическое по адресу однопартийной системы.

– Вот таких как вы – сказал ему М. П. – вот именно таких партия должна вешать.

1937 год смутил его, он тяжело пережил разгром редакции, но, по-видимому, развивающаяся болезнь не дала додумать происшедшее до конца. Но пакт, заключенный с Германией, открыл ему на Сталина глаза.

Он лежал в постели, в отдельной палате с балконом. Мне обрадовался. Но был очень сдержан, о себе почти не говорил.

Есть не мог – начиналась непроходимость горла: один день «проходили» котлеты, другой котлеты «не проходили» и он мог глотать только жидкое, да и то не все. t° была около 39. Но, желая меня развлечь, он пел и песни были такие:

Как на генеральной линии…
А, здрасти!
Гитлер, Сталин, Муссолини…
А, здрасти!

Шутки надо
По – ни – мать!

Он, человек необыкновенно музыкальный и артистический, приподнявшись на подушках, дал мне целое представление, изображая, как Сталин – со своим грузинским акцентом – объясняет кухарке разницу между блинами и блинчиками. Это была пародия на «Шесть условий товарища Сталина», на тупой и педантический стиль сталинских рассуждений. «Блинчик это не блин», – говорил Мирон. «Во-первых…»

Смеялся он не только над Сталиным, но и над собой умирающим. Один вечер мы с ним гадали по тому Маяковского. Захлопнув книгу он спел:

– Перед тем как дуба дал,
Ел котлеты и гадал.

Один раз утром (я прожила в Долосах недели две), он встретил меня такой песенкой:

Он, дурак, лежит, рыдает,
И не хочет умирать.
Потому что умирает
Не успев повоевать.

Он, дурак, не понимает,
Что в такие времена
Счастлив тот, кто умирает,
Не увидев ни хрена.

Ему во всяком случае здорово повезло, что он умер. Захватив Крым, немцы ворвались в Долосы, убили всех больных, а прекрасные, легкие, залитые солнцем домики санатория – взорвали, сожгли.

Но я тогда не знала, что ему лучше умереть. И проститься с ним, и в последний раз выйти из палаты 50, оставив его там, и стоять потом внизу под шумящим деревом (был ливень), ожидая автобуса – и знать, что я могу еще раз подняться на 2-й этаж, и еще раз постучать в палату 50, и еще раз его увидеть – но что этого нельзя, это стыдно, потому что мы уже простились и простились навсегда – это мне было нелегко. И понимая, что мне нелегко, он и держался со мной все 2 недели и в последние 10 минут не лирически, а как-то юмористически.

Помню еще одну его песенку – письмо к нашей общей ленинградской знакомой, художнице, Нине Ник. Петровой:

Нина, Нина Петрова
Напишите хоть слово.
Я измучен весьма,
20 дней без письма,
20 дней без единого слова.
Бессердечная Нина Петрова!

Свою мужественную роль он выдержал до конца. Он писал мне веселые, легкие, насмешливые письма. В одном он попросил, чтобы я послала ему «плакаты и лозунги». Это были большие разноцветные листы бумаги, которые он развесил в нашей квартире 23 марта 1937 года – накануне дня моего рождения. Плакаты били по глазам игрой шрифтов и красок. Один висел у меня над диваном:

У именинницы в комнате
Все комплименты припомните,
Все комплименты припомните
У именинницы в комнате.

Другой – над обеденным столом:

Товарищи гости, не ссорьтесь, деля,
Мои пироги и мои кренделя.
***
Все лучшее на земле
Или за этим столом или на этом столе.

В передней, над тем столиком, где предлагалось гостям складывать подарки:

– Скупому – предупреждение:
И твой настанет день рождения.

Он писал мне, что обклеил этими плакатами свою палату. Но скоро они вернулись домой вместе со всем его архивом, присланным мне после его смерти.

Я потому так подробно вспоминаю и записываю каждую строку его шуточных стихов, что меня, его и возможных читателей постигла большая неудача. Когда я во второй раз вынуждена была бежать из Ленинграда (на этот раз из-за «Софьи Петровны», 15 мая 1941 г.) – я оставила все свои вещи и весь свой архив в своей пустой квартире. Единственное, что я унесла из дому и отдала на хранение друзьям – была синяя коробка для почтовой бумаги, в которой я хранила Митины письма и письма и стихи Мирона Павловича. Я не знала тогда, что уезжаю на годы, что между моим отъездом и возвращением пройдет война, эвакуация, блокада… Когда в 44 году я вернулась в Ленинград, и меня впустили в занятую чужими квартиру – оказалось, что вещи разворованы, но бумаги целы. Синяя же коробка с письмами Мити и Мирона была моими друзьями сожжена в страшную зиму 41–42 года.

Митин почерк остался у меня только в надписях на подаренных книгах.

Почерка Мирона не осталось. И целой тетради стихов. И писем из которых было видно, какой в нем умер замечательный литературный критик, а может быть и прозаик.

Быть может, письма и стихи сохранились у кого-нибудь. Не знаю. Сестра его умерла раньше, чем он, а родители умерли во время блокады.

Памяти Елены Чуковской

НАША ЛЮША

Такие люди, как Люша, Елена Цезаревна Чуковская, – большая редкость. Их не может быть много, потому что основное свойство – авторское отношение к жизни, плод вдохновенного, бесстрашного и единоличного творчества – годится лишь для исключительных натур, могущих составить славу и гордость любой страны. А уж нашей многострадальной Родине, где «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят», они необходимы как воздух. Оттого и появляются, несмотря ни на что. Самим своим пребыванием меняя облик времени и места.

Почти полувековая Люшина деятельность в русской культуре заменила собою целые общественные и научные институты. Это чудо, а чудеса, на мой взгляд, происходят по одной причине. И имя ей – любовь. Любовь Люшина к тем, чьими делами она занималась, исток и источник мощного энергетического потенциала, нашедшего столь полное и зримое воплощение. «По делам их узнаете их». Героическая и лирическая Люша – одно неразрывное целое. И оно никогда не переставало быть таковым. Сила, глубина и длительность чувств сообщают им действенность. И несказуемость. Поведать о себе городу и миру Люша ни за что не хотела. Потому что не могла. Будучи сокровенным человеком, с естественным целомудрием души.

Драма ее сердца, несбывшейся личной жизни, неразорвавшейся бомбы ушла в землю вместе с ней. Смертельно раненная гордость с годами умиротворилась кротостью смирения и отречения. Такой величавой женственности мне больше никогда не встречалось. «На это можно только указать и пройти мимо» (И. С. Тургенев). Да, да, именно к классическим, хрестоматийным образцам тяготеет Люша, готовая, но еще не разгаданная героиня очень русского эпического романа.

Если Лидия Корнеевна (главный человек Люшиной жизни) – «карающая Немезида», то Люша – великий утешитель.

«Я типичный соглашатель. Я всегда за компромисс», – любила говорить она про себя. Для людей, знающих Люшу – неутомимого работника и воителя за правое дело, – эти слова звучат как непонятные и неприложимые к ней. В чем тут суть? Она умела видеть и различать многообразие человеческого устройства и стержневому началу, лежащему в основе личности, отдавать должное. И соответственно прощать недостатки: у кого их нет? Разве что у нее самой.

Одно то, что Люша принимала в себя чужую беду, неудачу или победно завершившееся трудное предприятие, уже означало многое. В дружеском кругу она была лидером по строгому и конструктивному гуманизму, даже не подозревая о своей главенствующей роли. Что еще драгоценнее.

Неприкосновенность суверенной территории другого человека (также, как своей собственной) блюлась ею свято. Скажешь ей что-нибудь важное, но совершенно не подлежащее тиражированию, и: «Только никому». «Могила», – тут же отвечала Люша. Само собой. Скольких тайн она была хранительницей, можно только предполагать.

Точно только одно: для многих из немногих оставшихся Люшин уход в вечность подобен катастрофе. Но сама она этого не хотела бы и всегда стремилась к счастливой развязке,

к неущербности бытия. Абсолютная, гневная противница распада, она не признавала самой его возможности.

Наша Люша. Несравненная, удивительная, единственная и прекрасная.

Галина Самойлова

notes

Примечания

1

Геша – Герш Исаакович Егудин (1908–1984), математик, друг М. П. Бронштейна и Л. К. Чуковской еще с довоенных времен.

2

Мирон Павлович Левин (1917–1940), критик, поэт. О нем см. Приложение «Из пояснений 1966 года»; а также: *Лидия Чуковская*. Прочерк. М.: Время, с. 2009, с. 146, 147, 164–167, 315–320.

З

Ираклий Луарсабович *Андроников* (1908–1990), писатель, историк литературы, актер.

4

Вероника Витольдовна *Полонская* (1908–1994) и Н. А. Ольшевская (1908–1991) учились в театральной школе при МХТ с 1924 г. (и Ольшевской, и Полонской было по 16 лет). В их группу входили: В. В. Полонская, И. С. Анисимова-Вульф, Н. А. Ольшевская, И. Ф. Кокошкина, В. В. Грибков (так и занимались впятером весь курс). Эти сведения – из беседы Л. А. Шилова с Полонской 11.01.1991, снятой С. Филиповым на видеокамеру. – *Сообщил М. А. Фролов.*

5

Софья Андреевна *Толстая* (1900–1957), внучка Льва Толстого, последняя жена Сергея Есенина.

Л. Ю. Б. – Лиля Юрьевна Брик (1891–1978).

7

Примаков Виталий Маркович (1897–1937, расстрелян), советский военачальник, муж Л. Ю. Брик.

8

В. В. Полонская познакомилась с Маяковским 13 мая 1929 года на бегах, куда приехала с О. М. Бриком.

9

Ардов Виктор Ефимович (1900–1976), писатель-сатирик, муж Н. А. Ольшевской.

10

Воспоминания В. В. Полонской см.: Вопросы литературы, 1987. № 5. Полнее: сб. Серебряный век. М.: Известия, 1990.

11

«Первая молодость» – имеется в виду пьеса С. Карташева «Наша молодость» по роману В. Кина «По ту сторону» (вопросы личности и долга в комсомольской среде в эпоху гражданской войны). Это была первая крупная роль Полонской в МХАТе.

12

Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт.

13

М. А. Шолохов. Правда. 1943, 5–8 мая. Опубликованы главы из романа «Они сражались за Родину».

14

…в ЦД, у Н. Я., т. е. в ЦДХВД (Центральный дом художественного воспитания детей). Надежда Яковлевна Мандельштам и Л. К. вели там кружки.

15

А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам.

16

Лидия Львовна *Жукова* (1907–1985), ташкентская знакомая Л. К., ее соавтор по книге «Слово предоставляется детям», автор «Эпилога». О ней см. также: *Записки*. Т. 1, с. 546–547 (примеч. к дате 4/XII 42). Здесь и далее используется сокращение Записки для издания: *Лидия Чуковская*. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М.: Время, 2007.

17

Валентин Дмитриевич *Берестов* (1928–1998), поэт. Подростком он был эвакуирован в Ташкент, где познакомился с К. И. Чуковским и с Л. К., у которой занимался в ЦДХВД. Об этом времени Берестов написал в своих воспоминаниях «Светлые силы» // *В. Берестов.* Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых; Вагриус, 1998, с. 170–258.

18

САГУ – Среднеазиатский государственный университет (название Ташкентского университета).

19

Т. е. к *Ф. А. Вигдоровой* (1915–1965), которая тоже была в эвакуации в Ташкенте.

20

Юсупов Усман Юсупович (1900–1966), советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана (1937–1950).

21

Л. К. входила в ташкентскую Комиссию помощи эвакодетям.

22

Эдуард Григорьевич *Бабаев* (1927–1995), впоследствии литературовед, профессор МГУ.

23

В 1892 г. в качестве корреспондента В. Г. Короленко принял участие в заседаниях суда по делу крестьян-удмуртов (вотяков) из села Старый Мултан, ложно обвиненных в ритуальном убийстве. Короленко выступил с защитительной речью, вызвавшей большой общественный резонанс. Всего об этом деле он написал десять статей. Подсудимые были оправданы.

24

Шура, Зоя – Александра Иосифовна *Любарская* (1908–2002) и Зоя Моисеевна *Задунайская* (1903–1983), сотрудницы маршаковской редакции ленинградского Детиздата.

25

Вероятно, речь идет о статье: *К. Чуковский.* Воспитание совести: [О задачах детской литературы] // Литература и искусство. 1943. 8 мая.

26

Ломакина Полина Борисовна (1902–1994), жена 2-го секретаря компартии Узбекистана Николая Андреевича Ломакина (1913–1976); *Лиля* – Елена Феликсовна Пуриц (1910–1997), ленинградская приятельница Л. К., жена математика Г. И. Егудина. *«Иметь и не иметь»* – название романа Эрнеста Хемингуэя.

27

Непомнин Владимир Яковлевич (1906–1978), секретарь Ташкентского обкома ЦК КП УзССР (1941–42).

28

Вероятно речь идет о «Поэме фронта», напечатанной в № 3–4 «Нового мира» за 1942 год.

29

По-видимому, речь идет о детской опере Л. А. Шварца «Джаннат» по либретто Эди Семеновны *Огнецвет* (1913–2000), белорусской детской писательницы и переводчика.

30

Донская, директор Центрального дома художественного воспитания детей.

31

Браун Николай Леопольдович (1902–1975), ленинградский поэт, переводчик.

Тихонов Николай Семенович (1895–1979), поэт.

33

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958), поэт, критик.

Богданович Татьяна Александровна (1872–1942), писательница, крестная мать Л. К. Чуковской.

35

Строка из стихотворения В. Берестова «В извечной смене поколений судьбой гордиться мы должны…» (1942).

36

Стенич Валентин Иосифович (1898–1938, расстрелян), переводчик.

37

10 ноября 1943 г. Л. К. вернулась из Ташкента в Москву.

38

Лео Оскарович *Арнштам* (1905–1979), кинорежиссер и сценарист, соученик Л. К. по Тенишевскому училищу.

39

Тарле Евгений Викторович (1875–1955), академик, историк.

Т. е. автограф стихотворения А. С. Пушкина.

41

Л. О. Арнштам работал над сценарием о Зое Космодемьянской.

Инна, жена Л. О. Арнштама, балерина.

43

Рекомендацию для вступления Л. К. в Союз писателей.

Инзов Иван Никитич (1768–1846), генерал от инфантерии.

45

Константин Павлович *Романов* (1779–1831), цесаревич, великий князь.

46

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), дипломат, лицейский товарищ А. С. Пушкина.

47

Л. О. Арнштам снимал фильм о композиторе Глинке.

48

Галина Владимировна *Водяницкая* (1918–2007), актриса, сыгравшая Зою Космодемьянскую в фильме, поставленном Л. Арнштамом.

49

Космодемьянская Любовь Тимофеевна (1900–1978), мать двух героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

50

Строка из стихотворения В. Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» (1926).

51

Строка из поэмы А. Блока «Возмездие» (1910–1921).

52

Мих. Моис. и Мих. Як., Изя – Михаил Моисеевич Майслер (1902–1969), заведующий редакцией ленинградского Детиздата, детский писатель (о нем см. Приложение в наст. изд.); Михаил Яковлевич Розенберг (1913–1941), киносценарист; Исидор Моисеевич *Гликин* (1907–1942), друг Л. К., сохранивший в блокаду рукопись ее повести «Софья Петровна».

53

Автор – Л. Н. Толстой.

54

Ваней, Алексеем Ивановичем и Тусей – упомянуты Иван Игнатьевич Халтурин (1902–1969), специалист по детской литературе; Алексей Иванович Пантелеев (1908–1987), писатель, редактор; Тамара Григорьевна Габбе (1903–1960), драматург, фольклористка, редактор, близкий друг Л. К.

55

Первая строка из стихотворения А. Блока «Россия».

Упомянута Зоя Моисеевна *Задунайская*.

57

Строки из стихотворения Б. Пастернака «Здесь будет все: пережитое…» (1931). У автора: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь…».

58

Софья Михайловна *Маршак* (1889–1953), жена С. Я. Маршака.

59

Розалия Ивановна *Вильтцын* (1884–1966), домоправительница в семье С. Я. Маршака.

60

Строки из стихотворения Пушкина «Ее глаза» (1828).

61

Лидия Корнеевна читала первый двухтомник «Литературного Наследства», посвященный Герцену: Тт. 39–40, 41–42 (А. И. Герцен). М.: Изд-во АН СССР, 1941. – *Примеч. М. А. Фролова*.

62

«Герцен не уступит Пушкину. Где хотите – откройте, везде превосходно…» // Лев Толстой. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 1, с. 376.

63

Речь идет о книге Н. Кончаловской «Наша древняя столица: Картины из прошлого Москвы».

Упомянуто стихотворение Н. Кончаловской «Про сапоги» из цикла «стихи для детей».

65

Шестнадцатилетний Берестов приехал из Ташкента, из эвакуации.

66

Ангелина Осиповна *Степанова* (1905–2000), жена Фадеева, актриса МХАТ.

Васильев Павел Николаевич (1910–1937, расстрелян), поэт.

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк.

69

См.: Книга о Леониде Андрееве: Воспоминания. Пг.; Берлин, 1922.

70

У Герцена: «…после ряда страшнейших несчастий, с какой-то дикой роскошью падавших на мою голову». – Письмо Н. М. Щепкину 8 января 1857 г. (27 декабря 1956 г.) // Собр. соч.: В 30 т. Т. 26, 1962, с. 66.

71

Речь идет о гражданской жене Герцена Н. А. Тучковой-Огаревой (1829–1913).

Лемке Михаил Константинович (1872–1923), редактор и комментатор первого полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена (Пб., 1919–1925).

Новичъ Иоанн Савельевич (1906–1984), литературовед, критик.

74

Николай Николаевич *Гусев* (1882–1967) и Валентин Федорович *Бирюков* (1886–1966), секретари и биографы Льва Толстого.

75

Строки из стихотворения Блока «Да. Так диктует вдохновенье…» (1911–1914).

76

Н. А. Герцен (1844–1936), старшая дочь А. И. Герцена. Она с 1862 по 1869 г. жила во Флоренции и училась живописи. Там она встретилась с талантливым слепым музыкантом Пенизи. Пенизи настойчиво добивался любви Н. А. и довел ее до помешательства. Герцен получил от сына телеграмму об этом 29 октября 1869 г. и выехал во Флоренцию. Подробнее см. письмо Герцена к И. С. Тургеневу от 18 ноября 1869 г., а также: *Н. П. Анциферов*. Старшая дочь Герцена (Тата) // Литературное наследство. Т. 63, с. 477–479.

77

Н. Тихонов, скорее всего, читает свой перевод стихов Эмиля Мадараса (1884–1962), венгерского поэта, жившего с 1922 по 1946 гг. в эмиграции в СССР. – *Примеч. Л. А. Беспаловой.*

78

Мишкевич Григорий Иосифович, в 1930-е гг. – главный редактор ленинградского Детиздата. О его роли в разгроме редакции Маршака см.: Записки. Т. 1, с. 321–322. «За сценой», примеч. 21.

79

Ираклий Луарсабович *Андроников* (1908–1990), историк литературы, мастер художественного рассказа, специалист по творчеству М. Ю. Лермонтова.

Л. К. в это время работала над сценарием по «Герою нашего времени». Сценарий поставлен не был.

81

Ромм Михаил Ильич (1901–1971), советский кинорежиссёр, сценарист, педагог, театральный режиссёр. Лауреат пяти Сталинских премий.

82

Иоганн Каспер *Лафатер* (1741–1801), швейцарский писатель. В 1841 г. вышло новое издание его книги «Искусство познавать людей по чертам лица».

из-за Марии Николаевны – старшая дочь Николая I недоброжелательно относилась к М. Лермонтову.

84

Райзман Юлий Яковлевич (1903–1994), советский кинорежиссер, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1964), лауреат шести Сталинских премий.

85

Л. К. помогала отправить из Москвы в Ленинград мать своей ленинградской приятельницы Р. А. Брауде.

Димус – Дмитрий Дмитриевич *Иваненко* (1904–1994), физик-теоретик, знакомый мужа Л. К. – М. П. Бронштейна.

87

Эмма Григорьевна *Герштейн* (1903–2002), литературовед.

88

Николай Иванович *Харджиев* (1903–1996), писатель, искусствовед, коллекционер.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831), адмирал.

Л. К. работала над биографией и дневником путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая (1846–1888). См.: *Лидия Чуковская*. Тамо Русс – человек из России // *Н. Н. Миклухо-Маклай*. Путешествия / Ст., ред. текста и примеч. Л. Чуковской. М.: Мол. гвардия, 1947, с. 5–21.

Зоря Вихирева, школьная подруга Е. Чуковской.

92

Селих Яков Григорьевич (1892–1967), журналист, в 1938–41 исполнял обязанности главного редактора «Известий».

93

М. Кузмин. Александрийские песни. *«…четыре сестры нас было…»* В ленинградской редакции Детиздата было четыре редактора – Т. Габбе, З. Задунайская, А. Любарская и Л. Чуковская.

Степанов Николай Леонидович (1902–1972), литературовед.

Вечеслова Татьяна Михайловна (1910–1991), прима-балерина Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

Л. Э. Любарская, сестра отца А. И. Любарской.

97

Мария Карловна *Куприна* (1881–1960), вдова писателя А. И. Куприна.

Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1953), советский военный деятель, дипломат, писатель.

Александр Гольденвейзер. Вблизи Толстого (1922).

100

Вероятно, имеются в виду стихи С. Маршака: «Когда, изведав трудности ученья…» и «Вот однокрылая сосна…»

101

14 августа было принято постановление ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», направленное против Ахматовой и Зощенко. Но еще до публикации постановления редакцию «Звезды» вызвали в Кремль, где Сталин сказал все то, что появилось в постановлении, поэтому Зильберштейн был в курсе происходящего.

Д. С. Федина (1895–1953), жена К. А. Федина.

103

Инбер Вера Михайловна (1890–1972), писательница.

104

Возможно речь идет о книге Б. Эйхенбаума «Молодой Толстой в записи современников» (Л., 1929).

105

В печати была осуждена сказка Чуковского «Бибигон» и его детские книги не издавались.

106

Сусанна Михайловна *Георгиевская* (1916–1974), писательница, которую редактировала Т. Г. Габбе.

107

Рахтанов Исай Аркадьевич (1907–1979), писатель.

108

М. Ильин (наст. имя и фамилия – Илья Яковлевич Маршак, 1896–1953), писатель, младший брат С. Я. Маршака.

109

Т. е. послевоенная денежная реформа.

110

В 1947 г. А. Т. Твардовский выпустил книгу очерков и рассказов о войне «Родина и чужбина». Главный редактор «Лит. газеты» критик В. Ермилов выступил против этой книги со статьей «Фальшивая проза» (Лит. газета. 1947. 20 дек.).

111

Лидия Феликсовна *Кон* (1896–?), литературный критик, автор статьи «Про “Почемучку”» (Сб.: Жизнь и творчество Бориса Житкова. М.: Детгиз, 1955, с. 183–196).

112

Речь идет о статье Лидии Чуковской «Творчество Бориса Житкова» // Сб.: О детской литературе / Сост. Л. Ф. Кон. М.; Л.: Детгиз, 1950, с. 155–181. Л. К. считала «Почемучку» неудачей Б. Житкова, вопреки общепринятому взгляду советской критики тех лет.

113

Т. е. М. Б. и К. И. Чуковских.

114

«Думы мои, думы мои…» – стихотворение Т. Шевченко, *«Кинжал»* – стихи М. Ю. Лермонтова.

115

Александр Юльевич *Кривицкий* (1910–1986), журналист. Во время войны А. Кривицкий – специальный корреспондент и член секретариата газеты «Красная звезда»; после войны – два раза (с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 год) – заместитель главного редактора (К. Симонова) в журнале «Новый мир». Л. К. в 1946/47 гг. работала в «Новом мире» и там столкнулась с Кривицким. Подробнее см.: *Лидия Чуковская*. Из дневника. Воспоминания. М.: Время, 2014, с. 86–88.

116

Л. Савельев (1904–1941), автор, печатавшийся в редакции ленинградского Детиздата.

117

Лейтес Александр Михайлович (1899–1976), литературный критик.

118

Д. Заславский. Смертяшкины во Франции // Правда. 1947. 23 янв.

119

Джон *Стейнбек* (1902–1968), американский писатель.

120

Вероятно речь идет о книге А. С. Долинина «В творческой лаборатории Достоевского (история создания романа “Подросток”» (Л.: Сов. писатель, 1947).

121

До Булгакова Елена Сергеевна была замужем за Евгением Александровичем *Шиловским* (1889–1952). В годы войны он был в чине генерал-лейтенанта.

122

Марина Николаевна Чуковская, жена Н. К. Чуковского.

123

Топорков Василий Осипович (1885–1970, актер МХАТа.

Названы С. М. Георгиевская и И. А. Шорин, чьи книги Л. К. редактировала.

125

Строки из стихотворения А. Ахматовой «Дал ты мне молодость трудную…» (1912). У автора: «Я дрожу над каждою соринкою…».

126

На лекции Чуковского о Маяковском в начале 1939 года в МГУ Шкловский затеял скандал и бросил в Чуковского стулом. После этого между ними произошел обмен письмами. Сначала Шкловский извинился, но позже прислал яростное письмо в котором писал: «Я ненавижу Вас, как остаток старой полулитературы… Давайте, когда встретимся, не узнаем друг друга» (РО РГБ. Ф. 620).

Пеньковский Лев Минаевич (1894–1971), переводчик.

128

У А. Чехова: «…и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

129

Серафима Густавовна *Суок* (1902–1982), младшая из трёх сестер Суок, жена Владимира Нарбута, ее вторым мужем был Н. И. Харджиев. В третьем браке – жена В. Б. Шкловского.

130

Ольга Густавовна *Суок* (1899–1978), художница.

131

Шкловский работал над книгой «Художественная проза: Разборы и анализы» (М.: Сов. писатель, 1959). В окончательном тексте сюжет «Блок и Маяковский» разделился на два самостоятельных, но связанных между собой: в главе «Петербург становится Ленинградом» речь идет больше о Блоке, Маяковский только раз упоминается, а в следующей за ней главе «О Маяковском» лишь один раз упомянут Блок (с. 574–580).

132

Николай Сергеевич *Давиденков* (1915–1950), биолог, литератор, приятель Льва Гумилева. Перед войной в тюремных очередях с ним познакомилась Л. К. Во время войны он был ранен, попал в плен, стал офицером Русской освободительной армии (РОА). В 1943 оказался в Париже. Сотрудничал в газете «Парижский вестник» (1943–1944), писал статьи мемуарного и публицистического характера. Потом был выкраден и возвращен в советский лагерь. Незадолго до смерти ему удалось переслать Л. К. свои стихи.

133

Стихотворение Л. Чуковской: «Я рад, что Вы еще в тепле», – / Мне друг мой написал. / Теперь мой друг лежит в земле / И как мне холодно в тепле – / Когда б он знал…» *(1941)* – посвящено Н. Д., т. е. Николаю Давиденкову.

134

Т. е. Фаддей Булгарин, «герой» эпиграмм Пушкина, имевший репутацию осведомителя.

135

У Герцена: «*Она не тут;* здесь ее нет, – она жива во мне». – Былое и думы. Ч. 5. <Рассказ о семейной драме. После приезда> // Собр. соч.: В 30 т. Т. X, 1956, с. 314.

136

Соломон Абрамович *Рейсер* (1905–1990), некрасовед.

137

Виноградов Виктор Владимирович (1895–1969), академик, лингвист, литературовед.

138

Черняк Яков Захарович (1898–1952), историк литературы, специалист по Герцену.

139

Пузин Николай Павлович (1911–2008), главный хранитель яснополянского музея Льва Толстого.

140

А. И. Герцен. Концы и начала. Гл 38 // *А. И. Герцен.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 16, 1959, с. 140: «…я после долгого скитанья снова встретил человеческое жилье… а не нумер, не людское стойло».

141

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918), предприниматель, меценат.

142

Лиза – Елизавета Николаевна *Купреянова* (1906–1988), литературовед, в годы войны – сотрудница яснополянского музея, вторая жена Ц. С. Вольпе.

143

Вера Васильевна *Смирнова* (1898–1977), критик, жена И. И. Халтурина.

144

Андрей Константинович *Буров* (1900–1957), архитектор, друг Шкловского. – *Примеч. М. А. Фролова.*

145

Зив Ольга Максимовна (1904–1963), писательница.

146

Анна Наумовна *Голодец*, литфондовский врач.

147

Роскина Наталья Александровна (1927–1989), литературовед, мемуаристка, в то время – сотрудница «Литературного наследства».

148

Ланский Леонид Рафаилович (1913–2000), литературовед, сотрудник «Литературного наследства».

149

О С. А. Рейсере см. примеч. 136

150

Строки из стихотворения Б. Пастернака «Памяти Л. Рейснер» (1926). У автора «Не ведай жизнь…»

151

Вера Степановна *Арнольд* (1877–1963), сестра Бориса Житкова.

152

Нина Александровна Арнольд (Исакович), невестка В. С. Арнольд.

153

Моя книга – Лидия Чуковская. Борис Житков: Критико-биографический очерк. М.: Сов. писатель, 1955.

Т. е. к Ольге Всеволодовне Ивинской.

155

Первые главы второй книги «Поднятой целины» опубликованы в пяти выпусках журнала «Огонек» (11 апреля – 6 июня 1954 года).

Т. е. Н. Островского к В. Маяковскому.

157

Строки из стихотворения А. Блока «Посещение» (1910).

158

Зиновий Самойлович *Паперный* (1919–1996), литературовед, критик, пародист.

159

Наталия Иосифовна *Ильина* (1914–1994), публицист, сатирик. В 1920 г. с семьей уехала в Харбин. В 1948 г. репатриировалась в СССР.

160

Бабенчикова – искаженная фамилия Сарры Эммануиловны *Бабенышевой* (1910–2007), критика, преподавательницы Литературного института.

161

Вовочка – сын И. И. Халтурина; *Зая* – дочь И. И. Ивича Софья Игнатьевна Ивич-Богатырева.

162

Евгений Самойлович *Рысс* (1908–1973), публицист, сценарист, соученик Л. К. по Институту истории искусств.

163

25 февраля Н. С. Хрущев выступил на XX съезде КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях».

164

Домбровский Юрий Осипович (1909–1978), писатель, четыре раза был арестован, четвертый раз – Озерлаг (1949–1955). В 1964 г. в «Новом мире» опубликован его роман «Хранитель древностей», автор «Факультета ненужных вещей».

165

Лавренев Борис Андреевич (1891–1959), писатель, драматург.

166

Гурвич-Белоусова Наталья Александровна (1905–2007), искусствовед, до войны – сотрудница Эрмитажа, приятельница Л. К. еще с ленинградских времени.

167

Белых Григорий Георгиевич (1906–1938, умер в заключении), писатель, соавтор Л. Пантелеева по книге «Республика ШКИД». После ареста Г. Белыха книга не переиздавалась, т. к. Л. Пантелеев не соглашался на снятие имени Белыха и хлопотал о его реабилитации.

168

Холопов Георгий Константинович (1914–1990), главный редактор журнала «Звезда» с 1948 г. в течение 34-х лет.

169

Атаров Николай Сергеевич (1907–1978), писатель, в 1955–1956 – главный редактор журнала «Москва».

Серов Владимир Александрович (1910–1968), один из организаторов советского художественного хозяйства (председатель оргкомитета (1957–1960) и первый секретарь (1960–1968) Союза художников СССР, вице-президент (1957–1962) и президент (1962–1968) Академии художеств СССР). В своей творческой и общественной деятельности являлся ярко выраженным представителем официальной гос. идеологии, апологетом метода соц. реализма в его самом догматическом понимании.

171

Сережа – Сергей Константинович Безбородов (1903–1937, расстрелян), полярник, автор книги «На краю света» (1937), выпущенной ленинградской редакцией Детиздата, руководимой С. Я. Маршаком.

172

Речь идет о романе А. Я. Сахнина «Тучи на рассвете», напечатанном в журнале «Знамя» (1954. № 2, 3). В том же году роман вышел в «Роман-газете» (№ 7, 8), в Детгизе и в Гослитиздате. Между тем ссыльная Раиса Семеновна Левина обратилась в суд с заявлением, что она послала в редакцию «Знамени» свой роман, а сотрудник журнала А. Сахнин заимствовал из ее рукописи многие сюжетные ходы, ситуации и отрывки и опубликовал книгу под своим именем. Суд привлек к разбору этой жалобы комиссию Союза писателей, которую возглавил В. А. Рудный. От него автору этих строк известно, что суд постановил обязать Сахнина выплатить Левиной часть гонорара и поставить ее имя, так как, судя по рукописи, представленной Левиной, «Тучи на рассвете» изданы на основе ее труда, хотя Сахнин и переработал текст.

А. Я. Сахнин в 1945 году участвовал в освобождении Маньчжурии и Кореи. В Корее провел более трех лет, после демобилизации в 1948 г. вернулся в Москву, с 1949 г. – сотрудник журнала «Знамя», в 1957 г. – принят в Союз писателей, в 70-е годы, уже после снятия А. Твардовского, работал в «Новом мире». «Тучи на рассвете» переизданы (без имени Левиной) в 1957, 1965, 1968 и 1975 годах. Другие книги А. Сахнина – о подрывной деятельности американского империализма против Чили, против социалистических стран, о польской разведке в ФРГ, а также о подвигах машинистов и подводников.

173

Н. П. Анциферов.

174

Магдалина Зиновьевна *Дальцева* (1907–1984), писательница, жена Н. С. Атарова.

175

Селин Луи-Фердинанд (1894–1961), французский писатель, творчество которого характеризуется мрачным абсурдизмом.

176

Инна Юрьевна *Тынянова* (1917–2004), переводчица, дочь Ю. Н. Тынянова.

177

Рита Яковлевна *Райт* (1898–1988), писательница, переводчица. Л. К. раздражала приверженность Р. Райт к Л. Ю. Брик.

178

У Герцена: «…чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно». – С того берега. II. После грозы. // Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. 1955, с. 46.

179

Петряев Евгений Дмитриевич (1913–1987), библиофил, краевед, военный врач. Его переписка с Л. К. теперь частично опубликована (см.: *А. Рашковский*. Из переписки Евгения Дмитриевича Петряева с Лидией Корнеевной Чуковской // Клубу «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева – 35 лет. Киров, 2009, с. 65–83).

180

М. И. Алигер была одним из редакторов сборников «Литературная Москва», вызвавших негодование и нападки Н. С. Хрущева. В своих «Записках об Анне Ахматовой» Л. К. приводит полный текст ее покаяния на парт. собрании. Алигер, в частности, заявила: «Я, как коммунист, принимающий каждый партийный документ как нечто целиком и беспредельно мое личное и непреложное, могу сейчас без всяких обиняков и оговорок, без всякой ложной боязни уронить чувство собственного достоинства, прямо и твердо сказать товарищам, что все правильно, я действительно совершила те ошибки, о которых говорит тов. Хрущев. Я их совершила, я в них упорствовала, но я их поняла и признала продуманно и сознательно, и вы об этом знаете» (Лит. газета. 1957. 8 окт.)

181

Строка из цикла стихов А. Ахматовой «Северные элегии (Пятая)» (1945). У автора: «меня, как реку, суровая эпоха повернула».

182

Стихи К. И.

183

Вероятно, речь идет о поэме Н. Коржавина «Конец века» (1961).

Корнилов Владимир Николаевич (1928–2002), поэт.

185

Т. е. Веру Васильевну Смирнову, которая была членом редсовета в издательстве «Советский писатель».

186

Лесючевский Николай Васильевич (1908–1978), директор издательства «Советский писатель», причастный к аресту Н. Заболоцкого.

187

В «Новом мире» готовилась публикация воспоминаний Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

188

Белинков Аркадий Викторович (1921–1970), писатель, литертуровед.

189

Эйхман Карл Адольф (1906–1962), немецкий военный преступник.

6 000 000 обвиняют. Речь израильского прокурора на процессе Эйхмана. Иерусалим. Издание информационного отдела Министерства иностранных дел. 1961. (С приложением тринадцати фотографий.)

191

У Герцена: «Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства». – Былое и думы. Ч. 4. Гл. 25 // Собр. соч.: В 30 т. Т. 9, 1956, с. 35.

192

Клара Израилевна *Лозовская* (1924–2011), секретарь К. И. Чуковского.

193

Катя – Екатерина Елиферьевна Лури (1916–1987), племянница Корнея Ивановича.

194

Васильев Петр Васильевич (1899–1975), художник. Васильев жил в Москве в том же доме, что и Чуковский, – в соседнем подъезде. Он зашел к Чуковскому по-соседски, на столе лежала газета с репродукцией его картины «Ленин и Сталин в Разливе. К. И. сказал: «Что это вы рисуете рядом с Лениным Сталина, когда всем известно, что в Разливе Ленин скрывался у Зиновьева». Васильев пошел прямо в ЦК и сообщил об этом разговоре. Корнея Ивановича вызвал Щербаков, топал ногами, матерился. Подробнее об этой истории см. *Корней Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. Т. 13: Дневник. М.: Терра – Книжный клуб, 2013, с. 72, 550.

195

Речь идет о писателе Игнатии Игнатьевиче *Ивиче* (1900–1978).

196

Рассказ «Рычаги» А. Яшина и «Заметки писателя» А. Крона были напечатаны во втором сборнике «Литературная Москва» (1956). В редакцию альманаха входил Э. Г. Казакевич, М. И. Алигер, А. А. Бек, В. А. Каверин и др. Эти произведения вызвали жесткие нападки со стороны Н. С. Хрущева и партийной печати, выпуск альманаха был прекращен, а члены редколлегии вынуждены были каяться.

197

Встреча Хрущева с интеллигенцией 7 марта 1963 года.

198

Наталья Ивановна – *Столярова* (1912–1984), секретарь И. Эренбурга.

199

Любовь Михайловна *Эренбург* (1900–1970), художница, жена И. Г. Эренбурга, сестра Г. М. Козинцева.

200

«7 и 8 марта 1963 года состоялась “Встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства”. На этой встрече Хрущев произнес речь, знаменующую “отбой”: разоблачение сталинских зверств, начатое на XX и XXII съездах партии – прекращено. При этом Хрущев грубо накричал на Илью Эренбурга: как это посмел Эренбург в своих воспоминаниях написать, будто при Сталине все знали о его зверствах, но молчали; нет, истинные большевики не молчали» (*Записки*. Т. 3, с. 364–365. «За сценой», примеч. 24; подробнее об этой встрече Н. С. Хрущева с интеллигенцией см. *А. Солженицын*. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996, с. 71–84).

201

На самом деле автор пьесы – Ф. Шиллер.

Эльвина Сергеевна *Мороз* (р. 1933), редактор отдела прозы издательства «Советский писатель», критик, переводчица.

203

Ждановская диверсия 46 года – постановление ЦК 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». С докладом об этом постановлении выступил А. Жданов.

204

Упомянут Владимир Петрович *Котов* (1928–1976), поэт, прозаик, корреспондент газеты «Комсомольская правда».

205

Аркадий Эммануилович *Мильчин* (1924–2014), инициатор и редактор книги Лидии Чуковской «В лаборатории редактора» в издательстве «Искусство».

Т. В. Иванова (р. 1919), дочь Т. В. Ивановой от первого брака, удочеренная Всеволодом Ивановым. Дубинский Давид Александрович (1920–1960), художник.

207

Борис Иванович *Соловьев* (1904–1976), критик, зам. главного редактора издательства «Советский писатель».

208

Мария Гитмановна *Каплун* (сестра управляющего делами Петроградского Совета рабочих депутатов Б. Г. Каплуна, 1894–1937, расстрелян). Ее муж Ефим Яковлевич *Белицкий* (1895–1940), заведующий отделом управления Петроградского совета, возглавлял издательство «Эпоха», в 1920-е годы был заместителем заведующего Ленгизом.

209

Об этой поедке в крематорий см. запись в дневнике К. И. Чуковского от 3 января 1921 г. (*К. И. Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. Т. 11. М.: Терра-Книжный клуб, 2006, с. 312–314).

210

Клара Гитмановна *Каплун* (1892–1953), сестра Б. Г. Каплуна.

211

Софья Гитмановна *Каплун* (1901–1962), сестра Б. Г. Каплуна. Ее муж – Сергей Дмитриевич *Спасский* (1898–1956), поэт-футурист, потом символист, прозаик, либретист, антропософ. Член русского антропософского общества. Спасские жили в Ленинграде в том же доме на Кирочной, где была квартира Чуковских.

212

Вероника Сергеевна *Спасская* (1933–2001), филолог-испанист, переводчица, дочь С. Д. Спасского и С. Г. Каплун.

213

Копелевы – Лев Зиновьевич Копелев (1912–1997), прозаик, филолог-германист, и его жена Раиса Давыдовна Орлова (1918–1989), писательница, американистка.

Гнедины – Евгений Александрович (1898–1983), дипломат, публицист, диссидент; Надежда Марковна – его жена.

215

Ильичев Леонид Федорович (1906–1990), академик, секретарь ЦК КПСС, председатель идеолгической комиссии.

216

По-видимому, упомянут академик Бонифатий Михайлович *Кедров* (1903–1985), философ, химик, историк науки.

217

Оскар Адольфович *Хавкин* (1912–1993), писатель.

218

Фина – Жозефина Оскаровна *Хавкина* (1943–2013), дочь О. А. Хавкина, с 1964 года помогала Лидии Корнеевне сперва периодически, а потом – в качестве постоянной помощницы.

219

Л. К. подала в суд на издательство, которое сперва одобрило повесть «Софья Петровна», а потом отказалось ее издавать. Подробнее см.: *Лидия Чуковская*. «“Софья Петровна” – лучшая моя книга» // Из дневника. Воспоминания. М.: Время, 2014, с. 215–274.

220

Глоцер Владимир Иосифович (1931–2009), один из секретарей С. Я. Маршака, педагог, историк литературы.

Владимиров Юрий Дмитриевич (1909–1931), поэт.

Демичев Петр Нилович (1918–2010), секретарь ЦК КПСС (1961–1974).

223

Е. В. Вучетич. Внесем ясность. Некоторые мысли по поводу одного юбилейного выступления // Известия. 1965. 14 апр. Вучетич полемизирует со статьей А. Т. Твардовского «По случаю юбилея» («Новый мир» (1965. № 1) и призывает отличать правду факта – частную и мелкую от правды явления – с ее историческим смыслом. Скульптор доказывал, что не всякая правда нужна и защищал право на ее сокрытие и искажение в видах партийной и государственной целесообразности.

224

Глеб Петрович *Струве* (1898–1985), американский литературовед, критик.

225

В августе 1963 г. на квартире у Ю. Г. Оксмана был произведен обыск, изъята часть личной переписки, Самиздат и Тамиздат. Формальным поводом для обыска послужила публикация в «Социалистическом вестнике» (Нью-Йорк) статьи Оксмана «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых». Главным же образом, внимание органов привлекли публичные разоблачительные выступления Оксмана на эту тему перед коллегами и учениками, а также активная переписка и общение с американскими и европейскими учеными-славистами. В октябре 1964 г. он был исключен из Союза писателей, выведен из редколлегий Краткой литературной энциклопедии, «Литературного наследства», серий «Литературные мемуары» и «Литературные памятники», сектора классики Гослитиздата, а впоследствии – уволен из ИМЛИ АН СССР. – *Примеч. М. А. Фролова*.

226

Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905–1965), в 1955–65 гг. заведующий отделом культуры ЦК КПСС, секретарь правления СП СССР.

Ольга Васильевна *Румянцева* – заведующая переделкинской детской библиотекой; Геннадий Матвеевич *Белов* (р. 1926), шофер, работавший у Чуковского.

228

Александр Васильевич *Западов* (1907–1998), литературовед, профессор, в 1962–1984 гг. – заведующий кафедрой редакционно-издательского дела факультета журналистики.

229

Елена Сергеевна *Вентцель* (псевд. И. Грекова, 1907–2002), математик, прозаик, родственница Вигдоровой: мать мужа ее дочери – Саши.

230

66-й Сонет Шекспира в переводе Б. Пастернака: Измучась всем, не стал бы жить и дня, / Да другу трудно будет без меня.

231

Речь идет о первой книге Н. Я. Мандельштам.

232

Строка из стихотворения Анны Ахматовой, написанного в 1953 году на смерть Н. Н. Пунина.

233

Изя – Исаак Абрамович Вигдоров, брат Ф. А. Вигдоровой, *Саша* – ее дочь, Александра Александровна Раскина (р. 1948), лингвист.

Т. е. рукопись Евгении Семеновны Гинзбург «Крутой маршрут».

235

С 1965 г. в Самиздате распространялась запись лекции советского экономиста Абела Гезовича Аганбегяна (р. 1932) «О советской экономике». Впервые опубликована: *А. Г. Аганбегян.* О советской экономике // СССР: внутренние противоречия / Под. ред. В. Чалидзе. Вып. 6. N. Y.: Chalidze Publications, 1982, с. 169–174. – *Примеч. М. А. Фролова.*

236

Нора Галь (Элеонора Яковлевна Гальперина, 1912–1991), переводчик, друг Ф. А. Вигдоровой.

237

Ефим Григорьевич *Эткинд* (1918–1999), филолог, историк литературы, переводчик, теоретик перевода.

238

Давид Яковлевич *Дар* (1910–1980), журналист, писатель.

239

Евгений Борисович *Чуковский* (1937–1997), племянник Л. К.

Митя, Гуля, Тата – дети Н. К. Чуковского.

Инайка – Инна Петровна Бабенышева, *Маша* – внучка Н. К. Чуковского.

242

Вильгельм Вениаминович *Левик* (1906/1907–1982), поэт-переводчик.

243

Симка – Симон Давыдович *Дрейден* (1906–1991), театральный критик, соученик Л. К. по Тенишевскому училищу, *Иника* – домашнее имя Ирины Николаевны Рейнке (1907–1984), сестры Марины Николаевны Чуковской.

244

Виктор Николаевич *Ильин* (1906–1990), оргсекретарь правления Московской писательской организации. Генерал КГБ.

245

Росляков Василий Петрович (1921–1991), прозаик, заведующий отделом прозы издательства «Советский писатель».

Френкель Виктор Яковлевич (1920–1997), физик, историк науки, один из биографов М. П. Бронштейна.

247

Дмитрий Еремин. Перевертыши // Известия. 1966. 13 янв. Автор обличает Синявского и Даниэля и утверждает: «на многое замахивается взбесившийся антисоветчик: по существу это провокационный призыв к террору».

248

«В феврале 1957 г. в прессе началась систематическая травля альманаха «Литературная Москва». 5 марта в «Литературной Газете» появилась угрожающая статья Д. Еремина. В тот же день открылся пленум правления Московского отделения Союза Писателей, длившийся несколько дней; на пленуме обсуждались оба тома альманаха. В защиту выступили Ф. Вигдорова, А. Турков, С. Кирсанов, Л. Кабо, Е. Евтушенко, Г. Фиш. Из членов редколлегии – М. Алигер и В. Каверин. Среди других выступила и я. Помню, говорила я тогда о стихах Акима, Заболоцкого, Юлии Нейман и Цветаевой» (*Записки*. Т. 2, с. 731–732. «За сценой», примеч. 147).

249

Строка из стихотворения М. Цветаевой «Белое солнце и низкие, низкие, низкие тучи…» (1916). У автора: «Ох, и поют же нынче солдаты…».

250

Письмо в редакцию газеты «Известия» подписано Владимиром Корниловым и Лидией Чуковской и датировано 23 января 1966 г. Авторы возражают против статьи Еремина и утверждают: «Статья Дм. Еремина – это и есть на наш взгляд, попытка противозаконного воздействия на суд и на общественное мнение накануне процесса… Мы протестуем против статьи Дм. Еремина как против замаскированного беззакония» (Сб.: Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М.: Книга, 1989, с. 36–37).

251

Речь идет о таком утверждении в письме: «…напечатание статьи Дм. Еремина противоречит смыслу нашего законодательства. В 1964 году, в номере 287 тех же “Известий”, была опубликована статья А. Ф. Горкина. Председатель Верховного суда СССР настойчиво предлагал газетам воздерживаться от опубликования высказываний “в которых до рассмотрения дела в суде уже признается виновность тех или иных лиц”. А. Ф. Горкин квалифицировал подобные высказывания как попытки давить на суд» (там же, с. 37).

252

Кома – домашнее имя Вячеслава Всеволодовича Иванова (р. 1929), филолога, лингвиста, переводчика.

253

Некрич Александр Моисеевич (1920–1993), историк, автор книги «1941, 22 июня» (М.: Наука, 1965). Автор писал о слабой подготовленности Советского Союза ко Второй мировой войне. Его концепция начала и причин Отечественной войны резко расходилась с официальной. Обсуждение книги в ИМЭЛе (Институт Маркса – Энгельса – Ленина) состоялось 16 февраля 1966 г. В официальной государственной исторической науке вокруг книги завязалась острая полемика, которая закончилась запрещением книги, частичным уничтожением экземпляров в библиотеках и исключением автора из КПСС. Сама книга стала распространяться в Самиздате. В 1975 г. Некрич эмигрировал в США.

Деборин Абрам Моисеевич (1881–1963), академик, философ-марксист, организатор ИМЭЛ, один из самых одиозных представителей советской философской науки.

Лидия Чуковская. «Былое и думы» Герцена. М.:, 1966.

256

Константин Васильевич *Воронков* (1911–1984), в 1959–1979 гг. секретарь правления СП СССР.

Эти записи Л. К. даны в Приложении.

258

С 29 марта по 8 апреля в Москве проходил XXIII съезд компартии Советского Союза.

259

См.: Литературное наследство. Т. 72: Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М.: Наука, 1965.

260

Мария Васильевна *Розанова* (р. 1929), литератор, издатель.

261

Толя – Анатолий Генрихович *Найман* (р. 1936), поэт, прозаик, переводчик, в последние годы жизни Анны Ахматовой исполнял обязанности ее секретаря.

262

Аня – Анна Генриховна *Каминская* (р. 1939), дочь Ирины Николаевны Пуниной (1921–2003).

263

Ника Николаевна *Глен* (1928–2005), переводчица, в 1958–1963 гг. литературный секретарь Анны Ахматовой.

264

Письмо Шолохову о его выступлении на съезде против Синявского и Даниэля.

265

Перефразирована первая строка стихотворения Анны Ахматовой: «Там тень моя осталась и тоскует…».

В 1965 г. повесть под измененным названием «Опустелый дом» опубликована в Париже в издательстве «Пять континентов», а в 1966 г. под авторским названием в «Новом журнале» (Нью-Йорк), № 83 (с. 5–45) и № 84 (с. 5–46).

267

Речь идет о похоронах Вигдоровой.

268

Нора Яколевна Галь и Раиса Ефимовна Облонская – друзья Ф. А. Вигдоровой.

269

Лев Николаевич Гумилев (1912–1992), историк-этолог, сын А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева.

Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Сост. А. Гинзбург. Изд-во: Посев, 1967.

В письме от 16.11.66 Давид Яковлевич Дар пишет: «Я потрясен мужеством, чистотой и обаянием личности Вигдоровой. Я потрясен силой, цельностью, страстностью личности автора, его любви, его ненависти, его сарказма, его нежности. При всем своем (моем) недоверии к истории, к социальному, к гражданственности (я вижу в них проявление стадности и духовной зависимости) я совершенно сражен пронзающей силой, точностью, яркостью (при поразительном лаконизме) созданной Вами картины времени – я имею в виду тот конкретно-исторический фон, на котором написан портрет героини и раскрывается автопортрет автора…

В моем читательском представлении Ваша рукопись должна получить высшую оценку и на суде совести, и на суде слова. Отбор и сочетание слов у Вас такие, какие могут быть продиктованы только подлинной любовью, подлинной страстью, т. е. Вам удалось сделать самое большое, что может сделать художник: «Не заглушить голоса жизни, звучащие в нас».

Горячо завидую Вашему счастливому дару общения. Счастлив, что в русской литературе появилось еще одно произведение, продолжающее самое главное, что, на мой взгляд, дала русская литература человечеству: утверждение, что физиологическое одиночество человека преодолимо силой духа и нравственности (бога?). Ваше произведение (хотя Вы об этом явно не думали) полемизирует с материалистически-экзесционалистским ощущением безысходности человеческого одиночества, отсутствия подлинных контактов, трагедии разобщенности.

И еще одно: думаю, что дилемма Цветаевой: суд совести и суд слова – не верна. Думаю, что искусство, это единственное практически возможное в жизни проявление совести. Думаю, что в реальной жизни жить целиком по совести: не насиловать, не убивать, не приносить зла другому – невозможно. Абсолютное и всеобщее добро противоречит законам логики и разума. Потому-то человечеству и нужно искусство, что это негаснущий в веках фонарь, который всегда напоминает об абсолютном добре. Только в искусстве в полной мере осуществляются те законы нравственности, которые Кант назвал категорическим императивом. Только благодаря искусству и религии, где царят не законы разума и логики, а законы мечты и воображения, т. е. веры, человеческое общество отличается от стада животных. Ибо человек отличается от животного, как мне кажется,

не разумом (т. к. в каких-то пределах разумом и способностью мыслить обладают и животные) а только воображением, мечтой, идеалом, т. е. – искусством – единственным средством, способным обуздать естественную природную чувственность человека, которая сама по себе, как и вся природа, вне нравственна и направлена на достижение ПОБЕДЫ В БОРЬБЕ за существование. Поэтому, я считаю, что труд художника, это наиболее ЧЕЛОВЕЧНЫЙ и НУЖНЫЙ человечеству труд.

Быть может, поэтому во все времена в человеческом обществе существуют две власти: власть людей действия, практики, власть безнравственная, но без которой общество не могло бы совершать всего того, что оно совершает. И двигаться вперед (в некоторых отношениях) тоже не могло бы. И другая власть – власть художников, людей мечты, идеала, воображения, власть нравственная, практически бесполезная, но без которой человеческое общество превратилось бы в отлично организованное стадо разумных животных. Поэтому власти Сталина должна была противостоять власть Цветаевой, власти Кеннеди – власть Стейнбека, власти Наполеона – власть Гете. Только благодаря этой гармонии человечество и движется вперед (наука, техника) и в то же время не превращается в стадо.

Поэтому мне было чрезвычайно интересно то, как Вы ответили на вопрос о том, что сломило Вигдорову. Невозможность совместить художничества, т. е. служения людям средствами мечты, воображения, идеала, с практической деятельностью, т. е. служением людям средствами активных поступков…

И не смейтесь надо мной за мою восторженность, и не обвиняйте меня в чрезмерности и преувеличениях моих оценок. Ведь я, к счастью, не критик, т. е. не оценщик, т. е. не дегустатор, и не обязан сверять свои чувства и впечатления с чувствами и впечатлениями других, и отвечаю только за себя одного» (РГАЛИ. Ф. 3390. Оп. 1. Ед. хр. 377. Лл. 37–41).

Ефим Семенович *Добин* (1901–1977), литературовед.

Друян Борис Григорьевич (р. 1936), редактор сборника Анны Ахматовой, который готовился в Лениздате.

Издательство самовольно заменило авторское название повести «Софья Петровна».

Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), академик, филолог, исследователь творчества Анны Ахматовой.

Измайлов Николай Васильевич (1893–1981), заведующий рукописным отделом Пушкинского Дома.

277

Сутырин Владимир Андреевич (1902–1985), секретарь парткома Московского отделения Союза писателей.

278

А. Ахматова говорила о Б. Пастернаке: «Борис провалился в себя». *Записки*. Т. 2, с. 321–325 (запись от 29 октября 1958 г.).

В это время помощником Л. К. был Александр Львович Осповат.

А. Белкин. Книга о Герцене // Новый мир. 1966. № 12, с. 246–249.

281

В химическом институте, где я работала (ИНЭОС АН СССР) произошел пожар. Выгорела большая часть здания.

282

Исаак Яковлевич *Иткинд* (1871–1969), скульптор.

Р. Д. Орлова.

Орлов Владимир Николаевич (1908–1985), литературовед, главный редактор Большой серии Библиотеки поэта.

Л. К. составляла Антологию детской поэзии совместно с Софьей Игнатьевной Ивич-Богатыревой.

286

Речь идет о первом посмертном сборнике Анны Ахматовой, который готовился в Лениздате.

287

Суд между Л. Н. Гумилевым и И. Н. Пуниной из-за судьбы ахматовского архива.

Перечислены Э. Г. Герштейн, Н. И. Харджиев и Н. Я. Мандельштам.

289

Савич Овидий Герцевич (1896–1967), поэт, прозаик, друг И. Эренбурга.

290

Гриша – Григорий Давыдович *Дрейден* (1907–1971), соученик Л. К. по Тенишевскому училищу.

291

Любовь Давыдовна *Большинцова* (1908–1983), переводчица, в первом браке жена В. И. Стенича, приятельница Анны Ахматовой.

Виленкин Виталий Яковлевич (19911–1997), театровед, переводчик, исследователь творчества Анны Ахматовой.

«Опустелый дом» *(англ.)*.

А. Вознесенский вспоминает: «А. Солженицын обратился к IV съезду писателей с письмом против цензуры, некоторые писатели, такие, как Г. Владимов и В. Конецкий, написали письма в поддержку Солженицына съезду. Послал свое письмо и я.

Местью чиновников из Союза писателей стал запрет на мою поездку в США, на выступление в Линкольн-центре по приглашению издателей и Р. Кеннеди… Запрещение пришло, когда вечер отменять было поздно, билеты были проданы. Я написал письмо-протест в «Правду». Понимал, что его не напечатают, но все же хотелось высказаться, хоть какой-то гласности хотелось…Читаем:

"…Почти неделя как я живу в обстановке шантажа, неразберихи, провокаций… 16 июня я получил официальное уведомление из Союза писателей, что моя поездка для выступления в Нью-Йорке 21 июня на Фестивале искусств нецелесообразна…

Дело не во мне, дело в судьбах советской литературы, в ее чести, в ее мировом престиже. До каких пор мы сами себя будем обливать помоями? До каких пор подобные методы будут продолжаться в Союзе писателей?

Видно, руководство Союза не считает писателей за людей. Подобная практика лжи, уверток, сталкивания лбами обычна. Так обращаются со многими моими товарищами. Письма к нам не доходят, порой на них за нас отвечают другие. Прямо хамящие хамелеоны какие-то! Кругом ложь, ложь, ложь, бесцеремонность и ложь. Мне стыдно, что я состою в одном Союзе с такими людьми…"

Письмо пошло гулять по Москве самиздатом… Один из западных корреспондентов вывез письмо. Письмо перепечатали «Монд», «Нью-Йорк таймс» и другие газеты» (*А. Вознесенский*. На виртуальном ветру. М.: Вагриус, 2006, с. 267–268. Серия: Мой XX век).

295

«Рычаги» – название рассказа А. Яшина, опубликованного в «Литературной Москве» (М.: ГИХЛ. Сб. 2, с. 502–513). Рассказ вызвал негодование партийной печати. В рассказе описано собрание в колхозе, выступления, как пишут резолюцию, чтобы понравилось в райкоме. После собрания люди расходятся: «И снова это были чистые, сердечные, прямые люди, а не рычаги».

296

Упомянуты Антонина Петровна и Юлиан Григорьевич Оксманы. Их письма о «Записках…» теперь напечатаны. См.: «Сколько людей! – И все живые» (Отзывы о «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской) // Знамя. 2005. № 8, с. 147–148.

297

Аманда *Хейт* (1941–1989), английская исследовательница творчества Анны Ахматовой, автор ее первой биографии, вышедшей в 1976 году в издательстве Оксфордского университета.

298

Упомянута опубликованная глава из неоконченной книги о Герцене: *Лидия Чуковская*. Начало // Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М.: Мол. гвардия. Т. 3. 1967, с. 13–119.

299

Эльсберг Яков Ефимович (1901–1976), историк литературы, считается, что он является автором множества доносов на своих коллег (например на И. Э. Бабеля, С. А. Макашина и др.). Репутация его была настолько одиозна, что статья в Краткой литэнциклопедии о нем опубликована с подписью «Г. П. Уткин», с намеком на учреждение, с которым он сотрудничал.

Т. е. рукопись первого тома «Записок об Анне Ахматовой».

301

Письмо к Алигер превратилось в статью Лидии Чуковской «Не казнь, но мысль. Но слово».

302

Упомянута поэма «Исповедь (Свидетельствую сам)» Сергея Васильевича *Смирнова* (1912–1993).

303

Речь идет о суде над Ю. Т. Галансковым, А. И. Гинзбургом, В. И. Лашковой и А. А. Добровольским в январе 1968 года. В. Буковский, который в это время уже был в заключении, на страницах своей книги «И возвращается ветер…» (с. 228–229) передает обстановку «процесса четырех» и приводит выдержки из обращения П. Литвинова и Л. Богораз: «Граждане нашей страны! Этот процесс – пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас… Сегодня в опасности не только судьба подсудимых – процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов…» Подробнее см. сб.: Процесс четырех / Сост. и коммент. Павла Литвинова (Амстердам: Фонд имени Герцена, 1971), а также: Мое последнее слово. Речи подсудимых на судебных процессах 1966–1974 (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974).

304

Намек на присутствие в зале сотрудников КГБ, председателем которого в эти годы был Ю. В. Андропов.

невеста Гинзбурга – Арина Сергеевна Жолковская-Гинзбург.

306

Рожанский Иван Дмитриевич (1913–1994), историк античной философии, записал на магнитофон голоса Галича, Бродского, Ахматовой.

307

О требованиях начальства Академии см. запись от 27 октября 1967 г.

308

Наталья *Горбаневская* (1936–2013), поэт, правозащитница, участница демонстрации на Красной площади против вторжения в Чехословакию.

309

Наталья *Горбаневская* (1936–2013), поэт, правозащитница, участница демонстрации на Красной площади против вторжения в Чехословакию.

310

Речь идет о Павле Литвинове.

311

22 марта 1968 г. Антонин *Новотный* (1904–1975) президент Чехословакии с 1957 года ушел в отставку. Как шутили тогда «Новотный дал Дубчека». В марте 1968 г. в Польше проходили студенческие волнения. 19 марта В. Гомулка, 1-й секретарь ЦК ПОРП выступил перед варшавским активом партии с речью, в которой, в частности заявил: «Евреи, которым Израиль дороже чем Польша, должны покинуть нашу страну». Это положило начало антисемитской кампании.

Сашенька – Саша Раскина, дочь Ф. А. Вигдоровой.

313

«Ключами» Л. К. называла свои выписки об Ахматовой из общего дневника (записи об Ахматовой она делала и в отдельных тетрадях).

314

Иннокентий – персонаж из романа А. Солженицына «В круге первом».

315

В своей книге «Неостывшая память» (СПб.: Геликон Плюс, 2013) Б. Г. Друян подробно рассказал о скандале из-за книги Горбовского, которую он редактировал (см. главу «Неостывшая память, с. 181–191).

С. Э. Бабенышева.

317

Упомянута статья Л. Чуковской «Станет ли рукопись книгой?» (Лит. газета, 1962, 13 марта, с. 3; 15 марта, с. 3).

А. И. Любарская, гостившая у Л. К.

319

Хренков Дмитрий Терентьевич (1918–2002), критик, главный редактор Лениздата.

В. Лакшин. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» // Новый мир. 1968. № 6.

321

Это и предыдущее четверостишия из «Поэмы лестницы» М. Цветаевой (1926).

322

Строки из стихотворения М. Цветаевой «Без зова, без слова…» (1921).

323

Толстиков Василий Сергеевич (1917–2003), первый секретарь ленинградского обкома КПСС.

324

Речь идет о суде над Павлом Литвиновым, Н. Горбаневской и другими участниками демонстрации на Красной площади против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Цитируется письмо Герцена Тургеневу от 29 марта (10 апреля) 1864 г. // Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Кн. 2, 1963, с. 455.

325

Выходцев Петр Созонтович (1923–1994), литературовед, критик, в 1962–1974 гг. был профессором и заведующим кафедрой советской литературы в Ленинградском университете.

326

Роман А. Б. Чаковского «Блокада» печатался в журнале «Знамя» (1968. № 10–12).

Е. Добин. Поэзия Анны Ахматовой. Л.: Советский писатель, 1968.

Анна Ахматова. Одиннадцать стихотворений // День поэзии. Л., 1968, с. 179–183.

329

Дочь М. С. Петровых Арина Витальевна Головачева.

330

Речь идет о публикации начальных глав романа М. А. Шолохова «Они сражались за Родину» в газете «Правда» (12–15 марта 1969 г.).

331

Строки из «Поэмы без героя» А. Ахматовой.

332

Вера Васильевна *Шитова* (1927–2002), театральный критик. Ленина Александровна *Зонина* (1922–1985), переводчица, близкий друг Жана-Поля Сартра.

333

Строки Анны Ахматовой из стихотворения «Не лирою влюбленного…»

334

В. М. Жирмунский. Анна Ахматова. Из литературного наследия. Неопубликованные стихи разных лет / Вступит. ст. В. М. Жирмунского // Юность. 1969. № 6, с. 65–67.

335

Американский славист, профессор Франклин *Рив* (1928–2013), спутник Фроста во время его пребывания в России и автор книги об этой поездке «Роберт Фрост в России» приехал к Чуковскому в Переделкино с женой и тремя маленькими детьми. Жена Рива – Елена писала диссертацию о Н. А. Некрасове и хотела обсудить ее с Чуковским. Однако не успели гости начать разговор, как явились представители милиции, заставили их сесть в машину и уехать из Переделкина.

Имеется в виду вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию 21 августа 1968 года.

337

Кузнецов Анатолий Васильевич (1923–1979), писатель, в июле 1969 г. выехал для сбора материалов в Англию, там попросил политического убежища и стал невозвращенцем; Аркадий Викторович *Белинков* выехал в 1968 г. для чтения лекций в Венгрию, оттуда через Югославию бежал на Запад и тоже стал невозвращенцем.

338

Поэт Борис Абрамович *Слуцкий* (1919–1986) входил в редколлегию ежегодного альманаха «День поэзии».

339

Надежда Августиновна Надеждина (1905–1992), поэт, прозаик, узница мордовского лагеря.

Упомянута статья Ю. П. Германа «Рукописи не возвращаются…», опубликованная в «Литературной газете» от 9 июля 1955 г. и посвященная работе редакторов, в которой дана высокая оценка работе маршаковской редакции.

Элик – домашнее имя Имманюэля Самуиловича Маршака.

342

Анатолий *Якобсон* (1935–1978), историк литературы, правозащитник.

343

Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Нам не дано предугадать…» (1869).

344

Слова К. Чуковского, сказанные в больнице за два дня до смерти.

345

См.: Корней Чуковский – Лидия Чуковская. Переписка. 1912–1969. М.: НЛО, 2003, с. 341–343.

346

Н. А. Роскина прочла в рукописи второго тома «Записок об Анне Ахматовой», что Анна Андреевна иногда называла ее «Наташа плохая».

Т. е. Н. А. Заболоцкий.

348

Речь идет о повести Н. Баранской «Неделя как неделя» (Новый мир. 1969. № 11).

349

Слова И. В. Сталина, сказанные им на совещании комбайнеров в 1935 г., А. Т. Твардовский взял в качестве названия одной из глав поэмы «По праву памяти» (1966–1969).

350

А. Д. Сахаров так писал о Викторе Луи (1928–1992): «Виктор Луи – гражданин СССР и корреспондент английской газеты (беспрецедентное сочетание), активный и многолетний агент КГБ, выполняющий самые деликатные и провокационные поручения» (Воспоминания. Гл. 19).

Т. е. с В. А. Кавериным.

352

Хлопоты в защиту А. Т. Твардовского и против его снятия с поста главного редактора журнала «Новый мир».

353

Большов Дмитрий Григорьевич (1925–1974), журналист, после снятия Твардовского в 1970–1972 году – первый заместитель главного редактора журнал «Новый мир».

354

Твардовский был обижен на Солженицына за то, что Александр Исаевич не показал ему свое «Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР» от 12 ноября 1969 г., написанное после того, как в начале ноября его исключили из Союза (это письмо см.: *А. Солженицын.* Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. Приложение 13. с. 628–629).

355

Косолапов Валерий Алексеевич (1910–1982), новый главный редактор «Нового мира», назначенный вместо Твардовского.

Упомянут III съезд писателей РСФСР.

357

«Новый мир» при А. Т. Твардовском сравнивали с некрасовским «Современником».

358

Речь идет о Д. С. Лихачеве.

359

Речь идет о «Философии общего дела» (Т. 1, 1906; Т. 2, 1913) русского философа Николая Федоровича *Федорова* (1829–1903). Фёдоров ставил целью «всеобщее возвращение жизни, всеобщее воскрешение» всех наших предков, всех когда-либо живших людей. Всякий человек живёт за счёт смерти своих предков, живёт, вытесняя их, и это делает каждое поколение виновным в смерти предшествующего, делает нас преступными; этот счёт должен быть оплачен.

360

Жорес Александрович Медведев написал одну из первых книг о деле академика Н. И. Вавилова. Книга под первоначальным названием «Биологическая наука и культ личности» широко ходила в Самиздате.

361

Слова А. Блока из стихотворения «О, я хочу безумно жить…» (1914).

362

Александр Блок. Дневник. Запись от 14 апреля 1917 г.

363

Инна Иналовна *Кашежева* (1944–2000), поэтесса, на её стихи написано много популярных песен, которые исполняли известные артисты эстрады: Эдуард Хиль, Майя Кристалинская. Представительница так называемой «эстрадной поэзии» шестидесятников.

Сартаков Сергей Венедиктович (1908–2005), секретарь правления СП СССР (1967–1986).

Речь идет о «Второй книге» Н. Я. Мандельштам.

366

Татьяна Максимовна *Литвинова* (1918–2000), переводчица, художница, близкий друг К. И. Чуковского.

Ольга Васильевна *Румянцева*, заведующая переделкинской детской библиотекой им. К. Чуковского.

Межиров Александр Петрович (1923–2009), поэт, переводчик.

369

Яхонтов Владимир Николаевич (1899–1945), мастер художественного слова, артист эстрады.

370

У автора: «Я только раз *видала* рукопашный, / Раз наяву. И тысячу – во сне…».

371

Строки из стихотворения Анны Ахматовой «В разбитом зеркале» (1956). У Ахматовой последняя строка «… Как над пылающею бездной».

Зубатовщина – принятое в литературе название созданной в России в начале XX века системы действовавших под опекой охранки легальных рабочих организаций.

373

Строка из поэмы Бориса Пастернака «Девятьсот пятый год» (Гл. «Отцы», 1926).

«Хроника текущих событий», первый в СССР неподцензурный правозащитный информационный бюллетень. Распространялся в Самиздате.

375

Речь идет о рукописи первого тома «Записок об Анне Ахматовой».

376

Имеется в виду поэма Д. Самойлова «Последние каникулы», где Межиров выведен под фамилией Мерзилов. – *Сообщено Г. Медведевой.*

377

Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001), критик, литературовед, публицист, находящийся на национально-патриотических позициях.

378

Строки из стихотворения А. Межирова «Заречье» (1968).

379

Нина Александровна *Жирмунская* (1919–1991), жена В. М. Жирмунского.

380

Публикация Ахматовой в «Дне поэзии» – см.: «De Profundis… Мое поколение…» // День поэзии / Публикация В. Жирмунского. М., 1971, с. 155–156.

381

Лидия Жукова была соавтором Лидии Чуковской по книге «Слово предоставляется детям» (Ташкент, 1942).

382

«Второй круг» травли М. Зощенко начался после его (и А. Ахматовой) встречи с английскими студентами в 1954 г. Подробнее см. *Записки*. Т. 2, с. 93–94.

383

Неточная цитата из рассказа А. П. Чехова «Ночь перед судом» (1884). У Чехова: «Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное».

Якир Петр Ионович (1923–1982), диссидент, сын командарма, расстрелянного в 1937 году; провел много лет в заключении как член семьи врага народа.

См.: *Д. Самойлов.* Книга о русской рифме. М.: Время, 2005.

386

Слова А. Пушкина в письме к П. Вяземскому (май, 1824).

Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, драматург, теоретик и историк театра.

388

Таня *Ткаченко*, соученица Л. К. по Тенишевскому училищу. Фотография детей – участников этого спектакля вместе с К. Чуковским и Ю. Анненковым сохранилась в архиве Л. К.

389

В те годы соученик Л. К. по Тенишевскому училищу. Впоследствии известный сценарист, кинорежиссер Александр Григорьевич *Зархи* (1908–1997).

390

Джорж *Оруэлл* (1903–1950), английский писатель, публицист, автор известных антиутопий «Скотный двор» и «1984». Его произведения переведены на 60 языков.

391

Строка из стихотворения А. Ахматовой «Еще весна таинственная млела…» (1917).

392

Строка из стихотворения А. Блока «Всю жизнь ждала. Устала ждать…» (1908).

393

Строки из стихотворения Анны Ахматовой «О, жизнь без завтрашнего дня!..» (1921). У автора последняя строка «… В истоме влажной целовать».

394

В своих воспоминаниях Сахаров пишет, как весной и летом 1972 года он и Е. Г. Боннэр проводили сбор подписей под обращениями в Верховный совет СССР об отмене смертной казни и об амнистии. Оба обращения среди других подписала и Л. К. Чуковская (см. *А. Д. Сахаров*. Воспоминания. [2]. М.: Время, 2006, с. 57–62. Дополнения, с. 691–693).

395

См.: Литературное наследство. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. М.: Наука, 1971. Т. 83.

396

А. Пушкин. Вакхическая песня (1825).

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), государственный деятель, обер-прокурор синода.

398

Лидия Чуковская. Спуск под воду. Перевод с русского Питер М. Вестон. Лондон: Барри и Дженкинс. 1972.

399

В журнале «Семья и школа» готовилось издание глав из «Памяти детства». Полностью эти воспоминания Л. К. о детстве в Куоккале должны были войти в сборник «Жизнь и творчество Корнея Чуковского», который готовился к печати в Детгизе.

400

Слух оказался ложным.

401

Иванова Любовь Михайловна (1914–1974), главный редактор журнала «Семья и школа».

Стрехнин Юрий Федорович (1912–1996), секретарь московской организации Союза писателей РСФСР.

403

Григоренко Петр Григорьевич (1907–1987), генерал-майор, правозащитник.

Амальрик Андрей Алексеевич (1938–1980), писатель, общественный деятель, диссидент, автор эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»

405

Упомянут «Документ Комитета № 2. Заявление Комитета прав Человека». Осуждение решения Международного съезда психотерапевтов в Осло, отказавшегося высказаться по поводу практики психиатрических госпитализаций по политическим мотивам в СССР и странах Восточной Европы. 9 июля 1973 г. *А. Д. Сахаров, И. Р. Шафаревич, Г. С. Подъяпольский.*

Упомянут А. И. Семенов.

407

Речь идет о письме А. И. Солженицына от 15 сентября 1973 г. См.: «Слово “Самиздат” пишется с большой буквы: Из переписки Александра Солженицына и Лидии Чуковской» // Солженицынские тетради. Вып. 2. М.: Русский путь, 2013, с. 79.

408

Виноградов Иван Матвеевич (1891–1983), академик, директор Математического института им. Стеклова; *Келдыш* Мстислав Всеволодович (1911–1978), математик, механик, в 1961–1975 гг. Президент Академии наук СССР.

409

См.: *Лидия Чуковская*. Гнев народа: Открытое письмо // Новое русское слово (Нью-Йорк), 1973, 7 окт., с. 2.

Т. е. М. Л. Лозинским.

411

Когда готовилось издание сборника воспоминаний о Б. С. Житкове в Детгизе и Л. К., и К. И. написали для сборника статьи. Статью Л. К. составитель хотел исключить, тогда К. И. заявил, что снимет и свою. В результате были напечатаны обе работы (см.: *Л. Чуковская*. Борис Житков и его рассказы для подростков; *К. Чуковский*. Детство // Жизнь и творчество Б. С. Житкова. Детгиз, 1955).

«О, жизнь без завтрашнего дня!..» (1921).

413

Строка из стихотворения Анны Ахматовой «Небо мелкий дождик сеет…» (1916).

414

Строки из стихотворений О. Мандельштама «С миром державным я был лишь младенчески связан…» (1931) и «Ленинград» (1930).

415

У Б. Пастернака «Чтоб тайная струя страданья / Согрела холод бытия». Из стихотворения «Земля» («Доктор Живаго»).

416

Стихотворение Б. Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник…» (1928).

417

Твердохлебов Андрей Николаевич (1940–2011), физик, правозащитник.

418

М. б. описка у Л. К и речь идет о Миколе Руденко (1920–2004), украинском писателе, диссиденте.

419

Турчин Валентин Федорович (1931–2010), физик, кибернетик, председатель Советской секции «Международная амнистия».

420

Tale Without a Hero and Twenty-Two Poems by Anna Akhmatova, edited by Jeanne van der Eng-Liedmeier and Kees Verheul. Mouton, 1973. В книге без указания на источник и без ведома Л. К. опубликована авторская рукопись одного из первых вариантов «Поэмы без героя» (1942). На первой странице рукописи надпись: «Дарю эту тетрадь моему дорогому другу Л. К. Ч. с любовью и благодарностью. Ахматова». Вся рукопись вместе с первым листом с дарственной надписью воспроизведена в «Записках об Анне Ахматовой» (Т. 1: 1938–1941. М.: Согласие, 1997, между с. 480, 481).

421

Прийма Юрий Федорович (1903–1993), в 1975–1977 гг. исполнял обязанности директора Пушкинского Дома в Ленинграде, возглавлял серию «Библиотека поэта».

Юнга – так Л. К. называла Мишу Кралина, молодого ахматоведа, имевшего доступ к архиву Ахматовой.

423

Первоначальное название книги Л. К. «Дом поэта».

424

Речь идет о статье А. Якобсона «Царственное слово», опубликованной впервые в 1973 г. Издательством им. Чехова (Нью-Йорк). См. также: *Анатолий Якобсон*. Конец трагедии. Вильнюс – М.: Весть, 1992, с. 198.

425

от тетки… – после высылки А. И. Солженицына из страны я посылала деньги и переписывалась с его старенькой тетей Ириной Ивановной Щербак (1890?–1980), жившей на Кавказе в Георгиевске. И. И. Щербак – жена брата матери А. И. Солженицына.

Л. К. упоминает открытое письмо А. Солженицына «Вот как мы живем», опубликованное 17 июня 1970 г. в газете «The New York Times». См. также: *А. Солженицын*. Публицистика: В 3 т. Т. 2, с. 39.

Мария Сергеевна – Петровых. Упомянуты воспоминания М. И. Алигер об Анне Ахматовой (журнал «Москва». 1974. № 12).

Сомов Виталий Сергеевич, директор издательства «Художественная литература».

429

Строки из стихотворения А. Галича «Памяти Пастернака» (1966). У Галича: «А над гробом встали мародеры…»

Таничка – Татьяна Ивановна *Янкелевич* (р. 1950), дочь Е. Г. Боннэр.

431

9–12 декабря 1975 г. в Вильнюсе проходил процесс по делу С. А. Ковалева. А. Д. Сахаров, собиравшийся выступить свиделетем защиты, не был допущен в зал заседаний. Суд приговорил С. А. Ковалева к 7 годам лагерей строгого режима со ссылкой на 3 года.

Т. е. С. Э. Бабенышева.

433

Андрей Михайлович *Финкельштейн* (1942–2011), астрофизик.

434

Строки из стихотворения Анны Ахматовой «Пятнадцатилетние руки…» (1940).

435

Т. е. Т. 1 «Записок об Анне Ахматовой», вышедший в издательстве «YMCA-Press» (1976).

Цивьян Татьяна Владимировна (р. 1937). профессор, филолог.

437

Вероятно имеется ввиду статья: *Г. Адамович*. Мои встречи с Анной Ахматовой. Воздушные пути. 1967. Вып. V. с. 99–114.

438

Т. е. том стихотворений Анны Ахматовой, выпущенный в серии «Библиотека поэта». Вступительная статья А. А. Суркова. Составление, подготовка текста и примечания В. М. Жирмунского (Л.: Сов. писатель, 1976).

Т. е. от Е. Г. Эткинда, которого Л. К. называла квартуполномоченным, т. к. он был уполномочен ею представлять за границей ее издательские интересы.

Банниковское издание см.: *Анна Ахматова*. Избранное: Стихи / Сост. и вступит. ст. Н. Банникова. М.: Худож. лит., 1974.

Памяти Анны Ахматовой. Париж: YMCA-Press, 1974.

Под общей редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова с их вступительными статьями и примечаниями за границей выходили Сочинения Анны Ахматовой в 3-х томах (1965–1983).

443

Скрытая цитата из стихотворения Анны Ахматовой, посвященного Т. Вечесловой, «Надпись на портрете» (1946). Строка: «И такая на кровавом блюде / Голову Крестителя несла».

Стефан *Вышинский* (1901–1981), польский кардинал архиепископ – митрополит Варшавско-Гнезненский, примас Польши. Вышинский олицетворял способность церкви противостоять атеистической власти.

Упомянут А. И. Солженицын.

446

Ефрем Владимирович *Янкелевич* (1950–2009), правозащитник, зять Е. Г. Боннэр.

Подробнее см.: *А. Д. Сахаров.* Собр. соч.: В 8 т. Воспоминания [2]. М.: Время, 2006. Гл. 38: Евгений Брунов и Яковлев, с. 255–261.

448

А. Исаев. Новый фарс господина Сахарова: перев. с англ.: [заявл. ТАСС от 2 марта 1977 г.].

449

Руфь Григорьевна *Боннэр* (1900–1987), теща А. Д. Сахарова.

Татьяна Ивановна *Янкелевич*, дочь Е. Г. Боннэр.

прошу прощения (*франц.*).

Цявловский Мстислав Александрович (1883–1947), пушкинист; *Тименчик* Роман Давыдович (р. 1945), ахматовед, историк литературы.

453

Речь идет о книге: *Amanda Haight*. Anna Akhmatova. A Poetic Pilgrimage. N.-Y. and London: Oxford University Press, 1976 (*Аманда Хэйт*. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Нью-Йорк и Лондон: Оксфорд Юниверсити Пресс, 1976). Важнейшей особенностью работы А. Хейт является то, что она велась фактически под руководством самой Ахматовой и опиралась в значительной степени на ее устные рассказы, а также на письменные источники, предоставленные Ахматовой в распоряжение своего биографа.

Перечислены авторы воспоминаний и статей об Ахматовой и Гумилеве, которые Ахматова считала недостоверными.

455

Мария Иосифовна *Белкина* (1912–2008), писательница, жена критика А. К. Тарасенкова, автор книги о Марине Цветаевой «Скрещение судеб».

Имеется в виду дата, когда можно будет отправить рукопись «Записок об Анне Ахматовой» с оказией в Париж.

457

Подробнее см. Записки. Т. 2. Отдел «За сценой». Примечания 97 (с. 657–661) и 157 (с. 689–692).

458

Начало стихотворения Лидии Чуковской (1975).

Т. е. В. Н. Корнилова.

28 октября – день смерти К. И. Чуковского.

461

Речь идет о Виталии Рекубратском, муже двоюродной сестры Сахарова Марии Ивановны Сахаровой.

462

Софья Васильевна *Каллистратова* (1907–1989), адвокат, член Московской Хельсинкской группы.

463

«По требованию Поликарпова (который воздействовал на Бориса Леонидовича через Ивинскую) первое письмо составлено было фактически друзьями Пастернака Вячеславом Всеволодовичем Ивановым и Ариадной Сергеевной Эфрон. В этом первом письме, вполне достойном, самому Пастернаку принадлежала тем не менее всего одна – но зато самая значительная фраза – «Я связан с Россией рождением, жизнью и работой, и не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее». Это письмо было опубликовано в «Правде» 2 ноября 1956 г., но не удовлетворило начальство. Тогда составлено было второе, уже без участия Вяч. Вс. Иванова и А. С. Эфрон; его составила Ивинская вместе с Д. А. Поликарповым, а Борис Леонидович, по ее настоянию, подписал (*Записки*. Т. 2, с. 763–764. «За сценой», примеч. 196).

О них см. *Записки*, отдел «За сценой».

465

Сергей Васильевич *Агапов* (р. 1954), слесарь с московского автозавода АЗЛК. В настоящее время заведующий музеем Чуковского в Переделкине.

466

Вартан Тигранович *Оганесян*, директор городка писателей в Переделкине.

467

У Блока: «ни одного часа дня и ночи, свободного от насилия полицейского государства, нет, и когда живешь со сцепленными зубами». Эта запись Блока воспроизведена факсимильно в Чукоккале (см.: Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Русский путь, 2006, с. 244–245).

468

В этом письме Блок писал: «Надо быть отчетливее, потому что каждый новый день теперь – есть действие, близящееся к тому или другому окончанию» (*Александр Блок*. Письма к жене // Литературное наследство. Т. 89 М.: Наука, 1978, с. 286).

469

СМОГ – неформальное литературное объединение, название которого расшифровывается по-разному: «Смелость. Мысль. Образ. Глубина», а чаще – «Самое Молодое Общество Гениев». Многие смогисты принимали участие в правозащитном движении. Среди поэтов СМОГ'а известны, в частности, Леонид Губанов, Юрий Кублановский.

470

Это был доклад книговеда Артура Павловича *Толстякова* (1938–2014).

471

Александр Борисович *Годунов* (1949–1995), советский артист балета и киноактер. В августе 1979 года попросил политического убежища в Америке вслед за Барышниковым, Нуриевым, Макаровой.

В 1979 г. они стали невозвращенцами.

Оба грузинских поэта погибли в 1937 году. Табидзе был расстрелян, а Яшвили покончил с собой.

Лиза Алексеева – невеста сына Е. Г. Боннэр Алексея Семенова.

475

Мария Гавриловна *Подъяпольская* (1922–2011), правозащитница.

ОСВ – ограничение стратегических вооружений, переговоры о котором проходили в 1972 и 1979 гг. между СССР и США.

Владимов Георгий Николаевич (1931–2003), писатель, руководитель московской секции организации «Международная амнистия».

478

Наталья Викторовна *Гессе* (1914–1998), ленинградская приятельница Е. Г. Боннэр.

479

Шиханович Юрий Александрович (1933–2011), математик, правозащитник.

480

В апреле 1976 г. А. Д. Сахаров прилетел в Омск для участия в процессе по делу политзаключенного Мустафы Джемилева. Во время процесса А. Д. был задержан и доставлен под конвоем в милицию.

481

Ландау Лев Давидович (1908–1968), физик-теоретик, академик.

482

Названия научно-художественных книг М. П. Бронштейна.

483

Исидор Петрович Бронштейн, брат-близнец Матвея Петровича.

484

Роман Б. С. Житкова «Виктор Вавич» был напечатан, но поступил приказ уничтожить тираж (1941). Кто-то из рабочих вынес из типографии экземпляр книги, он сохранился у Л. К. С этого сохранившегося экземпляра роман был снова напечатан в 1999 году.

485

Лидия Чуковская. О книгах забытых или незамеченных // Вопр. лит., 1958. № 2, с. 42–71.

Малиновская Наталья Родионовна (р. 1946), филолог-испанист, переводчица, преподавательница МГУ; *Гелескул* Анатолий Михайлович (1934–2011), переводчик-испанист.

487

Речь идет о книге: *Lidia Tchoukovskaia.* Entretiens avec Anna Akhmatova. Paris: Albin Michel, 1980.

Т. е. Н. А. Струве.

489

Рукопись второго тома «Записок об Ахматовой» пропала в парижской типографии, и ее пришлось заново готовить и отправлять издателю.

490

Строки из стихотворения Блока «На железной дороге» (1910).

491

В верстке одного из иностранных изданий первого тома в примечаниях от издателя Иван Крылов был назван Василием, а Михаил Лермонтов – Юрием.

492

Это письмо А. И. Пантелеева от 29 марта – 3 апреля 1981 г. теперь опубликовано (см.: Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. М.: НЛО, 2011, с. 472–476.

493

А. Фет. «Как мошки зарею…» (1844).

Корней Чуковский. Последние годы Блока // Записки мечтателей. 1922. № 6, с. 155.

Кто есть кто *(англ.)*.

Борис Степанович – Житков, *Софья Павловна* – его жена. *Кус* – собака Б. С. Житкова.

497

Петр Евгеньевич Пастернак (р. 1957), художник, внук Б. Л. Пастернака; Алена – Елена Владимировна Пастернак (р. 1936), мать Петра, жена Е. Б. Пастернака.

28 октября – день смерти К. И. Чуковского.

499

Строка из стихотворения А. Блока «О, я хочу безумно жить…» (1914).

500

Федорчук Виталий Васильевич (1918–2008), председатель КГБ СССР (1982).

501

Щаранский Натан Борисович (р. 1948), диссидент, отказник, после репатриации в Израиль – общественный деятель, министр промышленности и торговли (1996–1999).

502

Строки из стихотворения Анны Ахматовой «Творчество» (1936).

503

Строка из стихотворения Б. Пастернака «Гамлет» (1946).

504

Беда – так прозвали двухколесную телегу, на которой по бездорожью ездили в 1921 году из писательской колонии в Бельском Устьи – в Порхов.

505

Чапский Юзеф (1896–1993), польский художник и писатель. Речь идет о книге Ю. Чапского «На бесчеловечной земле». Книга теперь издана по-русски (Москва – Вроцлав: Летний сад; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака Езёранского, 2012). О встрече автора с Л. К. см. с. 232–233 и примеч. 2 на с. 149. Подробнее о Ю. Чапском см.: *Записки*. Т. 2. с. 784–785. «За сценой», примеч. 217.

506

Надписывая свою книгу К. И. перефразировал строку Н. А. Некрасова «Великое, святое имя: “мать”» из поэмы «Мать» (1850–1877).

507

Максимов Владимир Емельянович (1930–1995), писатель, главный редактор парижского журнала «Континент».

508

Этот рассказ вошел в воспоминания Л. К. об отце «Памяти детства» (см. гл. 17).

509

Упомянуто стихотворение Лидии Чуковской «Неизвестному», которое кончалось строфой: «Он валенки охлещет веником / И переступит мой порог / Моим великим современником, / Который не придти не мог» (1979).

Т. е. за книгу «Памяти детства» (Нью-Йорк: Chalidze Publications, 1983).

Чалидзе Валерий Николаевич (р. 1938), физик, правозащитник, с 1972 г. живет в США, владелец издательства «Chalidze Publications».

512

Строки из стихотворения Марии Петровых «Ни ахматовской кротости…» (1967).

513

Неустановленное лицо.

514

Тагер Евгений Борисович (1906–1984), литературовед, знакомый М. И. Цветаевой.

515

Швейцер Виктория Александровна, исследовательница творчества М. И. Цветаевой.

516

Слова Блока в письме к Чуковскому от 26 мая 1921 г. (см. Чукоккала. М.: Русский путь, 2006, с. 262–263).

Соколовский Александр Александрович (1925–1979), сын писательницы Нины Павовны Саконской.

518

На самом дела А. Соколовскому в августе 1941 года шел шестнадцатый год.

519

См. *К. Чуковский*. Дневник. Запись от 15 февраля 1963 г.

520

Правильно: «Судорог да перебоев / Хватит?».

521

Леонович Владимир Николаевич (1933–2014), поэт, переводчик.

Окуджава Ольга Степановна (1988–1941), тетя Б. Окуджавы, жена поэта Г. Табидзе. В 1936 г. ее арестовали, 11 сентября 1941 г. ее расстреляли в лесу сотрудники НКВД.

523

Правильно: «Железными гвоздями в меня вбивали страх».

524

Строка из поэмы Твардовского «За далью – даль» (1950–1960).

525

Из стихотворения В. Н. Леоновича «Объяснительная записка» (1970-е гг.)

526

А. Блок. Двенадцать. Гл. 10.

527

Солсбери Гаррисон (1908–1993), американский журналист, историк, писатель, помощник редактора-администратора газеты «Нью-Йорк Таймс».

528

Т. е процитировала строфу из стихотворения Анны Ахматовой «Читатель» (1959): И рампа торчит под ногами, / Все мертвенно, пусто, светло, / Лайм-лайта позорное пламя / Его заклеймило чело.

529

Евгений Евтушенко. Памяти Ахматовой.

530

Анатолий Георгиевич *Алексин* (р. 1924), детский писатель, против которого Л. К. выступала как критик детской литературы.

531

Карякин Юрий Федорович (1930–2011), публицист, писатель, общественный деятель. См. его статью: *Не опоздать*!.. (О *времени живом* и *мертвом*) // Век XX и *мир, 1983*, № *3*, с. 36–45.

532

Тамара *Шилейко*. Легенды, мифы и стихи… // Новый мир. 1986. № 4.

Вторая жена – Вера Константиновна *Андреева*.

С. Липкин. Сталинград Василия Гроссмана. Анн Арбор: Ардис, 1986.

535

Имеется в виду книга Л. Пантелеева «Приоткрытая дверь» (Л.: Сов. писатель, 1980).

536

См. *С. Лурье.* Из бумаг Л. Пантелеева // Нева. 1988. № 12, с. 194–196.

537

А. И. Пантелеев завещал свой архив С. А. Лурье. Лурье передал мне письма Л. К., и они были опубликованы в томе «Переписка Л. Чуковской с Л. Пантелеевым» (М.: НЛО, 2011).

См.: Новый мир. 1988. № 9, с. 240–260.

539

Витя – В. Б. Шкловский, *Гриша* – Г. А. Гуковский, *Ося* – Осип Максимович Брик.

540

О Ю. Чапском и его книге см. примеч. 505.

541

В книге «На бесчеловечной земле» Чапский пишет: «Высокая, стройная, со светлыми и легкими, как пух, волосами, с тонкими, аристократическими чертами лица, она поражала абсолютной естественностью поведения. Увидев, что пришла только она, гостья хотела тут же уйти, но я ее удержал. Мы сидели на узком каменном балконе, выходившем на два старых тополя. Там вдвоем мы провели весь вечер.

Тогда мне опять довелось насладиться столь редким, характерным для русских, мгновенно установившимся контактом с человеком, которого я никогда прежде не встречал и вряд ли когда-либо еще увижу.

Я читал стихи только для нее, сначала переводя на русский, потом по-польски, и вновь испытал то самое волшебное ощущение сопереживания. Она никак не высказывалась, только снова и снова просила быть точным, правильно передавать звучание стиха и значение слов по-русски. И внезапно произнесла:

– Так, значит, вы уже нашли способ выразить то, что пережили… а мы… пока ничего… – и умолкла. Ее глаза были опущены, уголки рта подергивались. – Я сама из Ленинграда, это мой город. Вы знаете, во что он превратился, знаете, что сейчас от него остались одни развалины? Что от бомбардировок, голода и холода там погибло два миллиона человек? Мне некуда возвращаться. Нашей молодой советской интеллигенции уже не существует, ее полностью истребили, особенно ленинградскую…

Мы долго еще беседовали на узком запыленном балконе гостиницы так, словно были знакомы всю жизнь, и расстались только глубокой ночью» (с. 233).

542

Олег Чухонцев тогда заведовал отделом поэзии «Нового мира» и, услышав на вечере, как Л. К. прочла свое стихотворение «Сверстнику», попросил его для публикации в журнале.

543

Сергей Александрович *Макашин* (1906–1989), историк литературы, один из руководителей «Литературного наследства». Л. К. сотрудничала с «Лит. наследством» с конца 1940-х до 1955 года.

Я. Гордин. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2, с. 134–166.

545

См.: РГАЛИ. Ф. 3390. Раздел 5.1.

Нюшка – Ангелина Николаевна Шекрот, вторая жена А. Галича, а дочь Александра – от первого брака с В. Д. Архангельской.

547

Гриша – сын А. Галича и художницы Софьи Войтенко родился в 1967 г. Его мать умерла в 1973-м и мальчика воспитывала бабушка. Друзья Л. К. – Бабенышевы принимали в Грише участие, собирали средства в помощь бабушке, а Галич никогда сыну не помогал. После смерти Галича суд не признал Гришу наследником отца.

Н. Г. Левитская (р. 1925), одна из помощниц А. Солженицына. Подробнее о ней см. А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие. М., 1996. Пятое дополнение. Невидимки. Гл. 6.

549

Жемчужина Полина Семеновна (1897–1970), жена В. М. Молотова.

550

Офтальмолог Святослав Николаевич *Федоров* (1929–2001) строил в поселке под Москвой школу.

551

Виктор Астафьев. Россия все-таки выбирается из лжи // Известия. 1994. 30 апреля.

Возражения Астафьеву см.: *С. Ковалев, Б. Болотовский, Б. Альтшуллер, Ю. Самодуров*. Ответ членов общественной Комиссии по увековечению памяти Сахарова и его наследия: Сахарову каяться не в чем: [заявл.] // Известия. 1994. 6 мая.

553

Васильева Раиса Родионовна (1902–1938, расстреляна), писательница.

554

Леонид Яковлевич *Криволапов* (1904–1984), в 1936–37 гг. директор ленинградского Детиздата, назначенный для разгона маршаковской редакции и позднее сам репрессированный.